



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



Это цифровая копия книги, хранящейся для потомков на библиотечных полках, прежде чем ее отсканировали сотрудники компании Google в рамках проекта, цель которого - сделать книги со всего мира доступными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских прав на эту книгу истек, и она перешла в свободный доступ. Книга переходит в свободный доступ, если на нее не были поданы авторские права или срок действия авторских прав истек. Переход книги в свободный доступ в разных странах осуществляется по-разному. Книги, перешедшие в свободный доступ, это наш ключ к прошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все пометки, примечания и другие записи, существующие в оригинальном издании, как напоминание о том долгом пути, который книга прошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

### **Правила использования**

Компания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы перевести книги, перешедшие в свободный доступ, в цифровой формат и сделать их широкодоступными. Книги, перешедшие в свободный доступ, принадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, поэтому, чтобы и в дальнейшем предоставлять этот ресурс, мы предприняли некоторые действия, предотвращающие коммерческое использование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические записи.

Мы также просим Вас о следующем.

- Не используйте файлы в коммерческих целях.  
Мы разработали программу Поиск книг Google для всех пользователей, поэтому используйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- Не отправляйте автоматические записи.  
Не отправляйте в систему Google автоматические записи любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного перевода, оптического распознавания символов или других областей, где доступ к большому количеству текста может оказаться полезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем использовать материалы, перешедшие в свободный доступ.
- Не удаляйте атрибуты Google.  
В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он позволяет пользователям узнать об этом проекте и помогает им найти дополнительные материалы при помощи программы Поиск книг Google. Не удаляйте его.
- Делайте это законно.  
Независимо от того, что Вы используете, не забудьте проверить законность своих действий, за которые Вы несете полную ответственность. Не думайте, что если книга перешла в свободный доступ в США, то ее на этом основании могут использовать читатели из других стран. Условия для перехода книги в свободный доступ в разных странах различны, поэтому нет единых правил, позволяющих определить, можно ли в определенном случае использовать определенную книгу. Не думайте, что если книга появилась в Поиске книг Google, то ее можно использовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских прав может быть очень серьезным.

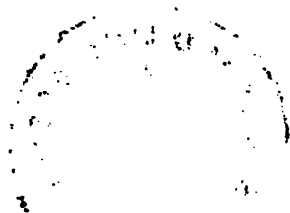
### **О программе Поиск книг Google**

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне доступной и полезной. Программа Поиск книг Google помогает пользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый поиск по этой книге можно выполнить на странице <http://books.google.com/>











Евсз *Андреев, Л. М.* с

Изданіе товарищества „ЗНАНІЕ“ (Спб., Невскій, 92).

*Л. Андреевъ.*

ТОМЪ ПЕРВЫЙ.

# РАЗСКАЗЫ.

## СОДЕРЖАНІЕ:

Большой шлемъ.	Бездна.
Набать.	Въ подвалѣ.
Ангелочекъ.	Ложь.
Молчаніе.	Петка на дачѣ.
Смѣхъ.	У окна.
Валя.	Жили-были.
Разсказъ о Сергѣѣ	Стѣна.
Петровичѣ.	Въ темную даль.
На рѣкѣ.	"

ВОСЬМОЕ ИЗДАНІЕ.

Серокъ вторая тысяча.

Цѣна 1 рубль.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.  
1903.



PG 3452

A15

1903

v.1.

---

Типографія Н. Н. Клобукова, Пряжка, д. № 3.

*Посвящаю эту книгу*

*Алексею Максимовичу*

**Пышкову.**

Л. Андреевъ.

PG 3452

A15

1903

v. 1.

---

Типографія Н. Н. Клобукова, Пряжка, д. № 3.

*Посвящаю эту книгу*

*Алексею Милославскому*

*Пётру*



THE  
LIBRARY  
OF THE  
MUSEUM  
OF  
COMPARATIVE ZOOLOGY  
AT  
HARVARD UNIVERSITY

## БОЛЬШОЙ ШЛЕМЪ.

Они играли въ винтъ три раза въ недѣлю: по вторникамъ, четвергамъ и субботамъ; воскресенье было очень удобно для игры, но его пришлось оставить на долю всякимъ случайностямъ: приходу постороннихъ, театру, и поэтому оно считалось самымъ скучнымъ днемъ въ недѣлѣ. Впрочемъ, лѣтомъ, на дачѣ, они играли и въ воскресенье. Размѣщались они такъ: толстый и горячій Масленниковъ игралъ съ Яковомъ Ивановичемъ, а Евпраксія Васильевна съ своимъ мрачнымъ братомъ, Прокопиемъ Васильевичемъ. Такое распредѣленіе установилось давно, лѣтъ шесть тому назадъ, и настояла на немъ Евпраксія Васильевна. Дѣло въ томъ, что для нея и для ея брата не представляло никакого интереса играть отдѣльно, другъ противъ друга, такъ какъ въ этомъ случаѣ выигрышъ одного былъ проигрышемъ для другой, и въ окончательномъ результатѣ они не выигрывали и не проигрывали. И хотя въ денежномъ отношеніи игра была ничтожная, и Евпраксія Васильевна и ея братъ въ деньгахъ не пуждались, но она не могла понять удовольствія игры для игры и радовалась, когда выигрывала. Выигранныя деньги она откладывала отдѣльно, въ копилку, и онѣ казались ей гораздо важнѣе и дорожее, чѣмъ тѣ крупныя кредитки, которыя приходилось ей платить за дорогую квартиру и выдавать на хозяйство. Для игры собирались у Прокопія Васильевича, такъ какъ во всей обширной квартирѣ жили только они

вдвоемъ съ сестрой—существовалъ еще большой бѣлый котъ, но онъ всегда спалъ на креслѣ—и въ комнатахъ царила необходимая для занятій тишина. Братъ Евпраксіи Васильевны былъ вдовъ: онъ потерялъ жену на второй годъ послѣ свадьбы и цѣлыхъ два мѣсяца послѣ того провелъ въ лѣчебницѣ для душевно-больныхъ; сама она была незамужняя, хотя когда-то имѣла романъ со студентомъ. Никто не зналъ, да и она, кажется, позабыла, почему ей не пришлось выйти замужъ за своего студента, но каждый годъ, когда появлялось обычное воззваніе о помощи нуждающимся студентамъ, она посылала въ комитетъ аккуратно сложенную сторублевую бумажку „отъ неизвѣстной“. По возрасту она была самой молодой изъ игроковъ: ей было сорокъ три года.

Вначалѣ, когда создавалось распредѣленіе на пары, имъ особенно былъ недоволенъ старшій изъ игроковъ, Масленниковъ. Онъ возмущался, что ему постоянно придется имѣть дѣло съ Яковомъ Ивановичемъ, т. е., другими словами, бросить мечту о большомъ безкозырномъ шлемѣ. И вообще, они съ партнеромъ совершенно не подходили другъ къ другу. Яковъ Ивановичъ былъ маленькій, сухенькій старичокъ, зиму и лѣто ходившій въ наващенномъ сюртукѣ и брюкахъ, молчаливый и строгій. Являлся онъ всегда ровно въ восемь часовъ, ни минутой раньше или позже, и сейчасъ же бралъ мѣлокъ сухими пальцами, на одномъ изъ которыхъ свободно ходилъ большой брилліантовый перстень. Но самымъ ужаснымъ для Масленникова въ его партнерѣ было то, что онъ никогда не игралъ больше четырехъ, даже тогда, когда на рукахъ у него имѣлась большая и вѣрная игра. Однажды случилось, что какъ началъ Яковъ Ивановичъ ходить съ двойки, такъ и отходилъ до самаго туза, взявъ всѣ тринадцать взятокъ. Масленниковъ съ гнѣвомъ бросилъ свои карты на столъ, а сѣдентый старичокъ спокойно собралъ ихъ и записалъ за игру, сколько слѣдуетъ при четырехъ.

— Но почему же вы не играли большого плема?— вскрикнулъ Николай Дмитриевичъ (какъ звали Масленникова).

— Я никогда не играю больше четырехъ,—сухо отвѣтилъ старичокъ и наставительно замѣтилъ:

— Никогда нельзя знать, что можетъ случиться.

Такъ и не могъ убѣдить его Николай Дмитриевичъ. Самъ онъ всегда рисковалъ, и такъ какъ карта ему не шла, постоянно проигрывалъ, но не отчаявался и думалъ, что ему удастся отыгаться въ слѣдующій разъ. Постепенно они свыклись съ своимъ положеніемъ и не мѣшали другъ другу: Николай Дмитриевичъ рисковалъ, а старикъ спокойно записывалъ проигрышъ и назначалъ игру въ четырехъ.

Такъ играли они лѣто и зиму, весну и осень. Дряхлый мѣръ покорно несъ тяжелое ярмо безконечнаго существованія и то краснѣлъ отъ крови, то обливался слезами, оглашая свой путь въ пространствѣ стонами больныхъ, голодныхъ и обиженныхъ. Слабые отголоски этой тревожной и чуждой жизни приносили съ собой Николай Дмитриевичъ. Онъ иногда запаздывалъ и входилъ въ то время, когда всѣ уже сидѣли за разложеннымъ столомъ, и карты розовымъ вѣеромъ выдѣлялись на его зеленой поверхности.

Николай Дмитриевичъ, краснощекій, пахнущій свѣжимъ воздухомъ, поспѣшно занималъ свое мѣсто противъ Якова Ивановича, извинялся и говорилъ:

— Какъ много гуляющихъ на бульварѣ. Такъ и идутъ, такъ и идутъ...

Евпраксія Васильевна считала себя обязанной, какъ хозяйка, не замѣчать странностей своихъ гостей. Поэтому она отвѣчала одна, въ то время, какъ старичокъ молча и строго приготовлялъ мѣлокъ, а братъ ея распоряжался насчетъ чаю.

— Да, вѣроятно,—погода хорошая. Но не начать ли намъ?

И они начинали. Высокая комната, уничтожавшая звук своей мягкой мебелью и портъерами, становилась совѣтъ глухой. Горничная неслышно двигалась по пушистому ковра, разнося стаканы съ крѣпкимъ чаемъ, и только шуршали ея накрахмаленныя юбки, скрипѣлъ мѣлокъ, и вадыхалъ Николай Дмитріевичъ, поставившій большой ремизъ. Для него наливался жиденъкій чай, и ставился особый столикъ, такъ какъ онъ любилъ пить съ блюда и непременно съ тянучками.

Зимою Николай Дмитріевичъ сообщалъ, что днемъ морозу было десять градусовъ, а теперь уже дошло до двадцати, а лѣтомъ говорилъ:

— Сейчасъ цѣлая компанія въ лѣсъ пошла. Съ корзинками.

Евпраксія Васильевна вѣжливо смотрѣла на небо— лѣтомъ они играли на терасѣ—и, хотя небо было чистое, и верхушки сосенъ золотѣли, замѣчала:

— Не было бы дождя.

А старичокъ Яковъ Ивановичъ строго раскладывалъ карты и, вынимая червонную двойку, думалъ, что Николай Дмитріевичъ легкомысленный и неисправимый человѣкъ. Одно время Масленниковъ сильно обезпокоилъ своихъ партнеровъ. Каждый разъ, приходя, онъ началъ говорить одну или двѣ фразы о Дрейфусѣ. Дѣлая печальную фізіономію, онъ сообщалъ:

— А плохи дѣла нашего Дрейфуса.

Или, наоборотъ, смѣялся и радостно говорилъ, что несправедливый приговоръ, вѣроятно, будетъ отмѣненъ. Потомъ онъ сталъ приносить газеты и прочитывалъ изъ нихъ нѣкоторыя мѣста все о томъ же Дрейфусѣ.

— Читали уже,—сухо говорилъ Яковъ Ивановичъ, но партнеръ не слушалъ его и прочитывалъ, что казалось ему интереснымъ и важнымъ. Однажды онъ такимъ образомъ довелъ остальныхъ до спора и чуть ли не до ссоры, такъ какъ Евпраксія Васильевна не хотѣла признавать законнаго порядка судопроизводства и требовала,

чтобы Дрейфуса освободили немедленно, а Яковъ Ивановичъ и ея братъ настаивали на томъ, что сперва необходимо соблюсти нѣкоторыя формальности и потомъ уже освободить. Первымъ опомнился Яковъ Ивановичъ и сказалъ, указывая на столъ:

— Но не пора ли?

И они сѣли играть, и потомъ сколько ни говорилъ Николай Дмитріевичъ о Дрейфуcъ, ему отвѣчали молчаніемъ.

Такъ играли они лѣто и зиму, весну и осень. Иногда случались событія, но больше смѣшного характера. На брата Евпраксіи Васильевны временами какъ будто что-то находило, онъ не помнилъ, что говорили о своихъ картахъ партнеры, и при вѣрныхъ пяти оставался безъ одной. Тогда Николай Дмитріевичъ громко смѣялся и преувеличивалъ значеніе проигрыша, а старичокъ улыбался и говорилъ:

— Играли бы четыре, и были бы при своихъ.

Особенное волненіе проявлялось у всѣхъ игроковъ когда назначала большую игру Евпраксія Васильевна. Она краснѣла, терялась, не зная, какую класть ей карту, и съ мольбою смотрѣла на молчаливаго брата, а другіе двое партнеровъ съ рыцарскимъ сочувствіемъ къ ея женственности и беспомощности ободряли ее снисходительными улыбками и терпѣливо оживляли. Въ общемъ, однако, къ игрѣ относились серьезно и вдумчиво. Карты давно уже потеряли въ ихъ глазахъ значеніе бездушнoй матеріи, и каждая масть, а въ масти каждая карта въ отдѣльности, была строго индивидуальна и жила своей обособленной жизнью. Масти были любимыя и нелюбимыя, счастливыя и несчастныя. Карты комбинировались безконечно разнообразно, и разнообразіе это не поддавалось ни анализу, ни правиламъ, но было въ то же время закономѣрно. И въ закономѣрности этой заключалась жизнь картъ, особая отъ жизни игравшихъ въ нихъ людей. Люди хотѣли и добивались отъ нихъ

своего, а карты дѣлали свое, какъ будто онѣ имѣли свою волю, свои вкусы, симпатіи и капризы. Черви особенно часто приходили къ Якову Ивановичу, а у Евпраксіи Васильевны руки постоянно полны бывали пикъ, хотя она ихъ очень не любила. Случалось, что карты капризничали, и Яковъ Ивановичъ не зналъ, куда дѣваться отъ пикъ, а Евпраксія Васильевна радовалась червямъ, назначала большія игры и ремизилась. И тогда карты какъ будто смѣялись. Къ Николаю Дмитріевичу ходили одинаково всѣ масти, и ни одна не оставалась надолго, и всѣ карты имѣли такой видъ, какъ постояльцы въ гостинницѣ, которые пріѣзжаютъ и уѣзжаютъ, равнодушные къ тому мѣсту, гдѣ имъ пришлось провести нѣсколько дней. Иногда нѣсколько вечеровъ подрядъ къ нему ходили однѣ двойки и тройки и имѣли при этомъ дерзкій и насмѣшливый видъ. Николай Дмитріевичъ былъ увѣренъ, что онъ оттого не можетъ сыграть большого шлема, что карты знаютъ о его желаніи и нарочно не идутъ къ нему, чтобы позлить. И онъ притворялся, что ему совершенно безразлично, какая игра у него будетъ, и старался подольше не раскрывать прикупа. Очень рѣдко удавалось ему такимъ образомъ обмануть карты; обыкновенно онѣ догадывались, и когда онъ раскрывалъ прикупъ, оттуда смѣялись три шестерки, и хмуро улыбался пиковый король, котораго онѣ затащили для компаніи.

Меньше всѣхъ проникала въ таинственную суть картъ Евпраксія Васильевна; старичокъ Яковъ Ивановичъ давно выработалъ строго философскій взглядъ и не удивлялся и не огорчался, имѣя вѣрное оружіе противъ судьбы въ своихъ четырехъ. Одинъ Николай Дмитріевичъ никакъ не могъ примириться съ прихотливымъ нравомъ картъ, ихъ насмѣшливостью и непостоянствомъ. Ложась спать, онъ думалъ о томъ, какъ онъ сыграетъ большой шлемъ въ безкозыряхъ, и это представлялось такимъ простымъ и возможнымъ: вотъ приходитъ одинъ тузъ,



за нимъ король, потомъ опять тузъ. Но, когда, полный надежды, онъ сажился играть, проклятыя шестерки опять скалили свои широкіе бѣлые зубы. Въ этомъ чувствовалось что-то роковое и злостное. И постепенно большой шлемъ въ безкозыряхъ сталъ самымъ сильнымъ желаніемъ и даже мечтой Николая Дмитріевича.

Произошли и другія событія внѣ карточной игры. У Евпраксіи Васильевны умеръ отъ старости большой бѣлый котъ и, съ разрѣшенія домовладѣльца, былъ похороненъ въ саду подъ липой. Затѣмъ Николай Дмитріевичъ исчезъ однажды на цѣлыхъ двѣ недѣли, и его партнеры не знали, что думать и что дѣлать, такъ какъ винтъ втроемъ ломалъ всѣ установившіяся привычки и казался скучнымъ. Сами карты точно сознавали это и сочетались въ непривычныхъ формахъ. Когда Николай Дмитріевичъ явился, розовыя щеки, которыя такъ рѣзко отдѣлялись отъ сѣдыхъ пушистыхъ волосъ, посѣрѣли, и весь онъ сталъ меньше и ниже ростомъ. Онъ сообщилъ, что его старшій сынъ за что-то арестованъ и отправленъ въ Петербургъ. Всѣ удивились, такъ какъ не знали, что у Масленникова есть сынъ; можетъ быть, онъ когда-нибудь и говорилъ, но всѣ позабыли объ этомъ. Вскорѣ послѣ этого онъ еще одинъ разъ не явился—и какъ нарочно въ субботу, когда игра продолжалась дольше обыкновеннаго,—и всѣ опять съ удивленіемъ узнали, что онъ давно страдаетъ грудной жабой, и что въ субботу у него былъ сильный припадокъ болѣзни. Но потомъ все опять установилось, и игра стала даже серьезнѣе и интереснѣе, такъ какъ Николай Дмитріевичъ меньше развлекался посторонними разговорами. Только шуршали крахмальные юбки горничной, да неслышно скользили изъ рукъ игроковъ атласныя карты и жили своей таинственной и молчаливой жизнью, особою отъ жизни игравшихъ въ нихъ людей. Къ Николаю Дмитріевичу онѣ были по-прежнему равнодушны и иногда

зло-насмѣшливы, и въ этомъ чувствовалось что-то роковое, фатальное.

Но въ четвергъ, 26 ноября, въ картахъ произошла странная перемѣна. Какъ только началась игра, къ Николаю Дмитріевичу пришла большая коронка, и онъ сыгралъ, и даже не пять, какъ назначилъ, а маленькій шлемъ, такъ какъ у Якова Ивановича оказался лишній тузъ, котораго онъ не хотѣлъ показать. Потомъ опять на нѣкоторое время появились шестерки, но скоро исчезли, и стали приходить полныя масти, и приходили онѣ съ соблюденіемъ строгой очереди, точно всѣмъ имъ хотѣлось посмотреть, какъ будетъ радоваться Николай Дмитріевичъ. Онъ назначалъ игру за игрой, и всѣ удивлялись, даже спокойный Яковъ Ивановичъ. Волненіе Николая Дмитріевича, у котораго пухлые пальцы съ ямочками на сгибахъ потѣли и роняли карты, передалось и другимъ игрокамъ.

— Ну, и везетъ вамъ сегодня,—мрачно сказалъ братъ Евпраксіи Васильевны, сильнѣе всего боявшійся слишкомъ большого счастья, за которымъ идетъ такое же большое горе. Евпраксіи Васильевнѣ было пріятно, что наконецъ-то, къ Николаю Дмитріевичу пришли хорошія карты, и она на слова брата три раза сплонула въ столу, чтобы предупредить несчастье.

— Тьфу, тьфу, тьфу! Ничего особеннаго нѣтъ. Идутъ карты и идутъ, и дай Богъ, чтобы побольше шли.

Карты на минуту словно задумались въ нерѣшимости, мелькнуло нѣсколько двоекъ съ смущеннымъ видомъ—и снова съ усиленной быстротою стали являться тузы, короли и дамы. Николай Дмитріевичъ не поспѣвалъ собирать карты и назначать игру, и два раза уже задался, такъ что пришлось пересдать. И всѣ игры удавались, хотя Яковъ Ивановичъ упорно умалчивалъ о своихъ тузахъ: удивленіе его смѣнилось недовѣріемъ ко внезапной перемѣнѣ счастья, и онъ еще разъ повторилъ неизмѣнное рѣшеніе—не играть больше четырехъ.

Николай Дмитріевичъ сердился на него, краснѣлъ и задыхался. Онъ уже не обдумывалъ своихъ ходовъ и смѣло назначалъ высокую игру, увѣренный, что въ прикупѣ онъ найдетъ, что нужно.

Когда, послѣ сдачи картъ мрачнымъ Прокопіемъ Васильевичемъ, Масленниковъ раскрылъ свои карты, сердце его заколотилось и сразу упало, а въ глазахъ стало такъ темно, что онъ покачнулся—у него было на рукахъ двѣнадцать взятокъ: трефы и черви отъ туза до десятки и бубновый тузъ съ королемъ. Если онъ купитъ пиковаго туза, у него будетъ большой безкозырный шлемъ.

— Два безъ козыря,—началъ онъ, съ трудомъ справляясь съ голосомъ.

— Три пики,—отвѣтила Евпраксія Васильевна, которая была также сильно взволнована: у нея находились почти всѣ пики, начиная отъ короля.

— Четыре черви,—сухо отозвался Яковъ Ивановичъ.

Николай Дмитріевичъ сразу повысилъ игру на малый шлемъ, но разгоряченная Евпраксія Васильевна не хотѣла уступать и, хотя видѣла, что не сыграетъ, назначила большой въ пикахъ. Николай Дмитріевичъ задумался на секунду и съ нѣкоторой торжественностью, за которой скрывался страхъ, медленно произнесъ:

— Большой шлемъ въ безкозыряхъ!

Николай Дмитріевичъ играетъ большой шлемъ въ безкозыряхъ! Всѣ были поражены, и братъ хозяйки даже крикнулъ:

— Ого!

Николай Дмитріевичъ протянулъ руку за прикупомъ, но покачнулся и повалилъ свѣчку. Евпраксія Васильевна подхватила ее, а Николай Дмитріевичъ секунду сидѣлъ неподвижно и прямо, положивъ карты на столъ, а потомъ взмахнулъ руками и медленно сталъ валиться на лѣвую сторону. Падая, онъ свалилъ столикъ, на которомъ стояло блюдечко съ налитымъ чаемъ, и придавилъ своимъ тѣломъ его хрустнувшую ножку.

Когда пріѣхалъ докторъ, онъ нашелъ, что Николай Дмитриевичъ умеръ отъ паралича сердца, и въ утѣшеніе живымъ сказалъ нѣсколько словъ о безболѣзненности такой смерти. Покойника положили на турецкій диванъ въ той же комнатѣ, гдѣ играли, и онъ, покрытый простыней, казался громаднымъ и страшнымъ. Одна нога, обращенная носкомъ внутрь, осталась непокрытой и казалась чужой, взятой отъ другого человѣка; на подошвѣ сапога, черной и совершенно новой на выемкѣ, прилипла бумажка отъ тянучки. Карточный столъ еще не былъ убранъ, и на немъ валялись безпорядочно разбросанныя, рубашкой внизъ, карты партнеровъ, и въ порядкѣ лежали карты Николая Дмитриевича, гоненькой колодкой, какъ онъ ихъ положилъ.

Яковъ Ивановичъ мелкими и неуверенными шагами ходилъ по комнатѣ, стараясь не глядѣть на покойника и не сходить съ ковра на натертый паркетъ, гдѣ высокіе каблукі его издавали drobный и рѣзкій стукъ. Пройдя нѣсколько разъ мимо стола, онъ остановился и осторожно взялъ карты Николая Дмитриевича, рассмотрѣлъ ихъ и, сложивъ такой же кучкой, тихо положилъ на мѣсто. Потомъ онъ посмотрѣлъ прикупъ: тамъ былъ пиковый тузъ, тотъ самый, котораго не хватало Николаю Дмитриевичу для большого шлема. Пройдясь еще нѣсколько разъ, Яковъ Ивановичъ вышелъ въ сосѣднюю комнату, плотнѣе застегнулъ наваченный сюртукъ и заплакалъ, потому что ему было жаль покойнаго. Закрывъ глаза, онъ старался представить себѣ лицо Николая Дмитриевича, какимъ оно было при его жизни, когда онъ выигрывалъ и смѣялся. Особенно жаль было вспомнить легкомысліе Николая Дмитриевича и то, какъ ему хотѣлось выиграть большой безкозырный шлемъ. Проходилъ въ памяти весь сегодняшний вечеръ, начинающійся съ пяти бубенъ, которыя сыгралъ покойный, и кончая этимъ непрерывнымъ наплывомъ хорошихъ картъ, въ которомъ чувствовалось что-то страшное. И вотъ

Николай Дмитріевичъ умеръ—умеръ, когда могъ, наконецъ, сыграть большой шлемъ.

Но одно соображеніе, ужасное въ своей простотѣ, потрясло худенькое тѣло Якова Ивановича и заставило его вскочить съ кресла. Оглядываясь по сторонамъ, какъ будто мысль не сама пришла къ нему, а кто-то шепнулъ, ее на ухо, Яковъ Ивановичъ громко сказалъ:

— Но вѣдь никогда онъ не узнаетъ, что въ прикупѣ былъ тузъ, и что на рукахъ у него былъ вѣрный большой шлемъ. Никогда!

И Якову Ивановичу показалось, что онъ до сихъ поръ не понималъ, что такое смерть. Но теперь онъ понималъ, и то, что онъ ясно увидѣлъ, было до такой степени бессмысленно, ужасно и непоправимо. Никогда не узнаетъ! Если Яковъ Ивановичъ станетъ кричать объ этомъ надъ самымъ его ухомъ, будетъ плакать и показывать карты, Николай Дмитріевичъ не услышитъ и никогда не узнаетъ, потому что нѣтъ на свѣтѣ никакого Николая Дмитріевича. Еще одно бы только движеніе, одна секунда чего-то, что есть жизнь—и Николай Дмитріевичъ увидѣлъ бы туза и узналъ, что у него есть большой шлемъ, а теперь все кончилось, и онъ не знаетъ и никогда не узнаетъ.

— Ни-ко-гда,—медленно, по слогамъ, произнесъ Яковъ Ивановичъ, чтобы убѣдиться, что такое слово существуетъ и имѣетъ смыслъ.

Такое слово существовало и имѣло смыслъ, но онъ былъ до того чудовищенъ и горекъ, что Яковъ Ивановичъ снова упалъ въ кресло и безпомощно заплакалъ отъ жалости къ тому, кто никогда не узнаетъ, и отъ жалости къ себѣ, ко всѣмъ, такъ какъ то же страшно и бессмысленно-жестокое будетъ и съ нимъ, и со всѣми. Онъ плакалъ—и игралъ за Николая Дмитріевича его картами и бралъ взятки одна за другой, пока не собралось ихъ тринадцать, и думалъ, какъ много пришлось бы написать, и что никогда Николай Дмитріевичъ

этого не узнаетъ. Это былъ первый и послѣдній разъ, когда Яковъ Ивановичъ отступилъ отъ своихъ четырехъ и сыгралъ во имя дружбы большой безкозырный шлемъ.

— Вы здѣсь, Яковъ Ивановичъ?—сказала вошедшая Евпраксія Васильевна, опустилась на рядомъ стоящій стулъ и заплакала:—какъ ужасно, какъ ужасно!

Оба они не смотрѣли другъ на друга и молча плакали, чувствуя, что въ сосѣдней комнатѣ, на диванѣ, лежитъ мертвецъ, холодный, тяжелый и пѣмой.

— Вы послали сказать?—спросилъ Яковъ Ивановичъ, громко и истово сморкаясь.

— Да, братъ поѣхалъ съ Аннушкой. Но какъ они разыщутъ его квартиру—вѣдь мы адреса не знаемъ.

— А развѣ онъ не на той же квартирѣ, что въ прошломъ году?—разсѣянно спросилъ Яковъ Ивановичъ.

— Нѣтъ, перемѣнилъ. Аннушка говоритъ, что онъ нанималъ извозчика куда-то на Новинскій бульваръ.

— Найдутъ черезъ полицію,—успокоилъ старичокъ.— У него вѣдь, кажется, есть жена?

Евпраксія Васильевна задумчиво смотрѣла на Якова Ивановича и не отвѣчала. Ему показалось, что въ ея глазахъ видна та же мысль, что пришла и ему въ голову. Онъ еще разъ высморкался, спряталъ платокъ въ карманъ наваченного сюртука и сказалъ, вопросительно поднимая брови надъ покраснѣвшими глазами:

— А гдѣ же мы возьмемъ теперь четвертаго?

Но Евпраксія Васильевна не слыхала его, занятая соображеніями хозяйственнаго характера. Помолчавъ, она спросила:

— А вы, Яковъ Ивановичъ, все на той же квартирѣ?

19 ноября 1899 г.



# НАБАТЪ.

Въ то жаркое и зловѣщее лѣто горѣло все. Горѣли цѣлые города, села и деревни: лѣсъ и поля больше уже не были имъ охраной: покорно вспыхивалъ самъ беззащитный лѣсъ, и красной скатертью разстился огонь по высохшимъ лугамъ. Днемъ въ ѣдкомъ дыму пряталось багровое, тусклое солнце, а по ночамъ въ разныхъ концахъ неба вспыхивало безмолвное зарѣво, колебалось въ молчаливой фантастической пляскѣ, и странныя, смутныя тѣни отъ людей и деревьевъ ползали по землѣ, какъ невѣдомые гады. Собаки перестали брехать привѣтнымъ лаемъ, издалека зовущимъ путника и сулящимъ ему кровь и ласку, а протяжно и жалобно выли, или угрюмо молчали, забившись въ подполье. И люди, какъ собаки, смотрѣли другъ на друга злыми и испуганными глазами и громко говорили о поджогахъ и таинственныхъ поджигателяхъ. Въ одной глухой деревнѣ убили старика, который не могъ сказать, куда онъ идетъ, а потомъ бабы плакали надъ убитымъ и жалѣли его сѣдую бороду, слипшуюся отъ темной крови.

Въ то жаркое и зловѣщее лѣто я жилъ въ одномъ помѣщичьемъ домѣ, гдѣ было много старыхъ и молодыхъ женщинъ. Днемъ мы работали, говорили и мало думали о пожарахъ, но когда наступала ночь, насъ охватывалъ страхъ. Владѣлецъ имѣнія часто уѣзжалъ въ



городъ; тогда мы не спали по цѣлымъ ночамъ и пугливымъ дозоромъ обходили усадьбу, ища поджигателя. Мы прижимались другъ къ другу и говорили шопотомъ, а ночь была безмолвна, и темными, чуждыми массами подымались строенія. Они казались намъ незнакомыми, какъ будто раньше мы никогда не видали ихъ, и страшно лепрочными, точно ожидающими огня и уже готовыми къ нему. Разъ, въ трещинѣ стѣны, передъ нами блеснуло что-то свѣтлое. Это было небо, а мы подумали, что огонь, и женщины съ крикомъ бросились ко мнѣ, тогда почти еще мальчику, прося защиты.

...А я самъ отъ испуга пересталъ дышать и не могъ тронуться съ мѣста...

Иногда глубокой ночью я вставалъ съ горячей, разметанной постели и черезъ окно вылѣзалъ въ садъ. Это былъ старый, величественно-угрюмый садъ, на самую сильную бурю отвѣчавшій только сдержаннымъ гуломъ; внизу его было темно и мертвенно-тихо, какъ на днѣ пропасти, а вверху стоялъ неясный шорохъ и шумъ, похожій на далекій степенный говоръ. Прячась отъ кого-то, кто по пятамъ крался за мной и заглядывалъ черезъ плечо, я пробирался въ конецъ сада, гдѣ на высокомъ валу стоялъ плетень, а за плетнемъ далеко внизъ разбѣгались поля, лѣса и скрытые мракомъ поселки. Высокія, мрачно-молчаливыя липы разступались передо мною,—и между ихъ толстыми черными стволами, въ разсѣлины плетня, въ просвѣты между листьями я видѣлъ нѣчто страшное и необыкновенное, отчего безпокойной жутью наполнялось мое сердце, и мелкой дрожью подергивались ноги. Я видѣлъ небо, но не темное спокойное небо ночей, а розовое, какого никогда не бываетъ ни днемъ, ни ночью. Могучія липы стояли серьезно и молчаливо и, какъ люди, чего-то ждали, а небо неестественно розовѣло, и багряными судорогами пробѣгали по небу зловѣщіе отсвѣты горячей внизу земли. Медленно всплывали и уходили вверхъ клубя-

щіеся столбы, и въ томъ, что они были такъ безмолвны, когда внизу все скрежетало, такъ неторопливы и величавы, когда внизу все металось—была загадка и та же страшная неестественность, какъ и въ розовой окраскѣ неба.

Точно опомнившись, высокія липы всѣ сразу начинали переговариваться вершинами и также внезапно умолкали, надолго застывая въ угрюмомъ ожиданіи. Становилось тихо, какъ на днѣ пропасти. Далеко за собой я чувствовалъ насторожившійся домъ, полный испуганныхъ людей, вокругъ меня сторожко толпились липы, а впереди безмолвно колыхалось красно-розовое небо, какого не бываетъ ни днемъ, ни ночью.

И оттого, что я видѣлъ его не все цѣлкомъ, а только въ просвѣты между деревьями, становилось еще страшнѣе и непонятнѣе.

## II.

Была ночь, и я безпокойно дремалъ, когда въ мое ухо вошелъ тупой и отрывистый звукъ, какъ будто шедшій изъ-подъ пола, вошелъ и застылъ въ мозгу, какъ, круглый камень. За нимъ ворвался другой, такой же короткій и тяжелый, и головѣ сдѣлалось тяжело и больно, словно густыми каплями на нее падалъ расплавленный свинецъ. Капли буравили и прожигали мозгъ; ихъ становилось все больше, и скоро частымъ дождемъ отрывистыхъ, стремительныхъ звуковъ онѣ наполнили мою голову.

— Бамъ! Бамъ! Бамъ!—издалека выбрасывалъ кто-то высокій, сильный и нетерпѣливый.

Я открылъ глаза и сразу понялъ, что это набать, и что горитъ ближайшее село—Слободищи. Въ комнатѣ было темно, и окно закрыто, но отъ страшнаго зова она вся, съ своей мебелью, картинами и цвѣтами, какъ

будто вышла на улицу, и не чувствовалось ни стѣнъ, ни потолка.

Не помню, какъ я одѣлся, и не знаю, почему я побѣжалъ одинъ, а не съ людьми. Или они меня забыли, или я не вспомнилъ объ ихъ существованіи. Набатъ звалъ настойчиво и глухо, словно не изъ прозрачнаго воздуха падали звуки, а выбрасывала ихъ неизмѣримая толща земли, и я побѣжалъ.

Въ розовомъ сіяніи неба померкли надъ головой звѣзды, и въ саду было странно свѣтло, какъ не бываетъ ни днемъ, ни въ царственныя лунныя ночи, а когда я побѣжалъ къ плетню, на меня сквозь просвѣты взглянуло что-то ярко-красное, бурливое, отчаянно мечащееся. Высокія липы, словно обрызганные кровью, трепетали круглыми листьями и боязливо заворачивали ихъ назадъ, но голоса ихъ не было слышно за короткими и сильными ударами раскачавшагося колокола. Теперь звуки были ясны и точны и летѣли съ безумной быстротой, какъ рой раскаленныхъ камней. Они не кружились въ воздухѣ, какъ голуби тихаго вечерняго звона, они не расплывались въ немъ ласкающей волной торжественнаго благовѣста—они летѣли прямо, какъ грозные глашатаи бѣдствія, у которыхъ нѣтъ времени оглянуться назадъ, и глаза расширены отъ ужаса.

— Бамъ! Бамъ! Бамъ!—летѣли они съ неудержимой стремительностью, и сильные обгоняли слабыхъ, и всѣ вмѣстѣ впивались въ землю и пронизывали небо.

Такъ же прямо, какъ и они, бѣжалъ я по большому вспаханному полю, тускло мерцавшему кровавыми отблесками, какъ чешуя огромнаго чернаго звѣря. Надъ моей головой, на страшной высотѣ, плавно проносились одинокія яркія искры, а впереди былъ страшный деревенскій пожаръ, въ которомъ въ одномъ кострѣ гибнуть дома, животныя и люди. Тамъ, за прихотливой линіей черныхъ деревьевъ, то круглыхъ, то острыхъ, какъ пики, взвивалось ослѣпительное пламя, загибалось горделиво

шею, какъ взбѣсившійся конь, прыгало, отбрасывало отъ себя въ черное небо огненные клочки и хищно нагибалось внизъ за новой добычей. Въ ухахъ моихъ шумѣло отъ быстрого бѣга, сердце билось быстро и громко и, обгоняя его удары, прямо въ голову и грудь били меня беспорядочные звуки набата. И было въ нихъ такъ много отчаянія, словно это не мѣдный колоколь звучалъ, а въ предсмертныхъ судорогахъ колотилось сердце самой многострадальной земли.

— Бамъ! бамъ! бамъ!—выбрасывало изъ себя раскаленное пожарище, и трудно было повѣрить, что эти властные и отчаянные крики издаетъ церковная колокольная, такая маленькая и тонкая, такая спокойная и тихая, какъ дѣвочка въ розовомъ платьѣ.

Я падалъ, опираясь руками на комья сухой земли, и они разсыпались подъ моими руками; я подымался и снова бѣжалъ, а навстрѣчу мнѣ бѣжалъ огонь и прививные звуки набата. Уже слышно было, какъ трещить дерево, пожираемое огнемъ, и разноголосый людской крикъ съ господствующими въ немъ нотами отчаянія и страха. И когда стихало змѣиное шипѣніе огня, явственно выдѣлялся продолжительный стонущій звукъ: то выли бабы, и ревѣла въ паническомъ страхѣ скотина.

Болото остановило меня. Широкое заросшее болото, далеко бѣжавшее направо и налево. Я вошелъ въ воду по колѣна, потомъ по грудь, но болото засасывало меня и я вернулся на берегъ. Напротивъ, совсѣмъ близко, бушевалъ огонь и выбрасывалъ въ небо тучи золотистыхъ искръ, похожихъ на огненные листья гигантскаго дерева; въ черной рамкѣ камыша и осоки огненными блестящими зеркалами вставала болотная вода—и набатъ звалъ, отчаянно, въ смертельной мукѣ:

— Иди! иди же!

## III.

Я метался по берегу, и сзади меня металась моя черная тѣнь, а когда я нагибался къ водѣ, допытываясь у нея дна, на меня изъ черной бездны глядѣлъ призракъ огненнаго человѣка, и въ искаженныхъ чертахъ его лица, въ разметающихся волосахъ, точно приподнятыхъ на головѣ какой-то страшной силой—я не могъ узнать самого себя.

— Да что же это? Господи!—молилъ я, протягивая руки.

А набатъ звалъ. Колоколъ уже не молилъ—онъ кричалъ, какъ человѣкъ, стоналъ и задыхался. Звуки потеряли свою правильность и громоздились другъ на друга, быстро, безъ отзвука, умирая, рождаясь и снова умирая. И опять я наклонился къ водѣ и рядомъ съ своимъ отраженіемъ увидѣлъ другой огненный призракъ, высокій, прямой и, къ ужасу моему, все же похожій на человѣка.

— Кто это?—вскрикнулъ я, оглядываясь. Возлѣ моего плеча стоялъ человѣкъ и молча смотрѣлъ на пожаръ. Лицо его было блѣдно, и мокрая, не засохшая еще кровь покрывала щеку и блестѣла, отражая огонь. Одѣтъ онъ былъ просто, по крестьянски. Быть можетъ, онъ уже находился здѣсь, когда я прибѣжалъ, задержанный, какъ и я, болотомъ; быть можетъ, пришелъ потомъ—но я не слыхалъ его прихода и не зналъ, кто онъ.

— Горить,—сказалъ онъ, не отводя глазъ отъ пожара. Въ нихъ прыгалъ отраженный огонь, и они казались большими и стеклянными.

— Кто ты? Откуда?—спросилъ я.—У тебя кровь.

Длинными, худыми пальцами онъ коснулся щеки, посмотрѣлъ на нихъ, и снова уставился на огонь.

— Горить—повторилъ онъ, не обращая на меня вниманія.—Все горить.

— Ты не знаешь, какъ пройти туда? — спрашивалъ я, отодвигаясь: я догадывался, что это одинъ изъ сумасшедшихъ, которыхъ много породило то зловѣщее лѣто.

— Горить!—отвѣтилъ онъ.—Ого-го-го! горить—закричалъ онъ и засмѣялся, ласково глядя на меня и раскачивая головой. Участившійся набатъ внезапно смолкъ, и громче затрещало пламя. Оно двигалось, какъ живое, и длинными руками, словно въ истомѣ, тянулось къ умолкнувшей колокольнѣ. Теперь, вблизи, она казалась высокой и вмѣсто розоваго на ней было уже красное платье. На верху темнаго отверстія, гдѣ находились колокола, показался робкій и спокойный огонекъ, похожій на пламя свѣчи, и блѣднымъ лучемъ отразился на ихъ мѣдныхъ бокахъ. И снова затрепеталъ колоколь, посылая послѣднѣе, безумно-отчаянные крики, и я снова метался по берегу, а за мной металась моя черная тѣнь.

— Я пойду! Пойду!—отвѣчалъ я кому-то, звавшему меня. А высокій человѣкъ спокойно сидѣлъ сзади меня, охвативъ руками колѣна, и громко пѣлъ, вторя колоколу.

— Бамъ!.. Бамъ!.. Бамъ!..

— Ты съ ума сошелъ!—кричалъ я на него, а онъ пѣлъ все громче и веселѣе:

— Бамъ!.. Бамъ!.. Бамъ!..

— Замолчи!—умолялъ я.

А онъ улыбался и пѣлъ, раскачивая головой, и въ стеклянныхъ глазахъ его разгорался огонь. Онъ былъ страшнѣе пожара, этотъ безумный, и повернувшись, я бросился бѣжать вдоль берега. Но не сдѣлавъ я нѣсколькихъ шаговъ, какъ рядомъ со мной безшумно выросла его длинная фигура въ развѣвающейся рубашкѣ. Онъ бѣжалъ молча, какъ и я, длинными, не знающими усталости шагами, и молча бѣжали по изрытому полю наши черныя тѣни.

Въ предсмертныхъ мукахъ задыхался колоколь и кричалъ, какъ человѣкъ, который не ждетъ уже помощи, и для котораго уже нѣтъ надежды. И молча бѣжали мы куда-то во тьму, и возлѣ насъ насмѣшливо прыгали наши черныя тѣни.

Ноябрь 1901 г.



## АНГЕЛОЧЕНЪ.

### I.

Временами Сашкѣ хотѣлось перестать дѣлать то, что называется жизнью: не умываться по утрамъ холодной водой, въ которой плаваютъ тоненькія пластинки льда, не ходить въ гимназію, не слушать тамъ, какъ всѣ его ругаютъ, и не испытывать боли въ поясницѣ и во всемъ тѣлѣ, когда мать ставитъ его на цѣлый вечеръ на колѣни. Но такъ какъ ему было тринадцать лѣтъ, и онъ не зналъ всѣхъ способовъ, какими люди перестаютъ жить, когда захотятъ этого, то онъ продолжалъ ходить въ гимназію и стоять на колѣнкахъ, и ему казалось, что жизнь никогда не кончится. Пройдетъ годъ, еще годъ и еще годъ, а онъ будетъ ходить въ гимназію и стоять дома на колѣнкахъ. И такъ какъ Сашка обладалъ непокорной и смѣлой душой, то онъ не могъ спокойно отнестись ко злу и мстилъ жизни. Для этой цѣли онъ билъ товарищей, грубилъ начальству, рвалъ учебники и цѣлый день лгалъ то учителямъ, то матери, не лгалъ онъ только одному отцу. Когда въ дракѣ ему расшибали носъ, онъ нарочно расковыривалъ его еще больше и оралъ безъ слезъ, но такъ громко, что всѣ испытывали непріятное ощущеніе, морщились и затыкали уши. Проравъ, сколько нужно, онъ сразу умолкалъ, показывалъ языкъ и рисовалъ въ черновой тетрадкѣ карикатуру на себя, какъ оретъ на надзирателя, заткнувшаго уши,



и на дрожащаго отъ страха побѣдителя. Вся тетрадка заполнена была карриатурами, и чаще всѣхъ повторялась такая: толстая и низенькая женщина била скалкой гонкаго, какъ спичка, мальчика. Внизу крупными и неровными буквами чернѣла подпись: „проси прощенья, щенокъ“, и отвѣтъ: „не попрошу, хотъ тресни“. Передъ Рождествомъ Сашку выгнали изъ гимназіи, и когда мать стала бить его, онъ укусилъ ее за палець. Это дало ему свободу, и онъ бросилъ умываться по утрамъ, бѣгалъ цѣлый день съ ребятами и билъ ихъ, и боялся одного голода, такъ какъ мать перестала совсѣмъ кормить его, и только отецъ пряталъ для него хлѣбъ и картошку. При этихъ условіяхъ Сашка находилъ существованіе возможнымъ.

Въ пятницу, наканунѣ Рождества, Сашка игралъ съ ребятами, пока они не разошлись по домамъ, и не проскрипѣла ржавымъ, морознымъ скрипомъ калитка за послѣднимъ изъ нихъ. Уже темнѣло, и съ поля, куда выходилъ однимъ концомъ глухой переулочъ, надвигалась сѣрая снѣжная мгла; въ низенькомъ черномъ строеніи, стоявшемъ поперекъ улицы, на выгѣздѣ, зажегся красноватый, не мигающій огонекъ. Морозъ усилился, и когда Сашка проходилъ въ свѣтломъ кругѣ, который образовался отъ зажженнаго фонаря, онъ видѣлъ медленно рѣвущія въ воздухѣ маленькія, сухія снѣжинки. Приходилось идти домой.

— Гдѣ полунощницаешь, щенокъ?—крикнула на него мать, замахнулась кулакомъ, но не ударила. Рукава у нея были засучены, обнажая бѣлыя, толстыя руки, и на безбровымъ, плоскомъ лицѣ выступали капли пота. Когда Сашка проходилъ мимо нея, онъ почувствовалъ знакомый запахъ водки. Мать почесала въ головѣ толстымъ указательнымъ пальцемъ съ короткимъ и грязнымъ ногтемъ, и такъ какъ браниться было некогда, только плюнула и крикнула:

— Статистики, одно слово!

Сашка презрительно шморгнулъ носомъ и прошелъ за перегородку, гдѣ слышалось тяжелое дыханіе отца, Ивана Саввича. Ему всегда было холодно, и онъ старался согрѣться, сидя на раскаленной лежанкѣ и подкладывая подъ себя руки ладонями книзу.

— Сашка! А тебя Свѣчниковы на елку звали. Горничная приходила,—прошепталь онъ.

— Врешь?—спросилъ съ недовѣріемъ Сашка.

— Ей-Богу. Эта вѣдьма нарочно ничего не говорить, а ужъ и куртку приготовила.

— Врешь?—все больше удивлялся Сашка. Богачи Свѣчниковы, опредѣлившіе его въ гимназію, не велѣли, послѣ его исключенія, показываться къ нимъ. Отецъ еще разъ побожился, и Сашка задумался.

— Ну-ка, подвинься, разсѣлся!—сказаль онъ отцу, прыгая на коротенькую лежанку, и добавилъ:

— А къ этимъ чертямъ я не пойду. Жирны больно станутъ, если еще я къ нимъ пойду. „Испорченный мальчикъ“,—протянулъ Сашка въ носъ. Сами хороши, антипы толсторожіе.

— Ахъ, Сашка, Сашка!—поѣжился отъ холода отецъ,—не сносить тебѣ головы.

— А ты-то сносишь?—грубо возразилъ Сашка.—Молчалъ бы ужъ: бабы боятся. Эхъ, тюрь!

Отецъ сидѣлъ молча и ёжился. Слабый свѣтъ проникалъ черезъ широкую щель вверху, гдѣ перегородка на четверть не доходила до потолка, и свѣтлымъ пятномъ ложился на его высокій лобъ, подъ которымъ чернѣли глубокія глазныя впадины. Когда-то Иванъ Саввичъ сильно пилъ водку, и тогда жена боялась и ненавидѣла его. Но когда онъ началъ харкать кровью и не могъ больше пить, стала пить она, постепенно привыкая къ водкѣ. И тогда она выместила все, что ей пришлось выстрадать отъ высокаго, узкогрудаго человѣка, который говорилъ непонятныя слова, выгонялся за строптивость и пьянство со службы и наводилъ къ себѣ такихъ же

длинноволосыхъ безобразниковъ и гордецовъ, какъ и онъ самъ. Въ противоположность мужу, она здоровѣла, по мѣрѣ того, какъ пила, и кулаки ея все тяжелѣли. Теперь она говорила, что хотѣла, теперь она водила къ себѣ мужчинъ и женщинъ, какихъ хотѣла, и громко пѣла съ ними веселыя пѣсни. А онъ лежалъ за перегородкой, молчаливый, съжившійся отъ постоянного озноба, и думалъ о несправедливости и ужасѣ человеческой жизни. И всѣмъ, съ кѣмъ ни приходилось говорить женѣ Ивана Саввича, она жаловалась, что нѣтъ у нея на свѣтѣ такихъ враговъ, какъ мужъ и сынъ: оба гордецы и статистики.

Черезъ часъ мать говорила Сашкѣ:

— А я тебѣ говорю, что ты пойдешь!—и при каждомъ словѣ Θεоктиста Петровна ударяла кулакомъ по столу, на которомъ вымытые стаканы прыгали и звякали другъ о друга.

— А я тебѣ говорю, что не пойду,—хладнокровно отвѣчалъ Сашка, и углы губъ его подергивались отъ желанія оскалить зубы. Въ гимназiи за эту привычку его звали волченкомъ.

— Изобью я тебя, охъ, какъ изобью!—кричала мать.

— Что же, избеи!

Θеоктиста Петровна знала, что бить сына, который сталъ кусаться, она уже не можетъ, а если выгнать на улицу, то онъ отправится шататься и скорѣе замерзнетъ, чѣмъ пойдетъ къ Свѣчниковымъ: поэтому она прибѣгла къ авторитету мужа.

— А еще отецъ называется: не можетъ мать отъ оскорбленiй оборечь.

— Правда, Сашка, ступай, что ломаешься?—отозвался тотъ съ лежанки.—Они, можетъ быть, опять тебя устроятъ. Они люди добрые.

Сашка оскорбительно усмѣхнулся. Отецъ давно, до Сашкина еще рожденiя, былъ учителемъ у Свѣчниковыхъ и съ тѣхъ поръ думалъ, что они самые хорошіе

люди. Тогда онъ еще служилъ въ земской статистикѣ и ничего не пилъ. Разошелся онъ съ ними послѣ того, какъ женился на забеременѣвшей отъ него дочери квартирной хозяйки, сталъ пить и опустился до такой степени, что его пьянаго, поднимали на улицѣ и отвозили въ участокъ. Но Свѣчниковы продолжали помогать ему деньгами, и Θεоктиста Петровна хотя ненавидѣла ихъ, какъ книги и все, что связывалось съ прошлымъ ея мужа, дорожила знакомствомъ и хвалилась имъ.

— Можетъ быть, и мнѣ что-нибудь съ елки прине-сешь,—продолжалъ отецъ. Онъ хитрилъ,—Сашка понималъ это и презиралъ отца за слабость и ложь, но ему, дѣйствительно, захотѣлось что-нибудь принести больному и жалкому человѣку. Онъ давно уже сидитъ безъ хорошаго табаку.

— Ну, ладно!—буркнулъ онъ.—Давай, что-ли, куртку. Пуговицы пришила? А то вѣдь я тебя знаю!

## II.

Дѣтей еще не пускали въ залъ, гдѣ находилась елка, и они сидѣли въ дѣтской и болтали. Сашка съ презрительнымъ высокомеріемъ прислушивался къ ихъ наивнымъ рѣчамъ и ощупывалъ въ карманѣ брюкъ уже переломавшіяся папиросы, которыя удалось ему стащить изъ кабинета хозяина. Тутъ подошелъ въ нему самый маленькій Свѣчниковъ, Коля, и остановился неподвижно и съ видомъ изумленія, составивъ ноги носками внутрь и положивъ палецъ на уголь пухлыхъ губъ. Мѣсяцевъ шесть тому назадъ онъ бросилъ, по настоянію родственниковъ, скверную привычку класть палецъ въ ротъ, но совершенно отказаться отъ этого жеста еще не могъ. У него были бѣлые волосы, подрѣзанные на лбу и завитками спадавшіе на плечи, и голубые удивленные глаза, и по всему своему виду

онъ принадлежалъ къ мальчикамъ, которыхъ особенно преслѣдовалъ Сашка.

— Ты неблагодалный мальчикъ? — спросилъ онъ Сашку.—Мнѣ миссъ сказала. А я холосой.

— Ужъ на что же лучше!—отвѣтилъ тотъ, осматривая коротенькіе бархатные штанишки и большой откладной воротничекъ.

— Хочешь лузье? На!—протянулъ мальчикъ ружье съ привязанной къ нему пробкой. Волчонокъ завелъ пружину и, прицѣлившись въ носъ ничего ни подозрѣвавшего Коли, дернулъ собачку. Пробка ударилась по носу и отскочила, болтаясь на ниткѣ. Голубые глаза Коли раскрылись еще шире, и въ нихъ показались слезы. Передвинувъ палецъ отъ губъ къ покраснѣвшему носу, Коля часто заморгалъ длинными рѣсницами и зашепталъ:

— Злой... Злой мальчикъ.

Въ дѣтскую вошла молодая, красивая женщина съ гладко зачесанными волосами, скрывавшими части ушей. Это была сестра хозяйки, та самая, съ которой занимался когда-то Сашкинъ отецъ.

— Вотъ этотъ,—сказала она, показывая на Сашку сопровождавшему ее лысому господину.—Поклонись же, Саша, не хорошо быть такимъ невѣжливымъ.

Но Сашка не поклонился ни ей, ни лысому господину. Красивая дама не подозрѣвала, что онъ знаетъ многое. Знаетъ, что жалкій отецъ его любилъ ее, а она вышла за другого, и хотя это случилось послѣ того, какъ онъ женился самъ, Сашка не могъ простить измѣны.

— Дурная кровь,—вдохнула Софья Дмитріевна.— Вотъ не можете ли, Платонъ Михайловичъ, устроить его? Мужъ говоритъ, что ремесленное ему больше подходитъ, чѣмъ гимназія. Саша, хочешь въ ремесленное?

— Не хочу,—коротко отвѣтилъ Сашка, слышавшій слово „мужъ“.

— Что же, братецъ, въ пастухи хочешь?—спросилъ господинъ.

— Нѣтъ, не въ пастухи,—обидѣлся Сашка.

— Такъ куда же?

Сашка не зналъ, куда онъ хочетъ.

— Мнѣ все равно,—отвѣтилъ онъ, подумавъ,—хоть и въ пастухи.

Лысый господинъ съ недоумѣніемъ разсматривалъ страннаго мальчика. Когда съ заплаканныхъ сапогъ онъ перевелъ глаза на лицо Сашки, послѣдній высунулъ языкъ и опять спряталъ его такъ быстро, что Софья Дмитриевна ничего не замѣтила, а пожилой господинъ пришелъ въ непонятное ей раздражительное состояніе.

— Я хочу и въ ремесленное, — скромно сказалъ Сашка.

Красивая дама обрадовалась и подумала, вздохнувъ, о той силѣ, какую имѣетъ надъ людьми старая любовь.

— Но едва-ли вакансія найдется,—сухо замѣтилъ пожилой господинъ, избѣгая смотрѣть на Сашку и приглаживая поднявшіеся на затылкѣ волосики. — Впрочемъ, мы еще посмотримъ.

Дѣти волновались и шумѣли, нетерпѣливо ожидая елки. Опытъ съ ружьемъ, продѣланный мальчикомъ, внушавшимъ къ себѣ уваженіе ростомъ и репутаціей испорченнаго, нашелъ себѣ подражателей, и нѣсколько кругленькихъ носиковъ уже покраснѣло. Дѣвочки смѣялись, прижимая обѣ руки къ груди и перегибаясь, когда ихъ рыцари, съ презрѣніемъ къ страху и боли, но морщась отъ ожиданія, получали удары пробкой. Но вотъ открылись двери, и чей-то голосъ сказалъ:

— Дѣти, идите! Тише, тише!

Заранѣе вытаращивъ глазенки и затаивъ дыханіе, дѣти чинно, по парѣ, входили въ ярко освѣщенный залъ и тихо обходили сверкающую елку. Она бросала сильный свѣтъ, безъ тѣней, на ихъ лица съ округлившимися глазами и губками. Минуту царила тишина глу-

бокаго очарованія сразу смѣнившаяся хоромъ восторженныхъ восклицаній. Одна изъ дѣвочекъ не въ силахъ была овладѣть охватившимъ ее восторгомъ и упорно и молча прыгала на одномъ мѣстѣ; маленькая косичка, со вплетенной голубой ленточкой, хлопала ее по плечамъ. Сашка былъ угрюмъ и печаленъ,—что-то нехорошее творилось въ его маленькомъ изъязвленномъ сердцѣ. Елка ослѣпляла его своей красотой и крикливымъ наглымъ блескомъ безчисленныхъ свѣчей, но она была чуждой ему, враждебной, какъ и столпившіяся вокругъ нея чистенькія, красивыя дѣти, и ему хотѣлось толкнуть ее такъ, чтобы она повалилась на свѣтлыя головки. Казалось, что чьи-то желѣзныя руки взяли его сердце и выжимаютъ изъ него послѣднюю каплю крови. Забившись за рояль, Сашка сѣлъ тамъ въ углу, безсознательно доламывалъ въ карманѣ послѣднія папиросы и думалъ, что у него есть отецъ, мать, свой домъ, а выходитъ такъ, какъ будто ничего этого нѣтъ. и ему некуда идти. Онъ пытался представить себѣ перочинный ножичекъ, который онъ недавно вымѣнялъ и очень сильно любилъ, но ножичекъ сталъ очень плохой, съ тоненькимъ сточеннымъ лезвіемъ и только съ половиной желтой костяжки. Завтра онъ сломаетъ ножичекъ, и тогда у него уже ничего не останется.

Но вдругъ узенькіе глаза Сашки блеснули изумленіемъ, и лицо мгновенно приняло обычное выраженіе дерзости и самоувѣренности. На обращенной къ нему сторонѣ елки, которая была освѣщена слабѣе другихъ и составляла ея изнанку, онъ увидѣлъ то, чего не хватало въ картинѣ его жизни и безъ чего кругомъ было такъ пусто, точно окружающіе люди не живые. То былъ восковой ангелочекъ, небрежно повѣшенный въ гущѣ темныхъ вѣтвей и словно рѣявшій по воздуху. Его прозрачныя стрекозиныя крылышки трепетали отъ падавшего на нихъ свѣта, и весь онъ казался живымъ и готовымъ улетѣть. Розовыя ручки съ изящно сдѣланными

пальцами протягивались кверху, и за ними тянулась головка съ такими же волосами, какъ у Коли. Но было въ ней другое, чего лишено было лицо Коли и всѣ другія лица и вещи. Лицо ангелочка не блистало радостью, не туманилось печалью, но лежала на немъ печать иного чувства, не передаваемого словами, не опредѣляемаго мыслью и доступнаго для пониманія лишь такому же чувству. Сашка не сознавалъ, какая тайная сила влекла его къ ангелочку, но чувствовалъ, что онъ всегда зналъ его и всегда любилъ, любилъ больше, чѣмъ перочинный ножичекъ, больше, чѣмъ отца, и больше, чѣмъ все остальное. Полный недоумѣнія, тревоги, непонятнаго восторга, Сашка сложилъ руки у груди и шепталъ:

— Милый... милый ангелочекъ!

И чѣмъ внимательнѣе онъ смотрѣлъ, тѣмъ значительнѣе, важнѣе становилось выраженіе ангелочка. Онъ былъ безконечно далекъ и непохожъ на все, что его здѣсь окружало. Другія игрушки какъ будто гордились тѣмъ, что онѣ висятъ, нарядныя, красивыя, на этой сверкающей елкѣ, а онъ былъ грустенъ и боялся яркаго назойливаго свѣта и нарочно скрылся въ темной зелени, чтобы никто не видѣлъ его. Было бы безумной жестокостью прикоснуться къ его нѣжнымъ крылышкамъ.

— Милый... милый!—шепталъ Сашка.

Голова Сашкина горѣла. Онъ заложилъ руки за спину и въ полной готовности къ смертельному бою за ангелочка, прохаживался осторожными и крадущимися шагами; онъ не смотрѣлъ на ангелочка, чтобы не привлечь на него вниманія другихъ, но чувствовалъ, что онъ еще здѣсь, не улетѣлъ. Въ дверяхъ показалась хозяйка— важная высокая дама съ свѣтлымъ ореоломъ сѣдыхъ, высоко зачесанныхъ волосъ. Дѣти окружили ее съ выраженіемъ своего восторга, а маленькая дѣвочка, та, что прыгала, утомленно повисла у нея на рукѣ и тяжело моргала сонными глазками. Подошелъ и Сашка. Горло его перехватывало.



— Тетя, а тетя, — сказалъ онъ, стараясь говорить ласково, но выходило еще болѣе грубо, чѣмъ всегда. — Те... Тетичка.

Она не слыхала, и Сашка нетерпѣливо дернулъ ее за платье.

— Чего тебѣ? Зачѣмъ ты дергаешь меня за платье? — удивилась сѣдая дама. — Это невѣжливо.

— Те... тетичка. Дай мнѣ одну штуку съ елки, — ангелочка.

— Нельзя, — равнодушно отвѣтила хозяйка. — Елку будемъ на новый годъ разбирать. И ты уже не маленький и можешь звать меня по имени, Марьей Дмитриевной.

Сашка чувствовалъ, что онъ падаетъ въ пропасть, и ухватился за послѣднее средство.

— Я раскаиваюсь. Я буду учиться, — отрывисто говорилъ онъ. Но эта формула, оказывавшая благотворное вліяніе на учителей, на сѣдую даму не произвела впечатлѣнія.

— И хорошо сдѣлаешь, мой другъ, — отвѣтила она такъ же равнодушно.

Сашка грубо сказалъ:

— Дай ангелочка.

— Да нельзя же! — говорила хозяйка. — Какъ ты этого не понимаешь?

Но Сашка не понималъ, и когда дама повернулась къ выходу, Сашка послѣдовалъ за ней, бессмысленно глядя на ея черное, шелестящее платье. Въ его горячечно работавшемъ мозгу мелькнуло воспоминаніе, какъ одинъ гимназистъ его класса просилъ учителя поставить тройку, а когда получилъ отказъ, сталъ передъ учителемъ на колѣни, сложилъ руки ладонь къ ладони, какъ на молитвѣ, и заплакалъ. Тогда учитель разсердился, но тройку все-таки поставилъ. Своевременно Сашка увѣковѣчилъ эпизодъ въ каррикатуру, но теперь иного средства не оставалось. Сашка дернулъ тетку за платье и, когда она обернулась, упалъ со сту-

комъ на колѣни и сложилъ руки вышеупомянутымъ способомъ. Но заплакать не могъ.

— Да ты съ ума сошелъ!—воскликнула сѣдая дама и оглянулася; по счастью, въ кабинетъ никого не было.— Чтѣ съ тобой?

Стоя на колѣняхъ, со сложенными руками, Сашка съ ненавистью посмотрѣлъ на нее и грубо потребовалъ:

— Дай ангелочка!

Глаза Сашкины, впившіеся въ сѣдую даму и ловившіе на ея губахъ первое слово, которое онъ произнесутъ, были очень нехороши, и хозяйка поспѣшила отвѣтить:

— Ну, дамъ, дамъ. Ахъ, какой ты глупый! Конечно, я дамъ тебѣ, чтѣ ты просишь, но почему ты не хочешь подождать до новаго года? Да вставай же! И никогда,—поучительно добавила сѣдая дама,—не становись на колѣни: это унижаетъ человѣка. На колѣни можно становиться только передъ Богомъ.

„Толкуй тамъ“—думалъ Сашка, стараясь опередить тетку и наступая ей на платье.

Когда она сняла игрушку, Сашка впился въ нее глазами, болѣзненно сморщилъ носъ и растопырилъ пальцы. Ему казалось, что высокая дама сломаетъ ангелочка.

— Красивая вещь,—сказала дама, которой стало жаль изящной и, повидимому, дорогой игрушки. — Кто это повѣсилъ ее сюда? Ну, послушай, зачѣмъ эта игрушка тебѣ? Вѣдь ты такой большой, чтѣ будешь ты съ нею дѣлать?—Вонъ тамъ книги есть, съ рисунками. А это я обѣщала Колѣ отдать, онъ такъ просилъ,—согласа она.

Терзанія Сашки становились невыносимыми. Онъ судорожно стиснулъ зубы и, показалось, даже скрипнулъ ими. Сѣдая дама больше всего боялась сценъ и потому медленно протянула къ Сашкѣ ангелочка.

— Ну, нѣ ужъ, нѣ!—съ неудовольствіемъ сказала она.—Какой настойчивый!

Обѣ руки Сашки, которыми онъ взялъ ангелочка, казались цѣпкими и напряженными, какъ двѣ стальные пружины, но такими мягкими и осторожными, что ангелочекъ могъ вообразить себя летящимъ по воздуху.

— А—ахъ! — вырвался продолжительный, замирающій вздохъ изъ груди Сашки, и на глазахъ его сверкнули двѣ маленькія слезинки и остановились тамъ, непривычныя къ свѣту. Медленно приближая ангелочка къ своей груди, онъ не сводилъ сіяющихъ глазъ съ хозяйки и улыбался тихой и кроткой улыбкой, замирая въ чувствѣ неземной радости. Казалось, что когда нѣжныя крылышки ангелочка прикоснутся ко впадой груди Сашки, то случится что-то такое радостное, такое свѣтлое, какого никогда еще не происходило на печальной, грѣшной и страдающей землѣ.

— А—ахъ! — пронесся тотъ же замирающій стонъ, когда крылышки ангелочка коснулись Сашки. И передъ сіяніемъ его лица словно потухла сама нелѣпо разукрашенная, нагло горящая елка—и радостно улыбнулась сѣдая, важная дама, и дрогнулъ сухимъ лицомъ лысый господинъ, и замерли въ живомъ молчаніи дѣти, которыхъ коснулось вѣяніе человѣческаго счастья. И въ этотъ короткій моментъ всѣ замѣтили загадочное сходство между неуклюжимъ, выросшимъ изъ своего платья гимназистомъ и одухотвореннымъ рукой невѣдомаго художника личикомъ ангелочка.

Но въ слѣдующую минуту картина рѣзко измѣнилась. Съжившись, какъ готовящаяся къ прыжку пантера, Сашка мрачнымъ взглядомъ обводилъ окружающихъ, ища того, кто осмѣлится отнять у него ангелочка.

— Я пойду домой,—глухо сказалъ Сашка, намѣчая путь въ толпѣ.—Къ отцу.

## III.

Мать спала, обезсилѣвъ отъ цѣлаго дня работы и выпитой водки. Въ маленькой комнаткѣ, за перегородкой, горѣла на столѣ кухонная лампочка, и слабый желтоватый свѣтъ ея съ трудомъ проникалъ черезъ закопченное стекло, бросая странныя тѣни на лицо Сашки и его отца.

— Хорошъ? — спрашивалъ шепотомъ Сашка. Онъ держалъ ангелочка въ отдаленіи и не позволялъ отцу дотрогиваться.

— Да, въ немъ есть что-то особенное, — шепталъ отецъ, задучиво всматриваясь въ чгруппку. Его лицо выражало то же сосредоточенное вниманіе и радость, какъ и лицо Сашки. — Ты погляди, — продолжалъ отецъ, — онъ сейчасъ полетитъ.

— Видѣлъ уже! — торжествующе отвѣтилъ Сашка. — Думаешь, слѣпой? А ты на крылышки глянь. Цыцъ, не трогай!

Отецъ отдернулъ руку и темными глазами изучалъ подробности ангелочка, пока Сашка наставительно шепталъ:

— Экая, братецъ, у тебя привычка скверная за все руками хвататься. Вѣдь сломать можешь!

На стѣнѣ вырѣзывались уродливыя и неподвижныя тѣни двухъ склонившихся головъ: одной большой и лохматой, другой маленькой и круглой. Въ большой головѣ происходила странная, мучительная, но въ то же время радостная работа. Глаза, не мигая, смотрѣли на ангелочка и подъ этимъ пристальнымъ взглядомъ онъ становился больше и свѣтлѣе, и крылышки его начинали трепетать безшумнымъ трепетаніемъ, а все окружающее, — бревенчатая, покрытая копотью стѣна, грязный столъ, — Сашка, — все это сливалось въ одну ровную

сырую массу, безъ тѣней, безъ свѣта. И чудилось погибшему человѣку, что онъ слышалъ жалѣющій голосъ изъ того чуднаго міра, гдѣ онъ жилъ когда-то и откуда былъ навѣки изгнанъ. Тамъ не знаютъ о грязи и унылой брани, о тоскливой, слѣпо-жестоконъ борьбѣ эгоизмовъ; тамъ не знаютъ о мукахъ человѣка, поднимается со смѣхомъ на улицѣ, избиваемого грубыми руками сторожей. Тамъ чисто, радостно и свѣтло, и все это чистое нашло пріютъ въ душѣ ея, той, которую онъ любилъ больше жизни и потерялъ, сохранивъ ненужную жизнь. Къ запаху воска, шедшему отъ игрушки, примѣшивался неувимый ароматъ, и чудилось погибшему человѣку, какъ прикасались къ ангелочку ея дорогіе пальцы, которые онъ хотѣлъ бы цѣловать по одному и такъ долго, пока смерть не сомкнетъ его уста навсегда. Оттого и была такъ красива эта игрушечка, оттого и было въ ней что-то особенное, влекущее къ себѣ, не передаваемое словами. Ангелочекъ спустился съ неба, которымъ была ея душа, и внесъ лучъ свѣта въ сырую, пропитанную чадомъ комнату и въ черную душу человѣка, у котораго было отнято все: и любовь, и счастье, и жизнь.

И рядомъ съ глазами отжившаго человѣка сверкали глаза начинающаго жить и ласкали ангелочка. И для нихъ исчезло настоящее и будущее: и вѣчно печальный, жалкій отецъ, и грубая, невыносимая мать, и черныи мракъ обидъ, жестокостей, униженій и злобствующихъ тоски. Безформенны, туманны были мечты Сапки, но тѣмъ глубже волновали онѣ его смятенную душу. Все добро, сіяющее надъ міромъ, все глубокое горе и надежду тоскующей о Богѣ души впиталъ въ себя ангелочекъ, и оттого онъ горѣлъ такимъ мягкимъ божественнымъ свѣтомъ, оттого трепетали безшумнымъ трепетаніемъ его прозрачныя, стрекозиныя крылышки.

Отецъ и сынъ не видѣли другъ друга; по разному тосковали, плакали и радовались ихъ больныя сердца,

но было что-то въ ихъ чувствѣ, что сливало во-едино сердца и уничтожало бездонную пропасть, которая отдѣляетъ человѣка отъ человѣка и дѣлаетъ его такимъ одинокимъ, несчастнымъ и слабымъ. Отецъ несознаннымъ движеніемъ положилъ руку на шею сына, и голова послѣдняго также невольно прижалась къ чахоточной груди.

— Это она дала тебѣ?—прошепталъ отецъ, не отводя глазъ отъ ангелочка.

Въ другое время Сашка отвѣтилъ бы грубымъ отрицаніемъ, но теперь въ душѣ его самъ собой прозвучалъ отвѣтъ, и уста спокойно произнесли завѣдомую ложь:

— А то кто же? Конечно, она.

Отецъ молчалъ; замолкъ и Сашка. Что-то захрипѣло въ сосѣдней комнатѣ, затрещало, на мигъ стихло, и часы бойко и торопливо отчеканили: часъ, два, три.

— Сашка, ты видишь когда-нибудь сны?—задумчиво спросилъ отецъ.

— Нѣтъ,—сознался Сашка.—А, нѣтъ, разъ видѣлъ: съ крыши упалъ. За голубями лазили, я и сорвался.

— А я постоянно вижу. Чудные бываютъ сны. Видишь все, что было, любишь и страдаешь, какъ на яву...

Онъ снова замолкъ, и Сашка почувствовалъ, какъ задрожала рука, лежавшая на его шеѣ. Все сильнѣе дрожала и дергалась она, и чуткое безмолвіе ночи внезапно нарушилось всхлипывающимъ, жалкимъ звукомъ сдерживаемаго плача. Сашка сурово задвигалъ бровями и осторожно, чтобы не потревожить тяжелую, дрожащую руку, скосынулъ съ глаза слезинку. Такъ странно было видѣть, какъ плачетъ большой и старый человѣкъ.

— Ахъ, Саша, Саша!—всхлипывалъ отецъ.—Зачѣмъ все это?

— Ну, что еще?—сурово прошепталъ Сашка.—Совсѣмъ, ну, совсѣмъ, какъ маленькій.

— Не буду... не буду,—съ жалкой улыбкой извинился отецъ.—Что ужъ... зачѣмъ?

Заворочалась на своей постели Θεоктиста Петровна. Она вздохнула, сплюнула и забормотала громко и странно настойчиво: „Дерюжку держи... держи, держи, держи“. Нужно было ложиться спать, но до этого устроить на ночь ангелочка. На землѣ оставлять его было невозможно; онъ былъ повѣшенъ на ниточкѣ, прикрѣпленной къ отдушникѣ печки, и отчетливо рисовался на бѣломъ фонѣ кафель. Такъ его могли видѣть оба—и Сашка, и отецъ. Поспѣшно набросавъ въ уголъ всякаго тряпья, на которомъ онъ спалъ, Сашка такъ же быстро раздѣлся и легъ на спину, чтобы поскорѣе начать смотрѣть на ангелочка.

— Что же ты не раздѣваешься?—спросилъ отецъ, зябко кутаясь въ прорванное одѣяло и поправляя наброшенное на ноги пальто.

— Не къ чему. Скоро встану.

Сашка хотѣлъ добавить, что ему совсѣмъ не хочется спать, но не успѣлъ, такъ какъ заснулъ съ такой быстротой, точно пошелъ ко дну глубокой и быстрой рѣки. Скоро заснулъ и отецъ. Кроткій покой и безмятежность легли на истомленное лицо человѣка, который отжилъ, и смѣлое личико человѣка, который еще только начиналъ жить.

А ангелочекъ, повѣшенный у горячей печки, началъ таять. Лампа, оставленная горѣть, по настоянію Сашки, наполняла комнату запахомъ керосина и сквозь закопченное стекло бросала печальный свѣтъ на картину медленнаго разрушенія. Ангелочекъ какъ будто шевелился. По розовымъ ножкамъ его скатывались густыя капли и падали на лежанку. Къ запаху керосина присоединился тяжелый запахъ топленого воска. Вотъ ангелочекъ вострепнулся, словно для полета, и упалъ съ мягкимъ стукомъ на горячія плиты. Любопытный

прусакъ пробѣжалъ, обжигаясь, вокругъ безформеннаго слитка, вообразя на стрекозиное крылышко и, дернувъ усикамъ, побѣжалъ дальше.

Въ завѣшенное окно пробивался синеватый свѣтъ начинающагося дня, и на дворѣ уже застучалъ желѣзнымъ черпакомъ зазябшій водовозъ.

11—16 ноября 1899 г.





## МОЛЧАНІЕ.

### I.

Въ одну лунную майскую ночь, когда пѣли соловьи, въ кабинетъ къ о. Игнатію вошла его жена. Лицо ея выражало страданіе, и маленькая лампочка дрожала въ ея рукахъ. Подойдя къ мужу, она коснулась его плеча и, всхлипнувъ, сказала:

— Отецъ, пойдемъ къ Вѣрочкѣ!

Не поварачивая головы, о. Игнатій поверхъ очковъ исподлобья взглянулъ на попадью, и смотрѣлъ долго и пристально, пока она не махнула свободной рукой и не опустилась на низенькій диванъ.

— Какіе вы оба съ ней... безжалостные!—выговорила она медленно съ сильнымъ удареніемъ на послѣднихъ слогахъ, и доброе пухлое лицо ея исказилось гримасой боли и ожесточенія, словно на лицѣ хотѣла она показать, какіе это жестокіе люди, мужъ ея и дочь.

О. Игнатій усмѣхнулся и всталъ. Закрывъ книгу, онъ снялъ очки, положилъ ихъ въ футляръ и задумался. Большая черная борода, перевитая серебряными нитями, красивымъ изгибомъ легла на его грудь и медленно подымалась при глубокомъ дыханіи.

— Ну, пойдемъ!—сказалъ онъ.

Ольга Степановна быстро встала и попросила заискивающимъ, робкимъ голосомъ:

— Только не брани ее, отецъ! Ты знаешь, какая она...  
Комната Вѣры находилась въ мезонинѣ, и узенькая

деревянная лѣстница гнулась и стонала подъ тяжелыми шагами о. Игнатія. Высокій и грузный, онъ наклонялъ голову, чтобы не удариться о полъ верхняго этажа и брезгливо морщился, когда бѣлая кофточка жены слегка задѣвала его лицо. Онъ зналъ, что ничего не выйдетъ изъ ихъ разговора съ Вѣрой.

— Чего это вы?—спросила Вѣра, поднимая одну обнаженную руку къ глазамъ. Другая рука лежала поверхъ бѣлаго лѣстняго одѣяла и почти не отдѣлялась отъ него, такая она была бѣлая, прозрачная и холодная.

— Вѣрочка!...—начала мать, но всхлипнула и умолкла.

— Вѣра!—сказалъ отецъ, стараясь смягчить свой сухой и твердый голосъ.—Вѣра, скажи намъ, что съ тобою?

Вѣра молчала.

— Вѣра, развѣ мы, твоя мать и я, не заслуживаемъ твоего довѣрія? Развѣ мы не любимъ тебя? И развѣ есть у тебя кто-нибудь ближе насъ? Скажи намъ о твоёмъ горѣ и, повѣрь мнѣ, человѣку старому и опытному, тебѣ будетъ легче. Да и намъ. Посмотри на старуху-мать, какъ она страдаетъ...

— Вѣрочка!..

— И мнѣ!...—сухой голосъ дрогнулъ, точно въ немъ что переломилось,—и мнѣ, думаешь, легко? Какъ будто не вижу я, что поѣдаетъ тебя какое-то горе... а какое? И я, твой отецъ, не знаю его. Развѣ должно такъ быть?

Вѣра молчала. О. Игнатій съ особенной осторожностью провелъ по своей бородѣ, словно боялся, что пальцы противъ воли вопьются въ нее, и продолжалъ:

— Противъ моего желанія поѣхала ты въ Петербургъ,—развѣ я проклялъ тебя, послушницу? Или денегъ тебѣ не давалъ? Или, скажешь, не ласковъ былъ я? Ну, что же молчишь? Вотъ онъ, Петербургъ-то твой!

О. Игнатій умолкъ, и ему представилось что-то большое, гранитное, страшное, полное невѣдомыхъ опасностей и чуждыхъ, равнодушныхъ людей. И тамъ, одинокая, слабая, была его Вѣра, и тамъ погубили ее. Злая нена-

вистъ къ страшному и непонятному городу поднялась въ душѣ о. Игнатія, и гнѣвъ противъ дочери, которая молчитъ, упорно молчитъ.

— Петербургъ здѣсь не при чемъ,—угрюмо сказала Вѣра и закрыла глаза.—А со мной ничего. Идите-ка лучше спать, поздно.

— Вѣрочка!—простонала мать.—Дочечка, да откройся ты мнѣ!

— Ахъ, мама!—нетерпѣливо прервала ее Вѣра.

О. Игнатій сѣлъ на стулъ и засмѣялся.

— Ну-съ, такъ, значитъ, ничего?—иронически спросилъ онъ.

— Отецъ,—рѣзко сказала Вѣра, приподнимаясь на постели,—ты знаешь, что я люблю тебя и мамочку. Но... Ну, такъ, скучно мнѣ немножко. Пройдетъ все это. Право, идите лучше спать, и я спать хочу. А завтра или когда тамъ—поговоримъ.

О. Игнатій порывисто всталъ, такъ что стулъ ударился о стѣну, и взявъ жену за руку.

— Пойдемъ!

— Вѣрочка...

— Пойдемъ, говорю тебѣ!—крикнулъ о. Игнатій.—Если уже она Бога забыла, такъ мы-то!.. Что уже мы!

Почти насильно онъ вывелъ Ольгу Степановну, и, когда они спускались по лѣстницѣ, Ольга Степановна, замедляя шаги, говорила злымъ шопотомъ:

— У-у! Это ты, попъ, сдѣлалъ ее такой. У тебя пере-няла она эту манеру. Ты и отвѣтишь. Ахъ, я несчастная...

И она заплакала, часто моргая глазами, не видя ступенекъ и такъ опуская ногу, словно внизъ была пропасть, въ которую ей хотѣлось бы упасть.

Съ этого дня о. Игнатій пересталъ говорить съ дочерью, но она словно не замѣчала этого. Попрежнему она то лежала у себя въ комнатѣ, то ходила и часто-часто вытирала ладонями рукъ глаза, какъ будто они были у нея засорены. И сдавленная двумя этими мол-

чащими людьми, сама любившая шутку и смѣхъ попадавъ робѣла и терялась, не зная, что говорить и что дѣлать.

Иногда Вѣра выходила гулять. Черезъ недѣлю послѣ разговора она вышла вечеромъ, по обыкновенію. Болѣе не видали ее живою, такъ какъ она въ этотъ вечеръ бросилась подъ поѣздъ, и поѣздъ пополамъ перерѣзалъ ее.

Хоронилъ ее самъ о. Игнатій. Жены въ церкви не было, такъ какъ при извѣстіи о смерти Вѣры ее хватилъ ударъ. У нея отнялись ноги, руки и языкъ, и она неподвижно лежала въ полутемной комнатѣ, пока рядомъ съ нею, на колокольнѣ, перезванивали колокола. Она слышала, какъ вышли всѣ изъ церкви, какъ пѣли противъ ихъ дома цѣвчіе, и старалась поднять руку, чтобы перекреститься, но рука не повиновалась; хотѣла сказать: прощай, Вѣра,—но языкъ лежалъ во рту громадный и тяжелый. И поза ея была такъ спокойна, что если бы кто-нибудь взглянулъ на нее, то подумалъ бы, что этотъ человѣкъ отдыхаетъ или спитъ. Только глаза ея были открыты.

Въ церкви на похоронахъ было много народу, знакомыхъ о. Игнатія и незнакомыхъ, и всѣ собравшіеся жалѣли Вѣру, умершую такою ужасною смертью, и старались въ движеніяхъ и голосѣ о. Игнатія найти признаки тяжелаго горя. Они не любили о. Игнатія за то, что онъ былъ въ обхожденіи суровъ и гордъ, ненавидѣлъ грѣшниковъ и не прощалъ ихъ, а самъ въ то же время, завистливый и жадный, пользовался всякимъ случаемъ, чтобы взять съ прихожанина лишнее. И всѣмъ хотѣлось видѣть его страдающимъ, сломленнымъ и сознающимъ, что онъ виновенъ дважды въ смерти дочери: какъ жестокой отецъ и дурной священнослужитель, не могущій уберечь отъ грѣха свою же плоть. И всѣ пылливо смотрѣли на него, а онъ, чувствуя направленные на его спину взгляды, старался выпрямлять эту широкую и крѣпкую спину, и думалъ не объ умершей дочери, а томъ, чтобы не уронить себя.

— Калѣнный попъ!—сказалъ, кивая на него, столяръ Карзеновъ, которому онъ не отдалъ пяти рублей за рамы.

И такъ, твердый и прямой, прошелъ о. Игнатій до кладбища и такой же вернулся назадъ. И только у дверей въ комнату жены спина его согнулась немного; но это могло быть и оттого, что большинство дверей были низки для его роста. Войдя со свѣту, онъ съ трудомъ могъ рассмотреть лицо жены, а когда рассмотрѣлъ, то удивился, что оно совсѣмъ спокойно, и на глазахъ нѣтъ слезъ. И не было въ глазахъ ни гнѣва, ни горя,—они были нѣмы и молчали тяжело, упорно, какъ и все тучное, безсильное тѣло, вдавившееся въ перину.

— Ну, чтó, какъ ты себя чувствуешь?—спросилъ о. Игнатій.

Но уста были нѣмы; молчали и глаза. О. Игнатій положилъ руку на лобъ; онъ былъ холодный и влажный, и Ольга Степановна ничѣмъ не выразила, что она ощутила прикосновеніе. И когда рука о. Игнатія была имъ снята, на него смотрѣли, не мигая, два сѣрые глубокіе глаза, казавшіеся почти черными отъ расширившихся зрачковъ, и въ нихъ не было ни печали, ни гнѣва.

— Ну, я пойду къ себѣ,—сказалъ о. Игнатій, которому сдѣлалось холодно и страшно.

Онъ прошелъ въ гостиную, гдѣ все было чисто и прибрано, какъ всегда, и одѣтыя бѣлыми чехлами высокія кресла стояли, точно мертвецы въ саванахъ. На одномъ окнѣ висѣла проволочная клѣтка, но была пуста, и дверца открыта.

— Настасья!—крикнулъ о. Игнатій, и голосъ показался ему грубымъ, и стало неловко, что онъ такъ громко кричить въ этихъ тихихъ комнатахъ, тотчасъ послѣ похоронъ дочери.—Настасья!—тише позвалъ онъ,—гдѣ канарейка?

Кухарка, плакавшая такъ много, что носъ у нея распухъ и сталъ красный, какъ свекла, грубо отвѣтила:

— Извѣстно, гдѣ. Улетѣла.

— Зачѣмъ выпустила?—грозно нахмурилъ брови о. Игнатій.

Настасья расплакалась и, вытираясь концами ситцевого головного платка, сквозь слезы сказала:

— Душенька... барышнина... Развѣ можно ее держать?

И о. Игнатію показалось, что желтенькая веселая канарейка, пѣвшая всегда съ наклоненной головкой, была дѣйствительно душою Вѣры, и что если бы она не улетѣла, то нельзя было бы сказать, что Вѣра умерла. И онъ еще больше разсердился на кухарку и крикнулъ:

— Вонь!—и когда Настасья не сразу попала въ дверь, добавилъ:—дура!

## II.

Со дня похоронъ въ маленькомъ домикѣ наступило молчаніе. Это не была тишина, потому что тишина—лишь отсутствіе звуковъ, а это было молчаніе, когда тѣ, кто молчатъ, казалось, могли бы говорить, но не хотятъ. Такъ думалъ о. Игнатій, когда входилъ въ комнату жены и встрѣчалъ упорный взглядъ, такой тяжелый, словно весь воздухъ обращался въ свинецъ и давилъ на голову и спину. Такъ думалъ онъ, разсматривая ноты дочери, въ которыхъ запечатлѣлся ея голосъ, ея книги и ея портретъ, большой, писанный красками портретъ, который она привезла съ собою изъ Петербурга. Въ разсматриваніи портрета у о. Игнатія установился извѣстный порядокъ: сперва онъ глядѣлъ на щеку, освѣщенную на портретѣ, и представлялъ себѣ на ней царапину, которая была на мертвой щекѣ Вѣры, и происхожденіе которой онъ не могъ понять. И каждый разъ онъ задумывался о причинахъ: если бы это задѣлъ поѣздъ, онъ раздробилъ бы всю голову, а голова мертвой Вѣры была совѣмъ невредима.

Быть можетъ, ногой кто-нибудь задѣлъ, когда подбিরали трупъ, или нечаянно ногтемъ?

Но долго думать о подробностяхъ Вѣриной смерти было страшно, и о. Игнатій переходилъ къ глазамъ портрета. Они были черные, красивые, съ длинными рѣсницами, отъ которыхъ внизу лежала густая тѣнь, отчего бѣлки казались особенно яркими, и оба глаза точно были заключены въ черную, траурную рамку. Странное выраженіе придавъ имъ неизвѣстный, но талантливый художникъ: какъ будто между глазами и тѣмъ, на что они смотрѣли, лежала тонкая, прозрачная пленка. Немного похоже было на черную крышку рояля, на которую тонкимъ, незамѣтнымъ пластомъ налегла лѣтняя пыль, смягчая блескъ полированного дерева. И какъ ни ставилъ портретъ о. Игнатій, глаза неотступно слѣдили за нимъ, но не говорили, а молчали; и молчаніе это было такъ ясно, что его, казалось, можно было услышать. И постепенно о. Игнатій сталъ думать, что онъ слышитъ молчаніе.

Каждое утро, послѣ обѣдни, о. Игнатій приходилъ въ гостиную, окидывалъ однимъ взглядомъ пустую кѣтку и всю знакомую обстановку комнаты, садился въ кресло, закрывалъ глаза и слушалъ, какъ молчитъ домъ. Это было странное что-то. Кѣтка молчала тихо и нѣжно, и чувствовались въ этомъ молчаніи печаль и слезы, и далекій, умершій смѣхъ. Молчаніе жены, смягченное стѣнами, было упорно, тяжело, какъ свинецъ, и страшно, такъ страшно, что въ самый жаркій день о. Игнатію становилось холодно. Долгимъ, холоднымъ, какъ могила, и загадочнымъ, какъ смерть, было молчаніе дочери. Словно самому себѣ было мучительно это молчаніе и страстно хотѣло перейти въ слово, но что-то сильное и тупое, какъ машина, держало его неподвижнымъ и вытягивало, какъ проволоку. И гдѣ-то, на далекомъ концѣ, проволока начинала колебаться и звенѣть тихо, робко и жалобно. О. Игнатій съ радостью и страхомъ ловилъ

этотъ зарождающійся звукъ и, опершись руками о ручки кресель, вытянувъ голову впередъ, ждалъ, когда звукъ подойдетъ къ нему. Но звукъ обрывался и умолкалъ.

— Глупости!—сердито говорилъ о. Игнатій и поднимался съ кресель, все еще прямой и высокій. Въ окно онъ видѣлъ залитую солнцемъ площадь, мощеную круглыми, ровными камнями, и напротивъ каменную стѣну длиннаго, безъ оконъ, сарая. На углу стоялъ павозчикъ, похожіи на глиняное изваяніе, и непонятно было, зачѣмъ онъ стоитъ здѣсь, когда по цѣлымъ часамъ не показывалось ни одного прохожаго.

### III.

Внѣ дома о. Игнатію приходилось говорить много: съ причтомъ и съ прихожанами, при исполненіи требъ, и иногда съ знакомыми, гдѣ онъ игралъ въ преферансъ; но когда онъ возвращался домой, онъ думалъ, что онъ весь день молчалъ. Это происходило оттого, что ни съ кѣмъ изъ людей о. Игнатій не могъ говорить о томъ главномъ и самомъ для него важномъ, о чемъ онъ размышлялъ каждую ночь: отчего умерла Вѣра?

О. Игнатій не хотѣлъ понять, что теперь этого узнать нельзя, и думалъ, что узнать еще можно. Каждую ночь—а онъ всѣ теперь стали у него безсонными—представлялъ онъ себѣ ту минуту, когда онъ и попадья, въ глухую полночь, стояли у кровати Вѣры, и онъ просилъ ее: „Скажи!“ И когда въ воспоминаніяхъ онъ доходилъ до этого слова, дальнѣйшее представлялось ему не такъ, какъ оно было. Закрытые глаза его, сохранившіе въ своемъ мракѣ живую, не тускнѣющую картину той ночи, видѣли, какъ Вѣра поднимается на своей постели, улыбается и говоритъ... Но чтѣ она говоритъ? И это невысказанное слово Вѣры, которое должно разрѣшить все, казалось такъ близко,



что если отогнуть ухо и задержать бѣненіе сердца, то вотъ-вотъ услышишь его, и въ то же время такъ безконечно, такъ безнадежно далеко. О. Игнатій вставалъ съ постели, протягивалъ впередъ сложенные руки и, потрясая ими, просилъ:

— Вѣра!..

И отвѣтомъ ему было молчаніе.

Однажды вечеромъ о. Игнатій пришелъ въ комнату Ольги Степановны, у которой онъ не былъ уже около недѣли, сѣлъ у ея изголовья и, отвернувшись отъ упорнаго, тяжелаго взгляда, сказалъ:

— Мать! Я хочу поговорить съ тобою о Вѣрѣ. Ты слышишь?

Глаза молчали, и о. Игнатій, возвысивъ голосъ, заговорилъ строго и властно, какъ онъ говорилъ съ исповѣдующимися:

— Я знаю, ты мыслишь, что я былъ причиной Вѣриной смерти. Но подумай, развѣ я любилъ ее меньше, чѣмъ ты? Странно ты разсуждаешь... Я былъ строгъ, а развѣ это мѣшало ей дѣлать, что она хочетъ? Я пренебрегъ достоинствомъ отца, я смиренно согнулъ свою шею, когда она не побоялась моего проклятія и поѣхала... туда. А ты,—ты-то не просила ее остаться и не плакала, старая, пока я не велѣлъ замолчать? Развѣ я родилъ ее такой жестокой? Не твердилъ я ей о Богѣ, о смиреніи, о любви?

О. Игнатій быстро взглянулъ въ глаза жены — и отвернулся.

— Что я могъ сдѣлать съ ней, если она не хотѣла открыть своего горя? Приказывать—я приказывалъ; просить—я просилъ. Что-же, по твоему, я долженъ былъ стать на колѣна передъ дѣвчонкой, и плакать, какъ старая баба! Въ головѣ... откуда я знаю, что у нея въ головѣ! Жестокая, безсердечная дочь!

О. Игнатій ударилъ кулакомъ по колѣну.

— Любви у нея не было—вотъ что! Что уже про

меня говорить, ужъ я, извѣстно... тиранъ... Тебя-то она любила? Тебя-то, которая плакала... да унижалась?

О. Игнатій беззвучно разсмѣялся.

— Лю-юбила! То-то, въ утѣшеніе тебѣ и смерть такую выбрала. Жестокою, позорную смерть. Умерла на пескѣ, въ грязи... какъ с-собака, которую ногами въ морду ткаютъ.

Голосъ о. Игнатія зазвучалъ тихо и хрипло:

— Стыдно мнѣ! На улицу выйти стыдно! Изъ алтара выйти стыдно! Передъ Богомъ стыдно! Жестокая, недостойная дочь! Въ гробу проклясть бы тебя...

Когда о. Игнатій взглянулъ на жену, она была безъ чувствъ, и пришла въ себя только черезъ нѣсколько часовъ. И когда пришла, глаза ея молчали, и нельзя было понять, помнить она, что говорилъ ей о. Игнатій, или нѣтъ.

Въ ту же ночь—это была іюльская лунная ночь, тихая, теплая и беззвучная—о. Игнатій на цыпочкахъ, чтобы не услышали жена и сидѣлка, поднялся по лѣстницѣ и вошелъ въ комнату Вѣры. Окно въ мезонинѣ не открывалось съ самой смерти Вѣры, и воздухъ былъ сухой и жаркій, съ легкимъ запахомъ гари отъ накалившейся за день желѣзной крыши. Чѣмъ-то нежилымъ и заброшеннымъ вѣяло отъ помѣщенія, въ которомъ такъ давно отсутствовалъ человѣкъ, и гдѣ дерево стѣнъ, мебель и другіе предметы издавали тонкій запахъ непрерывнаго тлѣнія. Лунный свѣтъ яркой полосой падалъ на окно и на полъ и, отраженный отъ бѣлыхъ тщательно вымытыхъ досокъ, сумеречнымъ полусвѣтомъ озарялъ углы, и бѣлая чистая кровать съ двумя подушками, большой и маленькой, казалась призрачной и воздушной. О. Игнатій открылъ окно—и въ комнату широкой струей влился свѣжій воздухъ, пахнуцій пылью, недалекой рѣкой и цвѣтущей липой, и еле слышное донеслось хоровое пѣніе: вѣроятно, катались въ лодкѣ и пѣли. Неслышно ступая босыми ногами,

похожій на бѣлый призракъ, о. Игнатій подошелъ къ пустой постели, подогнулъ колѣни и упалъ лицомъ внизъ на подушки, обнявъ ихъ,—туда, гдѣ должно было находиться Вѣрино лицо. Онъ долго лежалъ такъ; пѣсня стала громче и потомъ умолкла, а онъ все лежалъ, и длинные черные волосы разсыпались по плечамъ и постели.

Луна передвинулась и въ комнатѣ стало темнѣе, когда о. Игнатій поднялъ голову и зашепталъ, вкладывая въ голосъ всю силу долго сдерживаемой и долго не сознаваемой любви и вслушиваясь въ свои слова такъ, какъ будто слушалъ не онъ, а Вѣра.

— Дочь моя, Вѣра! Ты понимаешь, что это значитъ: дочь? Доченька! Сердце мое и кровь моя, и жизнь моя. Твой старыи... старенькій отецъ, уже сѣдой, уже слабый...

Плечи о. Игнатія задрожали, и вся грузная фигура заколыхалась. Подавляя дрожь, о. Игнатій шепталъ нѣжно, какъ маленькому ребенку:

— Старенькій отецъ... просить тебя. Нѣтъ, Вѣрочка, умоляетъ. Онъ плачетъ. Онъ никогда не плакалъ. Твое горе, дѣточка, твои страданія — они и мои. Больше, чѣмъ мои.

О. Игнатій покачалъ головой.

— Больше, Вѣрочка. Ну, что мнѣ, старому, смерть? А ты... Вѣдь если бы ты знала, какая ты нѣжная и слабая, и робкая! Помнишь, какъ ты поколола пальчикъ, и кровь капнула, и ты заплакала? Дѣточка моя! И ты вѣдь меня любишь, сильно любишь, я знаю. Каждое утро ты цѣлуешь мою руку. Скажи, скажи, о чемъ тоскуетъ твоя головка, и я — вотъ этими руками — я душу твою горе. Онъ еще силенъ, Вѣра, эти руки.

Волосы о. Игнатія встряхнулись.

— Скажи!

О. Игнатій впился глазами въ стѣну и протянулъ руки.

— Скажи!

Въ комнатѣ было тихо, и изъ глубокой дали пронесся продолжительный и прерывистый свистокъ паровоза.

О. Игнатій, поводя кругомъ расширившимися глазами, точно передъ ними всталъ страшный призракъ изуродованнаго трупa, медленно приподнялся съ колѣнъ и невѣрнымъ движеніемъ поднесъ къ головѣ руку съ растопыренными и напряженно выпрямленными пальцами. Отступивъ къ двери, о. Игнатій отрывисто шепнулъ:

— Скажи!

И отвѣтомъ ему было молчаніе.

#### IV.

На другой день, послѣ ранняго и одинокаго обѣда о. Игнатій пошелъ на кладбище—въ первый разъ послѣ смерти дочери. Было жарко, безлюдно и тихо, какъ будто этотъ жаркій день былъ только освѣщенной ночью, но, по привычкѣ, о. Игнатій старательно выпрямлялъ спину, сурово смотрѣлъ по сторонамъ и думалъ, что онъ все такой же, какъ прежде; онъ не замѣчалъ ни новой и страшной слабости въ ногахъ, ни того, что длинная борода его стала совсѣмъ бѣлой, словно жестокій морозъ ударилъ на нее. Дорога къ кладбищу шла по длинной, прямой улицѣ, слегка поднимавшейся вверхъ, и въ концѣ ея бѣлѣла арка кладбищенскихъ воротъ, похожая на черный, вѣчно открытый ротъ, окаймленный блестящими зубами.

Могила Вѣры находилась въ глубинѣ кладбища, гдѣ кончались усыпанныя пескомъ дорожки, и о. Игнатію долго пришлось путаться въ узенькихъ тропинкахъ, ломаной линіей проходившихъ между зеленыхъ бугорковъ, всѣми забытыхъ и всѣми покинутыхъ. Мѣстами попадались покосившіеся, позеленѣвшіе отъ старости памятники, изломанныя рѣшетки и большіе, тяжелые камни, вросшіе въ землю и съ какой-то угрюмой стар-

ческой злобой давившіе ее. Къ одному изъ такихъ камней прижималась могила Вѣры. Она была покрыта новымъ, пожелтѣвшимъ дерномъ, но кругомъ нея все зеленѣло. Рябина обнялась съ кленомъ, а широко раскинувшійся кустъ орѣшника протягивалъ надъ могилой свои гибкія вѣтви съ пушистыми, шершавыми листьями. Усѣвшись на сосѣднюю могилу и передохнувъ, о. Игнатій оглянулся кругомъ, бросилъ взглядъ на безоблачное, пустынное небо, гдѣ въ полной неподвижности висѣлъ раскаленный солнечный дискъ,—и тутъ только ощутилъ ту глубокою, ни съ чѣмъ не сравнимую тишину, какая царить на кладбищахъ, когда нѣтъ вѣтра, и не шумитъ омертвѣвшая листва. И снова о. Игнатію пришла мысль, что это не тишина, а молчаніе. Оно разливалось до самыхъ кирпичныхъ стѣнъ кладбища, тяжело переползало черезъ нихъ и затопляло городъ. И конецъ ему только тамъ—въ сѣрыхъ, упрямо и упорно молчащихъ глазахъ.

О. Игнатій передернулъ похолодѣвшими плечами и опустилъ глаза внизъ, на могилу Вѣры. Онъ долго смотрѣлъ на пожелтѣвшіе коротенькіе стебли травы, вырванной съ землею откуда-нибудь съ широкаго, обвѣваемаго вѣтромъ поля и не успѣвшей сродниться съ чуждой почвой,—и не могъ представить, что тамъ, подъ этой травой, въ двухъ аршинахъ отъ него, лежитъ Вѣра. И эта близость казалась непостижимой и вносила въ душу смущеніе и странную тревогу. Та, о которой о. Игнатій привыкъ думать, какъ о навѣки исчезнувшей въ темныхъ глубинахъ безконечнаго, была здѣсь, возлѣ... и трудно было понять, что ея все-таки нѣтъ и никогда не будетъ. И о. Игнатію чудилось, что если онъ скажетъ какое-то слово, которое онъ почти ощущалъ на своихъ устахъ, или сдѣлаетъ какое-то движеніе, Вѣра выйдетъ изъ могилы и встанетъ такая же высокая, красивая, какою была. И не только одна она встанетъ, но встанутъ и всѣ мертвецы, которые такъ страшно ощутимы въ своемъ торжественно-холодномъ молчаніи.

О. Игнатій снялъ широкополую черную шляпу, расправилъ волнистые волосы и шепотомъ сказалъ:

— Вѣра!

Ему стало неловко, что его можетъ услышать кто-нибудь посторонній, и, вставъ на могилу, о. Игнатій взглянулъ поверхъ крестовъ. Никого не было, и онъ уже громко повторилъ:

— Вѣра!

Это былъ старый голосъ о. Игнатія, сухой и требовательный, и странно было, что съ такою силою высказанное требованіе остается безъ отвѣта.

— Вѣра!

Громко и настойчиво звалъ голосъ, и, когда онъ умолкалъ, съ минуту чудилось, что гдѣ-то внизу звучалъ неясный отвѣтъ. И о. Игнатій, еще разъ оглянувшись кругомъ, отстранилъ волосы отъ уха и прилегъ имъ къ жесткому, колючему дерну.

— Вѣра, скажи!

И съ ужасомъ почувствовалъ о. Игнатій, что въ ухо его вливается что-то могильно-холодное и студитъ мозгъ, и что Вѣра говоритъ,—но говоритъ она все тѣмъ же долгимъ молчаніемъ. Все тревожнѣе и страшнѣе становится оно, и когда о. Игнатій съ усиліемъ отдираетъ отъ земли голову, блѣдную, какъ у мертвеца, ему кажется, что весь воздухъ дрожитъ и трепещетъ отъ гулкаго молчанія, словно на этомъ страшномъ морѣ поднялась дикая буря. Молчаніе душитъ его; оно ледяными волнами перекачивается черезъ его голову и шевелить волосы; оно разбивается о его грудь, стонущую подъ ударами. Дрожа всѣмъ тѣломъ, бросая по сторонамъ острые и внезапные взгляды, о. Игнатій медленно поднимается и долгимъ, мучительнымъ усиліемъ старается выпрямить спину и придать гордую осанку дрожащему тѣлу. И это удается ему. Съ намѣренной медлительностью о. Игнатій отряхиваетъ колѣни, надѣваетъ шляпу, трижды креститъ могилу и идетъ ровною,

твёрдую поступь, но не узнаёт знакомого кладбища и теряет дорогу.

— Заблудился! усмѣхается о. Игнатій и останавливается на развѣтленіи тропинокъ.

Но стоитъ онъ одну секунду и, не думая, сворачиваетъ налѣво, потому что ждать и стоять нельзя. Молчаніе гонить. Оно поднимается отъ зеленыхъ могилъ; имъ дышать угрюмые сѣрые кресты, тонкими, удушающими струями оно выходитъ изъ всѣхъ поръ земли, насыщенной трупами. Все быстро становится шаги о. Игнатія. Оглушенный, онъ кружится по однѣмъ и тѣмъ же дорожкамъ, перескакиваетъ могилы, натыкается на рѣшотки, цѣпляется руками за колючіе жостяные вѣнки, и рвется клочьями мягкая матерія. Только одна мысль о выходѣ осталась въ его головѣ. Изъ стороны въ сторону мечется онъ и, наконецъ, безщучно бѣжитъ, высокій и необыкновенный въ развѣвающейся рясѣ и съ плывущими по воздуху волосами. Сильнѣе, чѣмъ самого вставшаго изъ гроба мертвеца, испугался бы всякій, встрѣтивъ эту дикую фигуру бѣгущаго, прыгающаго и размахивающаго руками человѣка, увидѣвъ его перекосившееся безумное лицо, услышавъ глухой хрипъ, выходившій изъ его открытаго рта.

Со всего разбѣгу о. Игнатій выскочилъ на площадку, въ концѣ которой бѣлѣла невысокая кладбищенская церковь. У притвора на низенькой лавкѣ дремалъ старичокъ, по виду, дальній богомолецъ, и воалъ него, наскakивая другъ на друга, спорили и бранились двѣ старухи-нищенки.

Когда о. Игнатій подходилъ къ дому, уже темнѣло, и въ комнатѣ Ольги Степановны горѣлъ огонь. Не раздѣваясь и не снимая шляпы, пыльный и оборванный, о. Игнатій быстро прошелъ къ женѣ и упалъ на колѣни.

— Мать... Оля... пожалѣй же меня!—рыдалъ онъ.—Я съ ума схожу.

И онъ бился головой о край стола и рыдалъ бурно

мучительно, какъ человекъ, который никогда не плачетъ. И онъ поднялъ голову, увѣренный, что сейчасъ свершится чудо, и жена заговорить и пожалѣеть его.

— Родная!

Всѣмъ большимъ тѣломъ потянулся онъ къ женѣ — и встрѣтилъ взглядъ сѣрыхъ глазъ. Въ нихъ не было ни сожалѣнія, ни гнѣва. Быть можетъ, жена прощала и жалѣла его, но въ глазахъ не было ни жалости, ни прощенія. Они были нѣмы и молчали.

.....  
И молчалъ весь темный опустѣвшій домъ.

1—5 мая 1900 г.





## СМѢХЪ.

Въ половинѣ седьмого я былъ увѣренъ, что она придетъ, и мнѣ было отчаянно весело. Пальто мое было застегнуто на одинъ верхній крючекъ и раздувалось отъ холоднаго вѣтра, но холода я не чувствовалъ; голова моя была гордо откинута назадъ, и студенческая фуражка сидѣла совсѣмъ на затылкѣ; глаза мои, по отношенію къ встрѣчавшимся мужчинамъ, выражали покровительство и удалъ, по отношенію къ женщинамъ—вызовъ и ласку: хотя уже четыре дня я любилъ одну только ее, но я былъ такъ молодъ, и сердце мое было такъ богато, что остаться совершенно равнодушнымъ къ другимъ женщинамъ я не могъ. И шаги мои были быстрые, смѣлые, порхающіе.

Въ безъ-четверти семь пальто мое было застегнуто на двѣ пуговицы, и я смотрѣлъ только на женщинъ, но безъ вызова и ласки, а скорѣе съ отвращеніемъ. Мнѣ нужна была только одна женщина—остальныя могли провалиться къ чорту: онѣ только мѣшали и своимъ мнимымъ сходствомъ съ ней придавали моимъ движеніямъ неувѣренность и рѣзкое непостоянство.

Въ безъ-пяти минутъ семь мнѣ стало жарко.

Въ безъ-двухъ минутъ семь мнѣ сдѣлалось холодно. Ровно въ семь я убѣдился, что она не придетъ.

Въ половинѣ девятаго я представлялъ собой самое

жалкое существо въ мірѣ. Пальто было застегнуто на всѣ пуговицы, воротникъ поднятъ, и фуражка нахлобучена на посинѣвшій носъ; волосы на вискахъ, усы и рѣсницы бѣлѣли отъ инея, и зубы слегка постукивали другъ о друга. По шаркающей походкѣ и согнутой спинѣ меня можно было принять за довольно еще бодрого старика, возвращающагося изъ гостей въ богатыльню.

И все это сдѣлала—она! О, черт... нѣтъ, не надо: можетъ быть, и не пустили, или она больна, или умерла. Умерла!—а я ругаюсь.

## II.

— Тамъ сегодня и Евгенія Николаевна,—сказалъ мнѣ товарищъ, студентъ, безъ всякой задней мысли: онъ не могъ знать, что я ждалъ Евгенію Николаевну на морозѣ отъ семи до половины девятого.

— Вотъ какъ!—глубокомысленно отвѣтилъ я, а въ душѣ выскочило: о, черт...

Тамъ—это на вечерѣ у Полозовыхъ. Полозовы—это люди, у которыхъ я никогда не бывалъ. Но сегодня я тамъ буду.

— Синьоры!—весело крикнулъ я.—Сегодня Рождество; сегодня всѣ веселятся—будемъ веселиться и мы.

— Но какъ?—грустно отозвался одинъ.

— Но гдѣ?—поддержалъ другой.

— Нарядимся и будемъ ѣздить по всѣмъ вечерамъ,—рѣшилъ я.

И имѣ, этимъ безчувственнымъ людямъ, дѣйствительно стало весело. Они кричали, прыгали и пѣли. Они благодарили меня и считали количество наличныхъ денегъ. А черезъ полчаса мы собирали по городу всѣхъ одинокихъ, всѣхъ скучающихъ студентовъ, и когда насъ набралось десять весело прыгающихъ чертей, мы по-

вхали въ парикмахерскую, — она же костюмерная, — и наполнили ее холодомъ, молодостью и смѣхомъ.

Мнѣ нужно было что-нибудь мрачное, красивое, съ отбѣнкомъ изысканной грусти, и я попросилъ:

— Дайте мнѣ костюмъ испанскаго дворянина.

Вѣроятно, очень это былъ длинный дворянинъ, потому что въ его платьѣ я скрылся весь безъ остатка и почувствовалъ себя уже совершенно одинокимъ, какъ въ обширномъ и безлюдномъ залѣ. Выйдя изъ костюма, я попросилъ что-нибудь другое.

— Не хотите ли клоуна? Пестрый съ бубенчиками.

— Клоуна!—презрительно вскрикнулъ я.

— Ну бандита. Этакая шляпа и кинжалъ.

Кинжалъ!—это подходитъ къ моимъ намѣреніямъ. Къ сожалѣнію, бандитъ, съ котораго дали мнѣ платье, едва ли достигъ совершеннѣйшаго. Вѣрнѣе всего, это былъ испорченный мальчишка лѣтъ восьми отъ роду. Его шляпенка не покрывала моего затылка, а изъ бархатныхъ брюкъ меня должны были вытаскать, какъ изъ западни. Пажъ не годился—былъ весь въ пятнахъ, какъ тигръ. Монахъ былъ въ дырахъ.

— Что же ты? Поздно!—торопили меня уже одѣвавшіеся товарищи. Оставался единственный костюмъ—знатнаго китайца.

— Давайте китайца!—махнулъ я рукой, и мнѣ дали китайца. Это было чортъ знаетъ, что такое! Я не говорю уже о самомъ костюмѣ. Я обхожу молчаніемъ какіе-то идиотскіе цвѣтные сапоги, которые были мнѣ малы, вошли на половину и въ остальной своей, наиболѣе существенной части торчали въ видѣ двухъ непонятныхъ придатковъ по обѣимъ сторонамъ ноги. Умолчу я и о розовомъ лоскутѣ, который покрывалъ мою голову въ видѣ парика и привязывался нитками къ ушамъ, отчего послѣдніе приподнялись и стали, какъ у летучей мыши.

— Но маска!

Это была, если можно такъ выразиться, отвлеченная фizioномія. У нея были носъ, глаза и ротъ, и все это правильное, стоящее на своемъ мѣстѣ, но въ ней не было ничего человѣческаго. Человѣкъ даже въ гробу не можетъ быть такъ спокоенъ. Она не выражала ни грусти, ни веселья, ни изумленія—она рѣшительно ничего не выражала. Она смотрѣла на васъ прямо и спокойно—и неудержимый хохотъ овладѣвалъ вамп. Товарищи мои катались отъ смѣху по диванамъ, бевильно падали на стулья и махали руками. Это будетъ самая оригинальная маска,—говорили они. Я чуть не плакалъ, но когда я взглянулъ въ зеркало, смѣхъ овладѣлъ и мной. Да, это будетъ самая оригинальная маска.

— Ни въ какомъ случаѣ не снимать масокъ, переговаривались товарищи дорогой.—Дадимъ слово.

— Слово! Слово!..

### III.

Положительно, это была самая оригинальная маска. За мной ходили цѣлыми толпами, вертели меня, толкали, щипали — и когда, измученный, я съ гнѣвомъ обращивался къ преслѣдователямъ — неудержимый хохотъ овладѣвалъ ими. Весь путь меня окружала и давила грохочущая туча хохота, и двигалась вмѣстѣ со мной, а я не могъ вырваться изъ этого кольца безумнаго веселья. Минутами оно захватывало и меня: я кричалъ, пѣлъ, плясалъ, и весь міръ кружился въ моихъ глазахъ, какъ пьяный. И какъ онъ былъ далекъ отъ меня, этотъ міръ! И какъ одиноко я былъ подъ этой маской!

Наконецъ, меня оставили въ покоѣ. Съ гнѣвомъ и страхомъ, со злобой и нѣжностью я взглянулъ на нее и сказалъ:

— Это я.

Густыя рѣсницы медленно и съ удивленіемъ приподнялись, цѣлый снопъ черныхъ лучей брызнулъ на меня—и смѣхъ, звонкій, веселый, яркій, какъ весеннее солнце, смѣхъ отвѣтилъ мнѣ.

— Да, это я. Это я!—твердилъ я, и улыбался.— Почему вы не пришли сегодня?

Но она смѣялась. Весело смѣялась.

— Я такъ измучился. Такъ изболѣлось сердце,—съ мольбой просилъ я отвѣта.

Но она смѣялась. Черный блескъ ея глазъ потухъ, и все ярче разгоралась улыбка. Это было солнце, но солнце жгучее, безпощадное, жесткое.

— Что съ вами?

— Это вы?—проговорила она, сдерживаясь. — Какой вы... смѣшной! Плечи мои опустились, и голова поникла, и такъ много отчаянія было въ моей позѣ. И пока она, съ тухнувшей зарей улыбки на лицѣ, смотрѣла на мчащіяся мимо насъ молодыя веселыя пары, я говорилъ:

— Стыдно смѣяться. Развѣ за моей смѣшной маской вы не чувствуете живого страдающаго лица—вѣдь только для того, чтобы увидѣть васъ, я надѣлъ ее. Вы дали мнѣ надежду на вашу любовь, и такъ быстро, такъ жестоко отнимаете ее. Зачѣмъ вы не пришли?

Быстро, съ возраженіемъ на милыхъ улыбающихся устахъ она обернулась ко мнѣ—и жестокій смѣхъ все-сильно овладѣлъ ею. Задыхаясь, почти плача, закрывая лицо кружевнымъ душистымъ платкомъ, она съ трудомъ вымолвила:

— Взгляните... на себя: Сзади въ зеркало... О, какой вы!..

Сдвигая брови, стискивая отъ боли зубы, съ похолодѣвшимъ лицомъ, отъ котораго отлила кровь, я взглянулъ въ зеркало,—на меня смотрѣла идиотски-спокойная, непоколебимо равнодушная, нечеловѣчески неподвижная фізіономія. И я... я разсмѣялся. И съ неостывшимъ еще смѣхомъ, но уже съ дрожью подымающагося гнѣва, съ безуміемъ отчаянія, я заговорилъ, почти закричалъ:

— Вы не должны смѣяться!

И когда она затихла, я продолжалъ попотомъ говорить о своей любви. И никогда я не говорилъ такъ хорошо, потому, что никогда не любилъ такъ сильно. О мукахъ ожиданія, о ядовитыхъ слезахъ безумной ревности и тоски, о своей душѣ, гдѣ все было любовь, я говорилъ. И я видѣлъ, какъ, опускаясь, бросили рѣсницы густую тѣнь на поблѣднѣвшія щеки. Я видѣлъ, какъ сквозь ихъ матовую бѣлизну бросалъ красный отсвѣтъ запылавшій огонь, и какъ все гибкое тѣло безвольно клонилось ко мнѣ. Она была одѣта богиней ночи и, вся загадочная, словно мглой одѣтая чернымъ кружевомъ, сверкающая брилліантами звѣздъ, была красива, какъ забытый сонъ далекаго дѣтства. Я говорилъ—и слезы кипали у меня на глазахъ, и радостью билось сердце. И я увидѣлъ, увидѣлъ, наконецъ, какъ милая, жалкая улыбка раскрыла ея уста, и дрогнувъ, поднялись рѣсницы. Медленно, боязливо, съ безконечнымъ довѣріемъ повернула она ко мнѣ головку, и...

Такого смѣха я еще не слыхалъ!

— Нѣтъ, нѣтъ, не могу...—почти стонала она и, закинувъ голову, снова раздражалась звучнымъ каскадомъ смѣха.

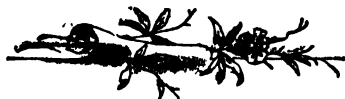
О, если бы мнѣ хоть на минуту дали человѣческое лицо! Я кусалъ губы, слезы текли по моему разгоряченному лицу, а она, эта идиотская фізіономія, въ которой все было правильно, носъ, глаза и губы, смотрѣла съ непоколебимо ужаснымъ въ своей нелѣпости равнодушіемъ. И когда, ковыляя на своихъ цвѣтныхъ ногахъ, я уходилъ, до меня долго еще доносился звонкій смѣхъ: какъ будто съ громадной высоты падала серебристая струйка воды и съ веселымъ пѣніемъ разбивалась о твердую скалу.

## IV.

Разсыпавшись по всей сонной улицѣ, будя ночную тишину бодрими, возбужденными голосами, мы шли домой, и товарищъ мнѣ говорилъ:

— Ты имѣлъ колоссальный успѣхъ. Я никогда не видалъ, чтобы такъ смѣлялись... Настой, что ты дѣлаешь? Зачѣмъ ты рвешь маску? Братцы, онъ съ ума сошелъ! Смотрите, онъ раздираетъ свой костюмъ! Онъ плачетъ!!

Январь 1901 г.



# ВАЛЯ

Валя сидѣлъ и читалъ. Книга была очень большая, только на половину меньше самого Вали, съ очень черными и крупными строками и картинками во всю страницу. Чтобы видѣть верхнюю строку, Валя долженъ былъ протягивать свою голову чуть-ли не черезъ весь столъ, подниматься на стулъ на колѣни и пухлымъ коротенькимъ пальцемъ придерживать буквы, которыя очень легко терялись среди другихъ похожихъ буквъ, и найти ихъ потомъ стоило большого труда. Благодаря этимъ побочнымъ обстоятельствамъ, не предусмотрѣннымъ издателями, чтеніе подвигалось съ солидною медленностью, несмотря на захватывающій интересъ книги. Въ ней рассказывалось, какъ одинъ очень сильный мальчикъ, котораго звали Бовою, схватывалъ другихъ мальчиковъ за ноги и за руки, и онѣ отъ этого отрывались. Это было и страшно, и смѣшно, и потому въ пыхтѣннѣ Вали, которымъ сопровождалось его путешествіе по книгѣ, слышалась нотка пріятнаго страха и ожиданія, что дальше будетъ еще интереснѣе. Но Валѣ неожиданно помѣшали читать: вошла мама съ какою-то другою женщиной.

— Вотъ онъ!—сказала мама, глаза у которой краснѣли отъ слезъ, видимо, недавнихъ, такъ какъ въ рукахъ она мjala бѣлый кружевной платокъ.



— Валичка, милый!—вскрикнула женщина и, обнявъ его голову, стала цѣловать лицо и глаза, крѣпко прижимая къ нимъ свои худыя, твердыя губы. Она не такъ ласкала, какъ мама: у той поцѣлуи были мягкіе, тающіе, а эта точно присасывалась. Валя, хмурясь, молча принималъ колючія ласки. Онъ былъ недозоленъ, что прервали его интересное чтеніе, и ему совсѣмъ не нравилась эта незнакомая женщина, высокая, съ костлявыми пальцами, на которыхъ не было ни одного кольца. И пахло отъ нея очень дурно: какою-то сыростью и гнилью, тогда какъ отъ мамы всегда шелъ свѣжій запахъ духовъ. Наконецъ, женщина оставила Валью въ покоѣ и, пока онъ вытиралъ губы, осмотрѣла его тѣмъ быстрымъ взглядомъ, который словно фотографируетъ человѣка. Его коротенькій носъ, но уже съ признаками будущей горбинки, густыя, не дѣтскія брови надъ черными глазами и общій видъ строгой серьезности что-то напомнили ей, и она заплакала. И плакала она не такъ, какъ мама: лицо оставалось неподвижнымъ, и только слезы быстро быстро капали одна за другою—не успѣвала скатиться одна, какъ ее уже догоняла другая. Такъ же внезапно переставъ плакать, какъ и начала, она спросила:

— Валичка, ты не знаешь меня?

— Нѣтъ.

— Я приходила къ тебѣ. Два раза приходила. Помнишь?

Можетъ быть, она и приходила, можетъ быть, и два раза приходила,—но откуда Валя будетъ знать это? Да и не все ли равно, приходила эта незнакомая женщина, или нѣтъ? Она только мѣшаетъ читать съ своими вопросами.

— Я твоя мама, Валя!—сказала женщина.

Валя съ удивленіемъ оглянулся на свою маму, но ее въ комнатѣ уже не было.

— Развѣ двѣ мамы бываетъ?—спросилъ онъ.—Какія ты глупости говоришь!

Женщина засмѣялась, но этотъ смѣхъ не понравился Валѣ: видно было, что женщина совсѣмъ не хочетъ смѣяться и дѣлаетъ это такъ, нарочно, чтобы обмануть. Нѣкоторое время оба молчали.

— Ты уже умѣешь читать? Вотъ умница! Валя молчалъ.

— А какую ты книгу читаешь?

— Про Бову-королевича,—сообщилъ Валя съ серьезнымъ достоинствомъ и съ очевиднымъ чувствомъ уваженія къ большой книгѣ.

— Ахъ, это, должно быть, очень интересно! Расскажи мнѣ, пожалуйста!—заискивающе улыбнулась женщина.

И снова что-то неестественное, фальшивое прозвучало въ этомъ голосѣ, который старался быть мягкимъ и круглымъ, какъ голосъ мамы, но оставался колючимъ и острымъ. Та же фальшь сквозила и въ движеніяхъ женщины; она передвинулась на стулѣ и даже протянула впередъ шею, точно приготовилась къ долгому и внимательному слушанію: а когда Валя неохотно приступилъ къ разсказу, она тотчасъ же ушла въ себя и потемнѣла, какъ потайной фонарь, въ которомъ внезапно задвинули крышку. Валя чувствовалъ обиду за себя и за Бову, но желая быть вѣжливымъ, наскоро проговорилъ конецъ сказки и добавилъ:

— Все.

— Ну, прощай, мой голубчикъ, мой дорогой!—сказала странная женщина и снова стала прижимать губы къ Валиному лицу.—Скоро я опять приѣду. Ты будешь радъ?

— Да, приходи, пожалуйста,—вѣжливо попросилъ Валя, и, чтобы она скорѣе ушла, прибавилъ:—я буду очень радъ.

Посѣтительница ушла, но только-что Валя успѣлъ разыскать въ книгѣ слово, на которомъ онъ остановился какъ появилась мама, посмотрѣла на него и тоже стала плакать. О чемъ плакала женщина, было еще понятно:

она, вѣроятно, жалѣла, что она такая непріятная и скучная,—но чего ради плакать мамѣ?

— Послушай,—задумчиво сказалъ Валя:—какъ надоѣла мнѣ эта женщина! Она говоритъ, что она моя мама. Развѣ бываетъ двѣ мамы у одного мальчика?

— Нѣтъ, дѣточка, не бываетъ. Но она говоритъ правду: она твоя мама.

— А кто же ты?

— Я твоя тетя.

Это явилось неожиданнымъ открытіемъ, но Валя отнесся къ нему съ непоколебимымъ равнодушіемъ: тетя, такъ тетя—не все ли равно? Для него слово не имѣло такого значенія, какъ для взрослыхъ. Но бывшая мама не понимала этого и начала объяснять, почему такъ вышло, что она была мамой, а стала тетей. Давно-давно, когда Валя былъ совсѣмъ маленькій...

— Какой маленькій? Такой?—Валя поднялъ руку на четверть аршина отъ стола.

— Нѣтъ, меньше.

— Какъ киска?—радостно изумился Валя. Ротъ его полуоткрылся, брови поднялись кверху. Онъ намекалъ на бѣленькаго котенка, котораго ему недавно подарили, и который былъ такъ малъ, что всѣми четырьмя лапами помѣщался на блюдцѣ.

— Да.

Валя счастливо разсмѣялся, но тотчасъ же принялъ свой обычный суровый видъ и со снисходительностью взрослога человѣка, вспоминающаго ошибки молодости, замѣтилъ:

— Какой я былъ смѣшной!

Такъ вотъ, когда онъ былъ маленькій и смѣшной, какъ киска, его принесла эта женщина и отдала, какъ киску, навсегда. А теперь, когда онъ сталъ такой большой и умный, она хочетъ взять его къ себѣ.

— Ты хочешь къ ней?—спросила бывшая мама и

покраснѣла отъ радости, когда Валя рѣшительно и строго произнесъ:

— Нѣтъ. Она мнѣ не нравится!—и снова принялся за книгу.

Валя считалъ инцидентъ исчерпаннымъ, но ошибся. Эта странная женщина, съ лицомъ такимъ безжизненнымъ, словно изъ него выпили всю кровь, неизвѣстно откуда появившаяся и такъ же безслѣдно пропавшая, всколыхнула тихій домъ и наполнила его глухой тревогою. Тетя-мама часто плакала и все спрашивала Валу, хочетъ ли онъ уйти отъ нея; дядя-папа ворчалъ, гладилъ свою лысину, отчего бѣлые волосы на ней поднимались торчкомъ, и, когда мамы не было въ комнатѣ, такъ же разспрашивалъ Валу, не хочетъ ли онъ къ той женщинѣ. Однажды вечеромъ, когда Валя уже лежалъ въ кроваткѣ, но еще не спалъ, дядя и тетя говорили о немъ и о женщинѣ. Дядя говорилъ сердитымъ басомъ, отъ котораго незамѣтно дрожали хрустальные подвѣски въ люстрѣ и сверкали то синими, то красными огоньками.

— Ты, Настасья Филипповна, говоришь глупости. Мы не имѣемъ права отдавать ребенка, для него самого не имѣемъ права. Неизвѣстно еще, на какія средства живетъ эта особа съ тѣхъ поръ, какъ ее бросилъ этотъ... ну, да, чортъ его возьми, ты понимаешь, о комъ я говорю? Даю голову на отсѣченіе, что ребенокъ погибнетъ у нея.

— Она любитъ его, Гриша.

— А мы его не любимъ? Странно ты рассуждаешь, Настасья Филипповна,—похоже, что сама ты хочешь отдѣлаться отъ ребенка...

— Какъ тебѣ не грѣшно!

— Ну, ну, уже обидѣлась. Ты обсуди этотъ вопросъ хладнокровно, не горячася. Какая-нибудь кукушка, вертихвостка, наплодитъ ребятъ и съ легкимъ сердцемъ подбрасываетъ къ вамъ. А потомъ пожалуйста: давайте

мнѣ моего ребенка, такъ какъ меня любовникъ бросилъ, и я скучаю. На концерты да на театры у меня денегъ нѣту, такъ мнѣ игрушку давайте! Нѣтъ-съ, сударыня, мы еще поспоримъ!

— Ты несправедливъ къ ней, Гриша. Вѣдь ты знаешь, какая она больная, одинокая...

— Ты, Настасья Филипповна, и святого изъ терпѣнія выведешь, ей-Богу! Ребенка-то ты забываешь? Тебѣ все-равно, сдѣлаютъ ли изъ него честнаго человѣка, или прохвоста? А я голову свою даю на отсѣченіе, что изъ него сдѣлаютъ прохвоста, ракалю, вора и... прохвоста!

— Гриша!

— Христомъ Богомъ прошу: не раздражай ты меня! И откуда у тебя эта дьявольская способность перечить? „Она такая одино-о-кая“,—а мы не одиноки? Безсердечная ты женщина, Настасья Филипповна, и чортъ дернулъ меня на тебѣ жениться! Тебѣ палача въ мужья надо!

Безсердечная женщина заплакала, и мужъ попросилъ у нея прощенія, объяснивъ, что только набитый дуракъ можетъ обращать вниманіе на слова такого не-исправимаго осла, какъ онъ. Понемногу она успокоилась и спросила:

— А что говорить Талонскій?

Григорій Аристарховичъ снова вспылить.

— И откуда ты взяла, что онъ умный человѣкъ? Говорить, все будетъ зависѣть отъ того, какъ судъ посмотритъ... Экая новость, подумаешь, безъ него и не знаемъ, что все зависить отъ того, какъ судъ посмотритъ. Конечно, ему что,—потявкалъ, потявкалъ, да и къ сторонкѣ. Нѣтъ, если бы на то моя воля, я бы всѣхъ этихъ пустобреховъ...

Тутъ Настасья Филипповна закрыла дверь изъ столовой, и конца разговора Валя не слышала. Но долго еще онъ лежалъ съ открытыми глазами и все старался

понять, что́ это за женщина, которая хочетъ взять его и погубить.

На слѣдующій день онъ съ утра ожидалъ, когда тетя спросить его, не хочетъ ли онъ къ мамѣ; но тетя не спросила. Не спросилъ и дядя. Въмѣсто того, оба они смотрѣли на Валю такъ, точно онъ очень сильно боленъ и скоро долженъ умереть, ласкали его и привозили большія книги съ раскрашенными картинками. Женщина болѣе не приходила; но Валѣ стало казаться, что она караулитъ его около дверей, и какъ только онъ станетъ переходить порогъ, она схватитъ его и унесетъ въ какую-то черную, страшную даль, гдѣ извиваются и дышатъ огнемъ злыя чудовища. По вечерамъ, когда Григорій Аристарховичъ занимался въ кабинетѣ, а Настасья Филипповна что-нибудь вязала или раскладывала пасьянсъ, Валя читалъ свои книги, въ которыхъ строки стали чаще и меньше. Въ комнатѣ было тихо-тихо, только шелестѣли переворачиваемые листы, да изрѣдка доносился изъ кабинета басистый кашель дяди и сухое шелканье на счетахъ. Лампа съ спннмъ колпакомъ бросала яркій свѣтъ на пеструю бархатную скатерть стола, но углы высокой комнаты были полны тихаго, таинственнаго мрака. Тамъ стояли большіе цвѣты съ причудливыми листьями и корнями, вылѣзающими наружу и похожими на дерущихся змѣй, и чудилось, что между ними шевелится что-то большое темное. Валя читалъ. Передъ его расширенными глазами проходили страшные, красивые и печальные образы, вызывавшіе жалость и любовь, но чаще всего страхъ. Валя жалѣлъ бѣдную русалочку, которая такъ любила красиваго принца, что пожертвовала для него и сестрами, и глубокимъ, спокойнымъ океаномъ; а принцъ не зналъ про эту любовь, потому что русалочка была нѣмая, и женился на веселой принцессѣ; и былъ праздникъ, на кораблѣ играла музыка, и окна его были освѣщены, когда русалочка бросилась въ темныя волны,

чтобы умереть. Бѣдная, милая русалочка, такая тихая, печальная и кроткая! Но чаще являлись передъ Валеи злые, ужасные люди-чудовища. Въ темную ночь они летѣли куда-то на своихъ колючихъ крыльяхъ, и воздухъ свистѣлъ надъ ихъ головой, и глаза ихъ горѣли, какъ красные угли. А тамъ ихъ окружали другія, такія же чудовища, и тутъ творилось что-то таинственное, страшное. Острый, какъ ножъ, смѣхъ; продолжительные, жалобные вопли; кривые полеты, какъ у летучей мыши странная, дикая пляска при багровомъ свѣтѣ факеловъ, кутающихъ свои кривые огненные языки въ красныхъ облакахъ дыма; человѣческая кровь, и мертвыя бѣлыя головы съ черными бородами... Все это были проявленія одной загадочной и безумно-злой силы, желающей погубить человѣка, гнѣвные и таинственные призраки. Они наполняли воздухъ, прятались между цвѣтами, шептали о чемъ-то и указывали костлявыми пальцами на Валу; они выглядывали на него изъ дверей темной комнаты, хихикали и ждали, когда онъ ляжетъ спать, чтобы безмолвно рѣзать надъ его головою; они засматривали изъ сада въ черныя окна и жалобно плакали вмѣстѣ съ вѣтромъ.

И все это злое, страшное принимало образъ той женщины, которая приходила за Валею. Много людей являлось въ домъ Григорія Аристарховича и уходило, и Валя не помнилъ ихъ лицъ, но это лицо жило въ его памяти. Оно было такое длинное, худое, желтое, какъ у мертвой головы, и улыбалось хитрою, притворною улыбкою, отъ которой прорѣзывались двѣ глубокія морщины по сторонамъ рта. Когда эта женщина возьметъ Валу, онъ умретъ.

— Слушай,—сказала разъ Валя своей тетѣ, отрываясь отъ книги.—Слушай,—повторилъ онъ съ своей обычной серьезной основательностью и взглядомъ, смотрѣвшимъ прямо въ глаза тому, съ кѣмъ онъ говорилъ:—я тебя буду называть мамой, а не тетей. Ты говоришь

глупости, что та женщина — мама. Ты мама, а она нѣтъ.

— Почему?—вспыхнула Настасья Филипповна, какъ дѣвочка, которую похвалили. Но вмѣстѣ съ радостью въ ея голосѣ слышался страхъ за Валю. Онъ сталъ такой странный, боязливый; боялся спать одинъ, какъ прежде; по ночамъ бредилъ и плакалъ.

— Такъ. Я не могу этого рассказать. Ты лучше спроси у папы. Онъ тоже папа, а не дядя,—рѣшительно отвѣтилъ мальчикъ.

— Нѣтъ, Валичка, это правда: она твоя мама.

Валя подумалъ и отвѣтилъ тономъ Григорія Аристарховича.

— Удивляюсь, откуда у тебя эта способность перечить!

Настасья Филипповна разсмѣялась, но, ложась спать, долго говорила съ мужемъ, который бунчалъ, какъ турецкій барабанъ, ругалъ пустобреховъ и кукушекъ, и потомъ вмѣстѣ съ женою ходилъ смотрѣть, какъ спитъ Валя. Они долго и молча всматривались въ лицо спящаго мальчика. Пламя свѣчи колыхалось въ трясущейся рукѣ Григорія Аристарховича и придавало фантастическую, мертвую игру лицу ребенка, такому же бѣлому, такъ тѣ подушки, на которыхъ оно покоилось. Казалось, что изъ темныхъ, большихъ впадинъ подъ бровями на нихъ глядятъ черные глаза, прямые и строгіе, требуютъ отвѣта и грозятъ бѣдою и невѣдомымъ горемъ, а губы кривятся въ странную, ироническую усмѣшку. Точно на эту дѣтскую голову легло смутное отраженіе тѣхъ злыхъ и таинственныхъ призраковъ-чудищъ, которые безмолвно рѣяли надъ нею.

— Валя!—испуганно шепнула Настасья Филипповна.

Мальчикъ глубоко вздохнулъ, но не пошевелился, словно окованный сномъ смерти.

— Валя! Валя!—къ голосу Настасьи Филипповны присоединился густой и дрожащій голосъ мужа.



Валя открылъ глаза, отгѣненные густыми рѣсницами, моргнулъ отъ свѣта и вскочилъ на колѣна, блѣдный и испуганный. Его обнаженные худыя ручки жемчужнымъ ожерельемъ легли вокругъ красной и полной шеи Настасьи Филипповны; пряча голову на ея груди, крѣпко жмурия глаза, точно боясь, что они откроются сами, помимо его воли, онъ шепталъ:

— Боюсь, мама, боюсь! Не уходи!

Это была плохая ночь. Когда Валя заснулъ, съ Григоріемъ Аристарховичемъ сдѣлался припадокъ астмы. Онъ задыхался, и толстая, бѣлая грудь судорожно поднималась и опускалась подъ ледяными компрессами. Только къ утру онъ успокоился, и измученная Настасья Филипповна заснула съ мыслью, что мужъ ея не переживетъ потери ребенка.

Послѣ семейнаго совѣта, на которомъ рѣшено было, что Валѣ слѣдуетъ меньше читать и чаще видѣться съ другими дѣтьми, къ нему начали привозить мальчиковъ и дѣвочекъ. Но Валя сразу не полюбилъ этихъ глупыхъ дѣтей, шумныхъ, крикливыхъ, неприличныхъ. Они ломали цвѣты, рвали книги, прыгали по стульямъ и дрались, точно выпущенныя изъ клѣтки маленькія обезьянки; а онъ, серьезный и задумчивый, смотрѣлъ на нихъ съ непріятнымъ изумленіемъ, шелъ къ Настасьѣ Филипповнѣ и говорилъ:

— Какъ они мнѣ надоѣли! Я лучше посижу около тебя.

А по вечерамъ онъ снова читалъ, и когда Григорій Аристарховичъ, бурча объ этой чертовщинѣ, отъ которой не даютъ опомниться ребятамъ, пытался ласково взять у него книгу, Валя молча, но рѣшительно прижималъ ее къ себѣ. Импровизированный педагогъ смущенно отступалъ и сердито упрекалъ жену:

— Это называется воспитаніе! Нѣтъ, Настасья Филипповна, я вижу, тебѣ въ пору съ котятками возиться, а не ребятъ воспитывать. До чего распустила, не можешь

даже книги отъ мальчика взять. Нечего говорить, хороша наставница!

Однажды утромъ, когда Валя сидѣлъ съ Настасьей Филипповной за завтракомъ, въ столовую ворвался Григорій Аристарховичъ. Шляпа его съѣхала на затылокъ, лицо было потно; еще изъ дверей онъ радостно закричалъ:

— Отказалъ! Судъ отказалъ!

Бриллианты въ ушахъ Настасьи Филипповны засверкали, и ножикъ звякнулъ о тарелку.

— Ты правду говоришь? — спросила она, задыхаясь.

Григорій Аристарховичъ сдѣлалъ серьезное лицо, чтобы видно было, что онъ говоритъ правду, но сейчасъ же забылъ о своемъ намѣреніи, и лицо его покрылось цѣлою сѣтью веселыхъ морщинокъ. Потомъ снова спохватился, что ему не достаетъ солидности, съ которою сообщаютъ такія крупныя новости, нахмурился, подвинулъ къ столу стулъ, положилъ на него шляпу и, видя, что мѣсто къмъ-то уже занято, ввѣлъ другой стулъ. Усѣвшись, онъ строго посмотрѣлъ на Настасью Филипповну, потомъ на Валю, подмигнувъ Валѣ на жену, и только послѣ этого торжественнаго введенія заявилъ:

— Я всегда говорилъ, что Талонскій умница, котораго на козѣ не объѣдешь. Нѣтъ, Настасья Филипповна, не объѣдешь, лучше и не пробуй.

— Слѣдовательно, правда?

— Вѣчно ты съ сомнѣніями. Сказано: въ искѣ Акимовой отказать. Ловко, братъ,—обратился онъ къ Валѣ и добавилъ строго оффиціальнымъ тономъ, ударяя на букву о:—И возложить на нее судебныя и за веденіе дѣла издержки.

— Эта женщина не возьметъ меня?

— Дудки, братъ! Ахъ, забылъ: я тебѣ книгъ привезъ!

Григорій Аристарховичъ бросился въ переднюю, но его остановилъ крикъ Настасьи Филипповны: Валя въ обморокъ откинулъ поблѣднѣвшую голову на спинку стула.

Наступило счастливое время. Слово выздоровѣлъ

тяжелый больной, находившійся гдѣ-то въ этомъ домѣ, и всѣмъ стало дышаться легко и свободно. Валя покончилъ свои сношенія съ чертовщиной, и когда къ нему наѣзжали маленькія обезьянки, онъ былъ среди нихъ самый изобрѣтательный. Но и въ самыя фантастическія игры онъ вносилъ свою обычную серьезность и основательность, и когда шла игра въ индѣйцы, онъ считалъ необходимымъ раздѣться почти до-нага и съ ногъ до головы измазаться краскою. Въ виду дѣлового характера, приданнаго игрѣ, Григорій Аристарховичъ счелъ для себя возможнымъ принять въ ней посильное участіе. Въ качествѣ медвѣдя, онъ проявилъ лишь посредственныя способности, но зато пользовался большимъ и вполне заслуженнымъ успѣхомъ въ роли индѣйскаго слона. И когда Валя, молчаливый и строгій, какъ истый сынъ богини Кали, сидѣлъ у отца на плечахъ и постукивалъ молоточкомъ по его розовой лысинѣ, онъ дѣйствительно напоминалъ собою маленькаго восточнаго князька, деспотически царящаго надъ людьми и животными.

Талонскій пробовалъ намекать Григорію Аристарховичу о судебной палатѣ, которая можетъ не согласиться съ рѣшеніемъ суда, но тотъ не могъ понять, какъ трое судей могутъ не согласиться съ тѣмъ, что рѣшили трое такихъ же судей, когда законы одни и тамъ, и здѣсь. Когда же адвокатъ настаивалъ, Григорій Аристарховичъ начиналъ сердиться и въ качествѣ неопровержимаго довода выдвигалъ самого же Талонскаго.

— Вѣдь вы же будете и въ палатѣ? Такъ о чемъ толковать,—не понимаю. Настасья Филипповна, хоть бы ты усовѣстила его.

Талонскій улыбался, а Настасья Филипповна мягко выговаривала ему за его напрасныя сомнѣнія. Говорили иногда и о той женщинѣ, на которую возложили судебныя издержки, и всякій разъ прилагали къ ней эпитетъ „бѣдная“. Съ тѣхъ поръ, какъ эта женщина лишилась власти взять Валу къ себѣ, она потеряла въ его гла-

захъ ореолъ таинственнаго страха, который, словно мгла, окутывалъ ее и искажалъ черты худого лица, и Валя сталъ думать о ней, какъ и о другихъ людяхъ. Онъ слышалъ частое повтореніе того, что она несчастна, и не могъ понять, почему; но это блѣдное лицо, изъ котораго выпили всю кровь, становилось проще, естественнѣе и ближе. „Бѣдная женщина“, какъ ее называли, стала интересоваться его, и, вспоминая другихъ бѣдныхъ женщинъ, о которыхъ ему приводилось читать, онъ испытывалъ чувство жалости и робкой нѣжности. Ему представлялось, что она должна сидѣть одна въ какой-нибудь темной комнатѣ, бояться и все плакать, все плакать, какъ плакала она тогда. Напрасно онъ тогда такъ плохо рассказалъ ей про Бову-королевича.

...Оказалось, что трое судей могутъ не согласиться съ тѣмъ, что рѣшили трое такихъ же судей: палата отмѣнила рѣшеніе окружного суда, и ребенокъ былъ присужденъ его матери по крови. Сенатъ оставилъ кассационную жалобу безъ послѣдствій...

Когда эта женщина пришла, чтобы взять Валу, Григорія Аристарховича не было дома; онъ находился у Талонскаго и лежалъ въ его спальнѣ, и только его розовая лысина выдѣлялась изъ бѣлаго моря подушекъ. Настасья Филипповна не вышла изъ своей комнаты, и горничная вывела оттуда Валу уже одѣтымъ для пути. На немъ было мѣховое пальтецо и высокія калоши, въ которыхъ онъ съ трудомъ передвигалъ ноги. Изъ-подъ барашковой шапочки выглядывало блѣдное лицо съ прямымъ и серьезнымъ взглядомъ. Подъ мышкою Валя держалъ книгу, въ которой рассказывалось о бѣдной русалочкѣ.

Высокая, костлявая женщина прижала его лицо къ драповому подержанному пальто и всхлинула.

— Какъ ты выросъ, Валичка! Тебя не узнаешь, — проговорила она шутить; но Валя молча поправилъ сбившуюся шапочку и, вопреки своему обычаю, смотрѣлъ не въ

глаза той, которая отнынѣ становилась его матерью, а на ея ротъ. Онъ былъ большой, но съ красивыми мелкими зубами; двѣ морщинки по сторонамъ оставались на своемъ мѣстѣ, гдѣ ихъ видѣлъ Валя и раньше, только стали глубже.

— Ты не сердись на меня? — спросила мама, но Валя, не отвѣчая на вопросъ, сказалъ:

— Ну, пойдемъ.

— Валичка! — донесся жалобный крикъ изъ комнаты Настасьи Филипповны. Она показалась на порогѣ съ глазами, опухшими отъ слезъ и, всплеснувъ руками, бросилась къ мальчику, встала на колѣни и замерла, положивъ голову на его плечо, — только дрожали и переливались брилліанты въ ея ушахъ.

— Пойдемъ, Валя, — сурово сказала высокая женщина, беря его за руку. — Намъ не мѣсто среди людей, которые подвергли твою мать такой пыткѣ... такой пыткѣ!

Въ ея сухомъ голосѣ звучала ненависть, и ей хотѣлось ударить ногою стоявшую на колѣняхъ женщину.

— У, безсердечные! Рады отнять послѣдняго ребенка! — произнесла она злымъ шопотомъ и рванула Валию за руку: — идемъ! Не будь, какъ твой отецъ, который бросилъ меня.

— Бе-ре-гите его! — сказала Настасья Филипповна.

Извозщицы сани мягко стучали по ухабамъ и безшумно уносили Валию отъ тихаго дома съ его чудными цвѣтами, таинственнымъ міромъ сказокъ, безбрежнымъ и глубокимъ, какъ море, и темнымъ окномъ, въ стекла котораго ласково царапались вѣтви деревьевъ. Скоро домъ потерялся въ массѣ другихъ домовъ, похожихъ другъ на друга, какъ буквы, и навсегда исчезъ для Вали. Ему казалось, что они плывутъ по рѣкѣ, берега которой составляютъ свѣтящіяся линіи фонарей, такихъ близкихъ другъ къ другу, словно бусы на одной ниткѣ, но когда они подѣвжались ближе, бусы рассыпались, образуя большіе темные промежутки, сзади сливаясь въ

такую же свѣтящуюся линію. И тогда Валя думалъ, что они неподвижно стоятъ на одномъ мѣстѣ; и все начинало становиться для него сказкою: и самъ онъ, и высокая женщина, прижимающая его къ себѣ костлявою рукою и все кругомъ.

У него замерала рука, въ которой онъ держалъ книгу, но онъ не хотѣлъ просить мать, чтобы она взяла ее.

Въ маленькой комнатѣ, куда привезли Валю, было грязно и жарко. Въ углу, противъ большой кровати, стояла подъ пологомъ маленькая кроватка, такая, въ какихъ Валя давно уже не спалъ.

— Замерзъ! Ну, погоди, сейчасъ будемъ чай пить. Ишь, руки-то какія красныя! Вотъ ты и съ мамой. Ты радъ?—спрашивала мать все съ тою же насильственной, нехорошею улыбкою человѣка, котораго всю жизнь принуждали смѣяться подъ палочными ударами.

Валя, пугаясь своей прямою, нерѣшительно отвѣтилъ:

— Нѣтъ.

— Нѣтъ? А я тебѣ игрушки купила. Вотъ, посмотри, на окнѣ.

Валя подошелъ къ окну и началъ разсматривать игрушки. Это были жалкія картонныя лошади на прямыхъ, толстыхъ ногахъ, петрушка въ красномъ колпакѣ съ носатой, глупо ухмыляющейся фізіономіей и тонкіе оловянные солдатики, поднявшіе одну ногу и навѣки замершіе въ этой позѣ. Валя давно уже не игралъ въ игрушки и не любилъ ихъ, но изъ вѣжливости онъ не показалъ этого матери.

— Да, хорошія игрушки.

Но она замѣтила взглядъ, который бросилъ Валя на окно, и сказала съ тою же непріятною, заискивающей улыбкой:

— Я не знала, голубчикъ, что ты любишь. И я уже давно купила эти игрушки.

Валя молчалъ, не зная, что отвѣтить.

— Вѣдь я одна, Валичка, одна во всемъ мірѣ, мнѣ не съ кѣмъ посовѣтоваться. Я думала, онѣ тебѣ понравятся.

Валя молчала. Внезапно лицо женщины растянулось, слезы быстро-быстро закапали одна за другой, и, точно потерявъ подъ собою землю, она рухнула на кровать, жалобно скрипнувшую подъ ея тѣломъ. Изъ-подъ платья выставилась нога въ большомъ башмакѣ съ порыжѣвшей резиной и длинными ушками. Прижимая руку къ груди, другой сжимая виски, женщина смотрѣла куда-то сквозь стѣну своими блѣдными, выцвѣтшими глазами, и шептала:

— Не понравились!.. Не понравились!..

Валя рѣшительно подошла къ кровати, положилъ свою красную ручку на большую, костлявую голову матери и сказалъ съ тою серьезною основательностью, которая отличала всѣ рѣчи этого мальчика:

— Не плачь, мама! Я буду очень любить тебя. Въ игрушки играть мнѣ не хочется, но я буду очень любить тебя. Хочешь, я прочту тебѣ о бѣдной русалочкѣ?..

14 сентября 1899 г.



## РАЗСКАЗЪ О СЕРГѢѢ ПЕТРОВИЧѢ.

### I.

Въ ученіи Ницше Сергѣя Петровича больше всего поразила идея сверхчеловѣка и все то, чтó говорилъ Ницше о сильныхъ, свободныхъ и смѣлыхъ духомъ. Сергѣй Петровичъ плохо зналъ нѣмецкій языкъ, по-гимназически, и съ переводомъ ему было много труда. Работу значительно облегчалъ Новиковъ, товарищъ Сергѣя Петровича, съ которымъ онъ въ теченіе полутора учебныхъ лѣтъ жилъ въ одной комнатѣ, и который въ совершенствѣ владѣлъ нѣмецкимъ языкомъ и былъ начитанъ по философіи. Но въ октябрѣ 189—года, когда до окончанія перевода „Такъ сказалъ Заратустра“ оставалось всего нѣсколько главъ, Новиковъ былъ административно высланъ изъ Москвы за скандалы, и своими силами Сергѣй Петровичъ подвинулся впередъ очень мало, но не сожалѣлъ объ этомъ и вполне удовлетворялся прочитаннымъ, которое онъ цѣлыми страницами зналъ наизусть и притомъ по-нѣмецки. Дѣло въ томъ, что въ переводѣ, какъ бы онъ ни былъ хорошъ, афоризмы много теряли, становились слишкомъ просты, понятны, и въ ихъ таинственной глубинѣ какъ будто просвѣчивало дно; когда же Сергѣй Петровичъ смотрѣлъ на готическія очертанія нѣмецкихъ буквъ, то въ каждой фразѣ, помимо прямого его смысла, онъ видѣлъ что-то непередаваемое словами, и прозрачная глубина темнѣла.



и становилась бездонною. Иногда ему приходила мысль, что если на свѣтѣ явится новый пророкъ, онъ долженъ говорить на чуждомъ языкѣ, чтобы всѣ поняли его. Конца книги, единственной изъ сочиненій Ницше, которую оставилъ Новиковъ, онъ такъ и не перевелъ.

Сергѣй Петровичъ былъ студентъ III курса естественнаго факультета. Въ Смоленскѣ у него жили родители, братья и сестры, изъ которыхъ одни были старше его, другіе моложе. Одинъ братъ, самый старшій, былъ уже докторомъ и хорошо зарабатывалъ, но помогать семьѣ не могъ, такъ какъ обзавелся уже собственной семьей. Существовать Сергѣю Петровичу приходилось на пятнадцать рублей въ мѣсяцъ, и этого ему хватало, такъ какъ онъ обѣдалъ бесплатно въ студенческой столовой, не курилъ и водки пилъ мало. Когда Новиковъ еще не уѣзжалъ, они пили очень много, но это ничего не стоило Сергѣю Петровичу, потому что всѣ расходы по пьянству бралъ на себя Новиковъ, у котораго постоянно имѣлись дорогіе уроки по языкамъ. Разъ, по винѣ того же Новикова, любившаго въ пьяномъ видѣ сидѣть на деревьяхъ бульвара, куда валѣзаль за нимъ и Сергѣй Петровичъ, мировой судья приговорилъ обоихъ товарищей къ десяти рублямъ штрафа, и штрафъ уплатилъ Новиковъ. При простотѣ товарищескихъ отношеній это было вполне естественно и ни въ комъ не возбуждало сомнѣній, кромѣ самого Сергѣя Петровича. Но отсутствіе денегъ было фактомъ, съ которымъ приходилось мириться.

Существовали и другіе факты, съ которыми приходилось мириться, и когда Сергѣй Петровичъ глубже вглядывался въ свою жизнь, онъ думалъ, что и она — фактъ изъ той же категоріи. Онъ былъ некрасивъ, — не безобразенъ, а некрасивъ, какъ цѣлыя сотни и тысячи людей. Плоскій носъ, толстыя губы и низкій лобъ дѣлали его похожимъ на другихъ и стирали съ его лица индивидуальность. Къ зеркалу онъ подходилъ рѣдко и

даже чесался такъ, наощупь, а когда подходилъ, то долго всматривался въ свои глаза, и они казались ему мутными и похожими на гороховый кисель, въ который свободно проникаетъ ножъ и до самаго дна не натывается ни на что твердое. Въ этомъ отношеніи, какъ и во многихъ другихъ, онъ отличался отъ друга своего Новикова, у котораго были зоркіе, смѣлые глаза, высокій лобъ и правильно очерченный, красивый овалъ лица. И высокое туловище, когда на немъ приходилось носить такую голову, казалось Сергѣю Петровичу не достоинствомъ, а недостаткомъ, и, быть можетъ, потому онъ горбился, когда ходилъ. Но самымъ тяжелымъ для Сергѣя Петровича фактомъ казалось то, что онъ былъ не уменъ. Въ гимназіи учителя считали его прямо глупымъ и въ младшихъ классахъ открыто высказывали это. По поводу одного его нелѣпаго отвѣта батюшка называлъ его „безтолочь смоленская и могилевская“, и хотя прозвище и не привилось къ нему, а стало нарицательнымъ для всякаго тупого ученика, Сергѣй Петровичъ не забылъ его происхожденія. И изъ всего, кажется, класса онъ одинъ оставался до конца безъ прозвища, если не считать имени „Сергѣй Петровичъ“, которымъ величали его всѣ: учителя, гимназисты и сторожа. Не было въ немъ ничего такого, на что можно было бы привѣсить остроумную кличку. Въ университетѣ товарищи, очень, вообще, любившіе распредѣлять другъ друга по уму, Сергѣя Петровича относили въ разрядъ ограниченныхъ, хотя никогда не высказывали этого ему прямо въ лицо, но онъ догадывался самъ по одному тому, что никто никогда не обращался къ нему съ серьезнымъ вопросомъ и разговоромъ, а всегда съ шуткою. Стоило въ то же время появиться Новикову, разговоръ тотчасъ переходилъ на серьезные темы. Вначалѣ Сергѣй Петровичъ безмолвно протестовалъ противъ общаго признанія его ограниченнымъ человѣкомъ и пытался сдѣлать, сказать или написать что-нибудь

умное, но, кромѣ смѣха, ничего изъ этого не выходило. Тогда онъ убѣдился самъ въ своей ограниченности и убѣдился такъ крѣпко, что если бы весь міръ призналъ его гениемъ, онъ не повѣрилъ бы ему. Вѣдь міръ не знаетъ и не могъ знать того, что знаетъ Сергѣй Петровичъ о себѣ. Міръ могъ услышать отъ него умную мысль, но онъ могъ не знать, что мысль эта украдена Сергѣемъ Петровичемъ или пріобрѣтена послѣ такого труда, который совершенно обезцѣнивалъ ее. То, что усваивалось другими на лету, ему стоило мучительныхъ усилій и все-таки, даже врѣзавшись въ память неизгладимо, оставалось чужимъ, постороннимъ, точно эта была не живая мысль, а попавшая въ голову книга, коловшая мозгъ своими углами. Особое сходство съ книгой придавало то обстоятельство, что всегда рядомъ съ мыслью стояла ясная и отчетливая страница, на которой онъ ее прочелъ. Тѣ же мысли, при которыхъ не показывались страницы, и которыя Сергѣй Петровичъ считалъ поэтому своими, были самыя простыя, обыкновенныя, не умныя и совершенно походили на тысячи другихъ мыслей на землѣ, какъ и лицо его походило на тысячи другихъ лицъ. Трудно было помириться съ этимъ фактомъ, но Сергѣй Петровичъ помирился. Въ сравненіи съ нимъ другіе маленькіе фактики—отсутствіе талантовъ, слабая грудь, неловкость, безденежье—казались неважными.

Незамѣтно для самого себя Сергѣй Петровичъ сдѣлался мечтателемъ, наивнымъ и неглубокимъ. То онъ представлялъ себѣ, что онъ выигрываетъ 200,000 руб. и ѣдетъ путешествовать по Европѣ, но дальше того, какъ онъ сядетъ въ вагонъ, онъ ничего представить не могъ, такъ какъ у него не было воображенія. То онъ думалъ о какомъ-то чудѣ, которое немедленно сдѣлаетъ его красивымъ, умнымъ и неотразимо привлекательнымъ. Послѣ оперы онъ представлялъ себя пѣвцомъ; послѣ книги—ученымъ; выйдя изъ Третьяковской гал-

лереи—художникомъ, но всякій разъ фонъ составляла толпа, „они“, — Новиковъ и другіе, — которые преклоняются передъ его красотою или талантомъ, а онъ дѣлаетъ ихъ счастливыми. Когда длинными, неуверенными шагами, опустивъ голову въ выпѣвшемъ картузѣ Сергѣй Петровичъ шелъ въ столовую, никому въ голову, не приходило, что этотъ невидный студентъ съ плоскимъ ординарнымъ лицомъ въ пастоящую минуту владѣетъ всѣми сокровищами міра. Въ столовой онъ сжимался, наскоро проглатывалъ легонькій обѣдъ и старался смотреть въ сторону, когда проходилъ знакомый студентъ и глазами отыскивалъ свободное мѣсто. Онъ боялся такихъ встрѣчъ, такъ какъ никогда не зналъ, о чемъ говорить, а молча—испытывалъ неловкость. Часто повторявшіяся мечты стали пріобрѣтать тѣнь реальности, но чѣмъ ярче становилось представленіе того, чѣмъ могъ и чѣмъ хотѣлъ бы быть Сергѣй Петровичъ, тѣмъ труднѣе становилось мириться съ суровымъ фактомъ—жизнью.

Такъ же незамѣтно совершался разрывъ съ міромъ живыхъ людей, и мепѣ всѣхъ подозрѣвалъ о немъ Сергѣй Петровичъ. Съ привычкою къ общественной, вынесенной изъ гимназіи, онъ принималъ участіе во всѣхъ студенческихъ организаціяхъ и аккуратно посѣщалъ собранія. Тамъ онъ слушалъ ораторовъ, шутили, когда съ нимъ шутили, и потомъ ставилъ на клочкѣ бумаги плюсъ или минусъ, а чаще уклонялся отъ голосованья, такъ какъ не могъ въ такое короткое время рѣшить, на какой сторонѣ справедливость. Но въ общемъ, его рѣшенія всегда сходились съ мнѣніемъ большинства и терялись въ немъ. Ходилъ Сергѣй Петровичъ и въ гости и всякій разъ при этомъ напивался съ своими хозяевами и другими гостями. Тогда онъ пѣлъ вмѣстѣ съ ними глухимъ, рыкающимъ басомъ, цѣловался и ѣдилъ къ женщинамъ. Это были единственныя женщины, которыхъ онъ зналъ, и то только пьяный.

Трезвому ему онъ внушали отвращеніе и страхъ. Другихъ женщинъ, чистыхъ и хорошихъ, онъ не искалъ, такъ какъ былъ увѣренъ, что ни одна не полюбитъ его. Были у него знакомы курсистки и онъ краснѣлъ, кланаясь имъ на улицѣ при встрѣчѣ, но онъ никогда не говорили съ этимъ ограниченнымъ и некрасивымъ студентомъ, хотя знали, какъ и всѣ, что его зовутъ Сергѣемъ Петровичемъ. Такимъ образомъ, онъ не принадлежалъ, по виду, къ студентамъ-одиночкамъ, проводившимъ глухую, никому невѣдомую жизнь и появлявшимся только на экзаменахъ съ массою писанныхъ конспектовъ и съ растеряннымъ лицомъ, но въ дѣйствительности у него совершенно отсутствовала живая связь съ людьми, дѣлающая общество ихъ пріятнымъ и необходимымъ. И онъ не любилъ ни одного изъ тѣхъ, съ кѣмъ шутилъ, пилъ водку и цѣловался.

Когда Сергѣй Петровичъ не мечталъ и не занимался дѣломъ, онъ читалъ много и безъ разбору и только для того, чтобы прогнать скуку. Читать онъ не любилъ—серьезныхъ книгъ потому, что многого въ нихъ не понималъ, романовъ потому, что одни были слишкомъ похожи на жизнь и печальны, какъ и она, другіе же были лживы и неправдоподобны, какъ его мечты. Онъ могъ мечтать о томъ, что выиграетъ миллионы, но когда онъ читалъ о такомъ же случаѣ въ книгѣ, ему становилось смѣшно и обидно за свои мечты. Правдивыми казались ему русскіе романы, но больно было читать ихъ, при мысли, что онъ одинъ изъ такихъ же маленькихъ, истощенныхъ жизнью людей, о какихъ пишутся эти толстыя и унылыя книги. Но были два романа,—оба переводные,—которые онъ любилъ читать и перечитывать. Одинъ изъ нихъ онъ любилъ читать въ дни печали и унынія, когда тоскливо плачущая и тяжело вздыхающая осень смотрѣла въ окна и въ душу, и стыдился говорить о немъ. Это было „80,000 верстъ подъ водой“ Ж. Верна. Его привлекала къ себѣ могучая

и стихійно свободная личность капитана Немо, ушедшаго отъ людей въ недоступныя глубины океана и оттуда надменно презиравшаго землю. Другою книгою была „Одинъ въ полѣ не воинъ“ Шпильтгагена, и онъ любилъ говорить о ней съ товарищами и радовался, когда и они восторженно склонялись передъ благороднымъ деспотомъ Лео. Впослѣдствіи, по совѣту Новикова, замѣтившаго любовь Сергѣя Петровича къ великимъ людямъ, онъ сталъ читать ихъ біографіи и читалъ съ интересомъ, но каждый разъ при этомъ думалъ: онъ былъ не такой, какъ я. И чѣмъ больше узнавалъ онъ великихъ людей, тѣмъ меньше становился самъ.

Такъ жилъ Сергѣй Петровичъ до двадцати трехъ лѣтъ. На первомъ курсѣ онъ провалился по физикѣ и съ тѣхъ поръ началъ усиленно работать, а такъ какъ на естественномъ факультетѣ работы много, то время проходило незамѣтно въ желѣзныхъ объятіяхъ труда. Понемногу притупилась острота печальныхъ размышлений о пезадавшейся жизни, и Сергѣй Петровичъ сталъ привыкать къ тому, что онъ обыкновенный, не умный и не оригинальный человѣкъ. Мозгъ Сергѣя Петровича стоялъ на той грани, которая отдѣляетъ глупость отъ ума, и откуда одинаково хорошо видно въ обѣ стороны: можно созерцать и высшее благородство могучаго интеллекта и понимать, какое счастье даетъ онъ своему обладателю, и видѣть жалкую низость самодовольной глупости, счастливой за толстыми черепными стѣнами, неуязвимой, какъ въ крѣпости. И теперь онъ чаще смотрѣлъ въ эту сторону и видѣлъ, что существуетъ много людей, которые хуже его, и видъ этихъ людей доставляетъ ему радость и успокоеніе. Сергѣй Петровичъ сталъ меньше читать и больше пить водки, но пилъ ее не помногу заразъ, какъ дѣлалъ раньше, а по рюмкамъ передъ обѣдомъ и передъ ужиномъ, и такъ ему нравилось больше, потому что было только пріятно и весело, и отсутствовали болѣзненные ощущенія похмѣлья. Лѣ-

томъ, въ Смоленскѣ, у него случился первый въ жизни любовный романъ, очень смѣшной для всѣхъ окружающихъ, но для него пріятный, поэтический и новый. Героиней его была дѣвушка, приходившая въ ихъ садъ полоть гряды, некрасивая, глупая и добрая. Сергѣй Петровичъ не зпалъ, за что она полюбила его, и чувствовалъ къ ней легкое презрѣніе за ея любовь, но ему нравились и таинственныя свиданія въ темномъ саду, и шопотъ, и страхъ. Когда осенью онъ уѣзжалъ въ Москву, она плакала, а онъ сознавалъ себя какъ будто новымъ,—гордымъ и довольнымъ собою, такъ какъ и онъ оказался не хуже другихъ: и у него есть настоящая женщина, которая любитъ его безъ денегъ и плачетъ отъ разлуки. Какъ и многіе другіе, Сергѣй Петровичъ не думалъ, что онъ живетъ, и пересталъ замѣчать жизнь, а она текла плоская, мелкая и тусклая, какъ болотный ручей. Но бывали мгновенія, когда онъ точно просыпался отъ глубокаго сна и съ ужасомъ сознавалъ, что онъ все тотъ же мелкій, ничтожный человѣкъ. Тогда онъ по цѣлымъ ночамъ мечталъ о самоубійствѣ, пока злая и требовательная ненависть къ себѣ и къ своей долѣ не смѣнялась мирною и кроткою жалостью. А потомъ жизнь снова овладѣвала имъ, и онъ еще разъ повторялъ себѣ, что она фактъ, съ которымъ нужно мириться.

Въ это именно время, когда полное примиреніе съ фактами становилось возможнымъ и близкимъ, онъ сошелся съ Новиковымъ. Товарищи не понимали этого страннаго сближенія, такъ какъ Новиковъ считался самымъ умнымъ, а Сергѣй Петровичъ самымъ ограниченнымъ изъ земляковъ. Подъ конецъ, они стали думать, что самолюбивый и тщеславный Новиковъ хочетъ имѣть при себѣ зеркало, въ которомъ отражался бы его блестящій умъ, и смѣялись тому, что зеркало онъ выбралъ такое кривое и дешевое. Увѣренія Новикова, что Сергѣй Петровичъ вовсе не такъ глупъ, какъ кажется, они считали выраженіемъ того же самолюбія. Возможно, что

это было и такъ, но Новиковъ былъ настолько сдержанъ и тактиченъ въ проявленіяхъ своего превосходства, что Сергѣй Петровичъ полюбилъ его. И это былъ первый человѣкъ, котораго онъ любилъ, и первый другъ, котораго дала ему жизнь. Онъ гордился Новиковымъ, читалъ тѣ книги, которыя читалъ тотъ, и покорно слѣдовалъ за нимъ по ресторанамъ, лазилъ на деревья и думалъ о своемъ счастьѣ, позволившемъ ему быть другомъ человѣка, который судьбою предназначенъ для великихъ дѣлъ. Съ почтительнымъ удивленіемъ слѣдилъ онъ за работой его кипучаго ума, оставлявшаго за собою, какъ версты, философскія, историческія и экономическія теоріи и смѣло стремившагося впередъ, все впередъ. Жалкою трусцою плелся за нимъ Сергѣй Петровичъ, пока не увидѣлъ, что съ каждымъ днемъ отстаетъ все больше. И это былъ тяжелый день, когда Сергѣй Петровичъ, хотѣвшій утопить свое „я“ въ чужомъ, глубокомъ и сильномъ „я“, понялъ, что это невозможно, и что онъ такъ же умственно далекъ отъ своего друга, съ которымъ жилъ, какъ и отъ тѣхъ великихъ, о которыхъ онъ читалъ. И помогъ понять это Ницше, котораго ему открылъ тотъ же Новиковъ.

## II.

Когда Сергѣй Петровичъ прочелъ часть „Такъ сказалъ Заратустра“, ему показалось, что въ ночи его жизни взошло солнце. Но то было полуночное, печальное солнце, и не картину радости освѣтило оно, а холодную, мертвенно-печальную пустыню, какой была душа и жизнь Сергѣя Петровича. Но все же то былъ свѣтъ, и онъ обрадовался свѣту, какъ никогда и ничему не радовался въ жизни. Въ это недавнее время, о которомъ идетъ рѣчь, въ Россіи о Ницше знали только немногіе, и ни газеты, ни журналы ни слова не говорили о немъ. И это



глубокое молчаніе, которымъ былъ обвѣянъ Заратустра, дѣлало его слова значительными, сильными и чистыми, какъ будто они падали къ Сергѣю Петровичу прямо съ неба. Онъ не зналъ и не думалъ о томъ, кто такой Ницше, много ему лѣтъ или мало, живъ онъ или умеръ. Онъ видѣлъ передъ собою только мысли, облеченныя въ строгую и мистическую форму готическихъ буквъ, и это отрѣшеніе мыслей отъ мозга, ихъ создаваемаго, отъ всего земного, сопровождавшаго ихъ рожденіе, создавало имъ божественность и вѣчность. И какъ пламенно вѣрующій, юный жрецъ, къ которому спустилось долгожданное божество, онъ тайлъ его отъ постороннихъ взглядовъ и испытывалъ боль, когда къ божеству прикасались грубыя и дерзкія руки. То были руки Новикова.

Иногда вечеромъ, послѣ совмѣстнаго перевода нѣсколькихъ главъ, Новиковъ начиналъ говорить о прочитанномъ. Онъ сидѣлъ за своимъ столомъ, какъ за кафедрой, и говорилъ звучно, ясно и раздѣльно, отчетливо выговаривая каждое слово, ставя логическія ударенія и короткими паузами отмѣчая знаки прерыванія. Крупная голова его, коротко остриженная и похожая на точеный шаръ, но съ рѣзкими выпуклостями лба, крѣпко и неподвижно сидѣла на короткой шеѣ: лицо его всегда оставалось блѣдно, и при сильномъ волненіи только оттопыренные уши пылали, какъ два кумачныхъ доскута, прицѣпленныхъ къ желтому бильярдному шару. Говорилъ онъ о предшественникахъ Ницше въ философіи, о связи его ученія съ экономическими и общественными теченіями вѣка и утверждалъ, что Ницше скакнулъ на тысячу лѣтъ впередъ съ своимъ основнымъ тезисомъ индивидуализма „я хочу“. Иногда онъ смѣялся надъ туманнымъ языкомъ книги, въ которомъ ему чувствовалась дѣланность, и тогда Сергѣй Петровичъ дѣлалъ слабыя попытки возражать. То, что говорилъ Новиковъ, казалось ему очень умнымъ, такимъ, до чего онъ самъ не дойдетъ никогда, но не согласнымъ съ истиной. И онъ

чувствовалъ, что яснѣе и ближе понимаетъ слова Заратустры, но когда онъ начиналъ растолковывать ихъ, выходило плоско и жалко и совсѣмъ не похоже на то, что онъ думалъ. И онъ умолкалъ, чувствуя злобу къ своей головѣ и языку. Но случалось, что Новиковъ увлекался красотою ритмической рѣчи Заратустры и подпадалъ подъ вліяніе недосказаннаго. Тогда онъ декламировалъ своимъ яснымъ и сильнымъ голосомъ, и Сергѣй Петровичъ благоговѣнно слушалъ, склонивъ некрасивую, плоскую голову, и каждое слово его выжигалось въ его сонномъ и тяжеломъ мозгу.

Сергѣй Петровичъ не замѣтилъ того момента, когда въ немъ кончилось спокойное созерцаніе фактовъ и тупая тоска мирающагося съ ними. Было похоже на то, какъ будто къ пороховому боченку приложили огонь, а долго ли тлѣлъ фитиль, онъ не зналъ. Но онъ зналъ, кто зажегъ его. Это было видѣніе сверхчеловѣка, того непостижимаго, но человѣчнаго существа, которое осуществило всѣ заложеныя въ него возможности и полноправно владѣетъ силою, счастьемъ и свободою. Странное то было видѣніе. Яркое до боли въ глазахъ и сердцѣ, оно было смутно и неопредѣленно въ своихъ очертавіяхъ; чудесное и непостижимое, оно было просто и реально. И при яркомъ свѣтѣ его Сергѣй Петровичъ разсматривалъ свою жизнь, и она казалась совсѣмъ новою и интересною, какъ знакомое лицо при заревѣ пожара. Онъ глядѣлъ впередъ себя и назадъ, и то, что онъ видѣлъ, походило на длинный, сѣрый и узкій коридоръ, лишенный воздуха и свѣта. Позади коридоръ терялся въ сѣрыхъ воспоминаніяхъ безрадостнаго дѣтства, впереди утопалъ въ сумракъ такого же будущаго. И на всемъ протяженіи коридора не виднѣлось ни одного рѣзкаго, крутого поворота, ни одной двери наружу, туда, гдѣ сіяетъ солнце, и смѣются и плачутъ живые люди. Кругомъ Сергѣя Петровича плывутъ по коридору сѣрыя тѣни людей, лишенныхъ смѣха и слезъ, и безмолвно

киваютъ своими тупыми головами, надъ которыми такъ безжалостно насмѣялась жестокая природа.

Пока Новиковъ не уѣзжалъ изъ Москвы, Сергѣй Петровичъ каждый день производилъ одну и ту же работу и сравнивалъ себя съ товарищемъ, на которомъ ему чудился отблескъ сверхчеловѣка. Онъ наблюдалъ его лицо, движенія и мысли и краснѣлъ, когда Новиковъ ловилъ на себѣ его тупые, но внимательные взгляды. Позднюю ночью, когда Новиковъ уже спалъ, Сергѣй Петровичъ прислушивался къ его тихому и ровному дыханію и думалъ, что и дышитъ Новиковъ не такъ, какъ онъ. И этотъ спящій человѣкъ, котораго онъ раньше любилъ, казался ему теперь чуждымъ и загадочнымъ, и загадкою было все: и глубокое дыханіе его, и мысли, скрытыя подъ выпуклостью черепа, и рожденіе его, и смерть. И непонятно было, что подъ одною крышею лежатъ два человѣка, и у cadaго изъ нихъ все свое, отдѣльное, непохожее—и мысли, и жизнь.

Сергѣй Петровичъ не почувствовалъ горя, когда Новикова выслали изъ Москвы. Тѣ 24 часа, которые провелъ съ нимъ Новиковъ, укладывая вещи и ругаясь, прошли незамѣтно, и товарищи оказались на вокзалѣ. Они были трезвы, такъ какъ денегъ хватило только на дорогу.

— А я напрасно далъ вамъ Ницше, Сергѣй Петровичъ,—сказалъ Новиковъ съ той чопорной вѣжливостью, которая была одной изъ странностей ихъ совмѣстной жизни и не покидала ихъ даже въ пьяныя минуты на деревьяхъ бульвара.

— Почему, Николаи Григорьевичъ?

Новиковъ промолчалъ, и Сергѣй Петровичъ добавилъ:

— Я едва ли буду читать его. Для меня довольно. Прозвучалъ третій звонокъ.

— Ну, прощайте.

— Будете писать?—спросилъ Сергѣй Петровичъ.

— Нѣтъ. Я не люблю переписки. Но вы пишите.

Послѣ минутной нерѣшимости, они поцѣловались, целовко, не зная сколько нужно поцѣлуевъ, и Новиковъ уѣхалъ. И, оставшись одинъ, Сергѣй Петровичъ понималъ, что онъ давно желалъ и ожидалъ этого дня, когда онъ останется съ Ницше одинъ, и никто не будетъ мѣшать имъ. И, дѣйствительно, съ этой минуты никто не мѣшалъ имъ.

### III.

Съ внѣшней стороны жизнь Сергѣя Петровича рѣзко измѣнилась. Онъ совсѣмъ пересталъ ходить на лекціи и практическія занятія и бросилъ на полку начатое для зачета сочиненіе: „Сравнительная характеристика углеводовъ жирнаго ряда и углеводовъ ароматическаго ряда“. Товарищей онъ также пересталъ посѣщать и появлялся только на собраніяхъ, и то не надолго. Однажды студенты поѣхали большою компаніей къ женщинамъ и встрѣтили тамъ Сергѣя Петровича, и что было удивительно, совершенно трезваго. Какъ и раньше, онъ краснѣлъ, когда надъ нимъ стали шутить, и когда выпилъ, то пѣлъ и говорилъ заплетающимся языкомъ о какомъ-то Заратустрѣ. Копчилось тѣмъ, что онъ сталъ плакать, а потомъ буянить, называлъ всѣхъ ихъ идіотами, а себя сверхчеловѣкомъ. Послѣ этого случая, надъ которымъ много смѣялись, Сергѣя Петровича на нѣкоторое время совсѣмъ утерали изъ виду.

Съ тѣхъ поръ, какъ Сергѣй Петровичъ появился на свѣтъ, ни разу голова его не работала такъ много и такъ упорно, какъ въ эти короткіе дни и долгія ночи. Безкровный мозгъ не повиновался ему и тамъ, гдѣ онъ искалъ истины, ставилъ готовыя формулы, понятія и фразы. Измученный, уставшій, онъ напоминалъ собою рабочую лошадь, которая ввозитъ на гору тяжелый возъ и задыхается, и падаетъ на колѣни, пока снова

не погопитъ ее жгучій кнутъ. И такимъ кнутомъ было видѣніе, миражъ сверхчеловѣка, того, кто полноправно владѣеть силою, счастьемъ и свободою. Минутами густой туманъ заволакивалъ мысли, но лучи сверхчеловѣка разгоняли его, и Сергѣй Петровичъ видѣлъ свою жизнь такъ ясно и отчетливо, точно она была нарисована или рассказана другимъ человѣкомъ. Это не были мысли, строго послѣдовательныя и выраженныя словами,—это были видѣнія.

Онъ видѣлъ человѣка, который называется Сергѣемъ Петровичемъ, и для котораго закрыто все, что дѣлаетъ жизнь счастливою или горькою, но глубокою, человѣческой. Религія и мораль, наука и искусство существовали не для него. Вмѣсто горячей и дѣятельной вѣры, той, что двигаетъ горами, онъ ощущалъ въ себѣ безобразный комокъ, въ которомъ привычка къ обрядности переплеталась съ дешевыми суевѣріями. Онъ не былъ ни настолько смѣлъ, чтобы отрицать Бога, ни настолько силенъ, чтобы вѣрить въ Него; не было у него и нравственного чувства и связанныхъ съ нимъ эмоцій. Онъ не любилъ людей и не могъ испытывать того великаго блаженства, равнаго которому не создавала еще земля,—работать за людей и умирать за нихъ. Но онъ не могъ и ненавидѣть ихъ,—и никогда не суждено ему было испытать жгучаго наслажденія борьбы съ себѣ подобными и демонической радости побѣды надъ тѣмъ, что чтится всѣмъ міромъ, какъ святыня. Не могъ онъ ни подняться такъ высоко, ни упасть такъ низко, чтобы господствовать надъ жизнью и людьми,—въ одномъ случаѣ стоя выше ихъ законовъ и самъ создавая ихъ, въ другомъ—находясь внѣ всего того, что обязательно и страшно для людей. Въ газетахъ Сергѣй Петровичъ читалъ о людяхъ, которые убиваютъ, крадутъ, насилюютъ и каждый разъ одна и та же мысль заканчивала чтеніе: а я бы не могъ. На улицѣ онъ встрѣчалъ людей, опустившихся до самого дна людского моря,—и здѣсь онъ

говорилъ: а я бы не могъ. Изрѣдка онъ слыхалъ и читалъ о людяхъ-герояхъ, шедшихъ на смерть во имя идеи или любви, и думалъ: а я бы не могъ. И онъ за-видовалъ всѣмъ, и грѣшнымъ, и праведнымъ, и въ ушахъ его звучали безпощадно правдивыя слова Заратустры: „Если жизнь не удастся тебѣ, если ядовитый червь пожираетъ твое сердце, знай, что удастся смерть“.

Сергѣй Петровичъ не ощущалъ потребности творить зло, но добрымъ быть онъ хотѣлъ. Это желаніе внушили ему книги и люди, и оно было сильно, но безплодно и мучительно, какъ мучительна жажда свѣта для при-рожденнаго слѣпца. Онъ думалъ о своемъ будущемъ, и въ немъ не было мѣста для добра. По окончаніи университета, Сергѣй Петровичъ намѣревался поступить въ акцизное вѣдомство, и сколько онъ теперь ни думалъ, не могъ понять, какое добро создать онъ въ должности акцизнаго чиновника. Онъ уже представлялъ себя, какимъ онъ будетъ—честнымъ, исполнительнымъ, трудолюбивымъ. Онъ видѣлъ, какъ съ медлительною и строгою постепенностью движется онъ по лѣстницѣ повышеній и, достигнувъ средней ступеньки, остапавливается, разбитый годами, нуждою и болѣзнями. Онъ понималъ, что заслуги его передъ жестокостями жизни будутъ оцѣнены, и онъ будетъ праздновать свой тридцатилѣтній юбилей, какъ недавно праздновалъ его отецъ. На юбилеѣ будутъ говоритья рѣчи, и онъ будетъ слушать ихъ и плакать отъ умиленія, какъ плакалъ его отецъ, и цѣловаться съ такими же, какъ и онъ, старенькими, сѣденькими, изгрызенными жизнью бывшими и будущими юбилярами. Потомъ онъ умретъ съ мыслью, что оставляетъ послѣ себя десятокъ такихъ же дѣтей, какимъ онъ былъ самъ, и въ „Смоленскомъ Вѣстникѣ“ будетъ напечатано коротенькое жизнеописаніе, въ концѣ котораго будетъ сказано, что умеръ полезный и честный работникъ. И Сергѣю Петровичу кажется, что эта по-смертная похвала горька и больна, какъ ударъ бичомъ

по живому обпаженному мясу. И больна она потому, что люди, желая сказать пріятную неправду, сказали обидную и неоспоримую истину. И Сергѣй Петровичъ думаетъ, что если бы люди всегда понимали то, что говорить ихъ языкъ, они не осмѣлились бы говорить о полезности и оскорблять уже оскорбленныхъ.

Не сразу понялъ Сергѣй Петровичъ, въ чемъ заключается его полезность, и долго ворочался и содрогался его мозгъ, подавленный непосильной работой. Но разсѣвался туманъ подъ яркими лучами сверхчеловѣка, и то что было неразрѣшимую загадкою, становилось простымъ и яснымъ. Онъ былъ полезенъ и полезенъ многими своими свойствами. Онъ былъ полезенъ для рынка, какъ то безымянное „нѣкто“, которое покупаетъ калоши, сахаръ, керосинъ и въ массѣ своей создаетъ дворцы для сильныхъ земли; онъ былъ полезенъ для статистики и исторіи, какъ та безымянная единица, которая рождается и умираетъ, и на которой изучаютъ законы народонаселенія; онъ былъ полезенъ и для прогресса, такъ какъ имѣлъ желудокъ и яблочное тѣло, составлявшее гудѣть тысячи колесъ и станковъ. И чѣмъ больше ходилъ Сергѣй Петровичъ по улицамъ и смотрѣлъ вокругъ себя и за собою, тѣмъ очевиднѣе становилась для него его полезность. И сперва онъ заинтересовался ею, какъ открытіемъ, и съ новымъ чувствомъ любопытства смотрѣлъ на богатые дома и роскошные экипажи и парочно ѣздилъ лишній разъ на конкѣ, чтобы принести кому-то пользу своимъ пяточкомъ, но скоро его стало раздражать сознаніе, что онъ не можетъ сдѣлать шагу, чтобы не оказаться кому-нибудь полезнымъ, такъ какъ полезность его находится внѣ его воли.

И тогда онъ открылъ въ себѣ еще одну полезность, и она была самою горькою и обидною изъ всѣхъ, и представляла краснѣть отъ стыда и боли. Это была полезность трупа, на которомъ изучаютъ законы жизни и смерти, или илота, напоеннаго для того, чтобы другіе

видѣли, какъ дурпо пить. Иногда ночью, въ этотъ періодъ душевнаго мятежа, Сергѣй Петровичъ представлялъ себѣ кпиги, которыя пишутся о немъ, или о такихъ, какъ онъ. Опъ ясно видѣлъ печатныя страницы, много печатныхъ страницъ, и свое пмя на нихъ. Онъ видѣлъ людей, которые пишутъ эти книги и на пемъ, на Сергѣѣ Петровичѣ, создаютъ для себя богатство, счастье и славу. Одни рассказываютъ о томъ, какой онъ былъ жалкій, никуда негодный и никому ненужный; они не смѣются и не издѣваются надъ нимъ, — нѣтъ, они стараются изобразить его горе такъ жалко, чтобы люди плакали, а радость такъ, чтобы смѣялись. Съ напвнымъ эгоизмомъ сытыхъ и сильныхъ людей, которые говорятъ съ такими же сильными, они стараются показать, что и въ такихъ существахъ, какъ Сергѣй Петровичъ, есть кое-что человѣческое; усиленно и горячо доказываютъ, что имъ бываетъ больно, когда бьютъ, и пріятно, когда ласкаютъ. И если у пишущихъ есть талантъ, и имъ удастся показать то, что они хотѣли, имъ ставятъ памятники, подножіемъ которыхъ является какъ будто бы гранить, а въ дѣйствительности—безчисленные Сергѣи Петровичи. Другіе тоже сожальютъ о Сергѣѣ Петровичѣ, но говорятъ о немъ по рассказанному первыми и старательно обсуждаютъ, откуда берутся такіе, какъ онъ, и куда дѣваются, и учатъ, какъ нужно поступать, чтобы впередъ не было такихъ.

Для капиталиста полезень, какъ родникъ его богатства, для писателя, какъ ступенька къ памятнику, для ученаго, какъ величина, приближающая его къ познанію истины, для читателя, какъ объектъ для упражненія въ хорошихъ чувствахъ,—вотъ полезность, которую нашелъ въ себѣ Сергѣй Петровичъ. И всю его душу охватилъ стыдъ и глухой гнѣвъ чловѣка, который долго не понималъ, что надъ нимъ смѣются, и, обернувшись, увидѣлъ оскаленные зубы и протянутые пальцы. Жизнь, съ которой онъ такъ долго мирился, какъ съ фактомъ,



заглянула ему въ лицо своими глубокими очами, холодными, серьезными и до ужаса непонятными въ своей строгой простотѣ. Все то, что до сихъ поръ смутно бродило въ немъ и проявлялось въ неясныхъ грезахъ и тупой тоскѣ, заговорило громко и властно. Его я, то, которое онъ считалъ единственно истиннымъ и независимымъ ни отъ слабаго мозга, ни отъ вялаго сердца, возмутилось въ немъ и потребовало всего, на что оно имѣло право.

— Я не хочу быть нѣмымъ матеріаломъ для счастья другихъ: я самъ хочу быть счастливымъ, сильнымъ и свободнымъ и имѣю на это право,—выговорилъ Сергѣй Петровичъ затаенную мысль, которая бродитъ во многихъ головахъ и много головъ дѣлаетъ несчастными, но выговаривается такъ рѣдко и съ такимъ трудомъ.

И въ тотъ моментъ, когда онъ впервые произнесъ эту ясную и точную фразу, онъ понималъ, что произносить приговоръ надъ тѣмъ, что называется Сергѣемъ Петровичемъ, и что никогда не можетъ быть ни сильнымъ, ни свободнымъ. И онъ возсталъ противъ обезличившей его природы, возсталъ, какъ рабъ, которому цѣпи натерли кровавыя язвы на тѣлѣ, но который долго не сознавалъ униженности безправнаго рабства и покорно сгибалъ спину подъ бичомъ надсмотрщика. Это было чувство лошади, которой силою чуда даровано человѣческое сознание и умъ въ тотъ самый мигъ, когда кнутъ полощетъ ея спину, и у нея нѣтъ ни голоса, ни силы на сопротивленіе. И чѣмъ дольше, сильнѣе и безжалостнѣе былъ гнетъ, тѣмъ яростнѣе былъ гнѣвъ возставшаго.

Въ это именно время Новиковъ получилъ отъ Сергѣя Петровича первое письмо, очень большое и мало понятное, такъ какъ Сергѣй Петровичъ совершенно не былъ въ силахъ облечь въ форму мыслей и словъ все то, что онъ видѣлъ такъ ясно и хорошо. И Новиковъ не отвѣтилъ на письмо, такъ какъ не любилъ переписки и былъ сильно занятъ пѣяцствомъ, книгами и уроками

по языкамъ. Одному изъ своихъ пріятелей, котораго онъ водилъ за собою по трактирамъ, онъ разсказалъ, однако, о Сергѣѣ Петровичѣ, о письмѣ и о Ницше и смѣялся надъ Ницше, который такъ любилъ сильныхъ, а дѣлается проповѣдникомъ для нищихъ духомъ и слабыхъ.

Первымъ послѣдствіемъ возмущенія былъ возвратъ Сергѣя Петровича къ своимъ полузабытымъ и наивнымъ мечтамъ. Но онъ не узналъ ихъ—такъ измѣнило ихъ сознаніе правъ на счастье. И отчаявшись въ себѣ, какъ въ человѣкѣ, Сергѣй Петровичъ задумался надъ тѣмъ, могъ ли бы онъ стать счастливымъ и при этихъ условіяхъ. Счастье вѣдь такъ обширно и многогранно; лишенный возможности быть счастливымъ, въ одномъ, найдетъ свое счастье въ другомъ. И отвѣтъ, который нашелъ для себя Сергѣй Петровичъ, принудилъ его возстать противъ людей, какъ онъ уже возмущился противъ природы.

#### IV.

Жилъ Сергѣй Петровичъ недалеко отъ комитетской столовой въ большомъ четырехэтажномъ домѣ, снизу доверху населенномъ квартирными хозяевами и студентами. У него была маленькая, но чистенькая комнатка, и сосѣди его, студенты, оказались народомъ тихимъ и непьющимъ, такъ что одинаково удобно было и заниматься, и думать, и если существовало что непріятное, такъ это постоянный чадъ изъ кухни по утрамъ. Но заниматься Сергѣй Петровичъ бросилъ, и половину сутокъ комната стояла пустая и темная.

Ходилъ онъ очень много, безъ усталости, и длинную его фигуру въ выцвѣтшемъ картузѣ можно было встрѣтить на всѣхъ улицахъ Москвы. Въ одинъ морозный, но солнечный день онъ пробрался даже на Воробьевы горы

и оттуда долго смотрѣлъ на Москву, окутанную розовымъ туманомъ и дымомъ, и сверкающую пелену рѣки и огородовъ. На ходу легче было думать, да и то, что онъ видѣлъ, облегчало работу мысли, какъ рисунокъ къ тексту облегчаетъ его пониманіе для слабыхъ умовъ. Подобно хозяину, который созналъ свое раззореніе и въ послѣдній разъ обходитъ свое имѣніе, подводя печальные итоги, подводилъ свои итоги и Сергѣй Петровичъ, и они были также печальны. Все видѣнное говорило ему, что и для него возможно было бы относительное счастье, но что въ то же время онъ никогда не получить его,—никогда.

Только одно могло дать счастье Сергѣю Петровичу: обладаніе тѣмъ, что онъ любилъ въ жизни, и избавленіе отъ того, что онъ ненавидѣлъ. Онъ не вѣрилъ Гартману, который всегда былъ сытъ и утверждалъ, что обладаніе желаемымъ только разочаровываетъ,—и думалъ, какъ Новиковъ, что философія пессимизма создана для утѣшенія и обмана людей, которые лишены всего, что имѣютъ другіе. И онъ былъ увѣренъ, что сумѣетъ стать счастливымъ, если ему дадутъ деньги, эту странствующую по міру свободу, которую рабы чеканятъ для господъ.

Сергѣй Петровичъ былъ трудолюбивъ, но не любилъ труда и страдалъ подъ его тяжестью, такъ какъ никогда его трудъ не былъ такимъ, чтобы давать наслажденіе. Въ гимназіи его трудомъ было ученіе вещей, которыя были не интересны и чужды ему, а иногда шли противъ его разсудка и совѣсти, и тогда трудъ становился мучительнымъ. Въ университетѣ трудъ былъ легче, спокойнѣе и разумнѣе, но также не давалъ наслажденія холодному уму, а уроки, которые случалось имѣть Сергѣю Петровичу, представляли обратную сторону гимназическихъ и были также мучительны. И будущій его трудъ, какъ акцизнаго чиновника, сулилъ ту же безрадостность и покорную скуку. Только лѣтомъ, у себя въ Смоленскѣ, Сергѣй Петровичъ отдыхалъ за простою и грубою ра-

ботою: столярничалъ, дѣлалъ для маленькихъ братьевъ деревянные ружья и стрѣлы, чинилъ въ саду заборы и скамейки и копалъ гряды, выворачивая блестящимъ скребкомъ оадреватую, глянцевитую землю. И это было весело и радостно, но не было тѣмъ трудомъ, къ которому предназначило его рожденіе отъ отца-чиновника и образованіе. Другіе люди, страдающіе отъ несоотвѣтствія между способностями и трудомъ, иногда ломаютъ рамки и идутъ, куда хотятъ, — въ рабочіе, въ пахари, въ бродяги. Но то люди сильные и смѣлые, какихъ немного на землѣ, а Сергѣй Петровичъ чувствовалъ себя слабымъ, робкимъ и управляемымъ чьею-то чужою волей, какъ паровозъ, котораго только катастрофа можетъ свести съ рельсъ, проложенныхъ неизвѣстными руками. И не только сдѣлать, но даже и вообразить онъ не могъ, какъ это онъ броситъ приличный костюмъ, квартиру, лекціи и станетъ оборванный шататься по дорогамъ или идти за сохой. И первое, что могло бы приблизить его къ счастью, — это свобода отъ чуждаго и непріятнаго труда. И онъ имѣлъ право на свободу, такъ какъ видѣлъ людей, какъ и онъ, рожденных отъ женщины, какъ и онъ, имѣющихъ нервы и мозгъ, которые не трудились совсѣмъ и отдавались только тѣмъ занятіямъ, которыя радуютъ ихъ.

„А что имѣютъ другіе, на то имѣю право и я“, — думалъ Сергѣй Петровичъ въ этотъ періодъ возмущенія противъ природы и людей.

И для него нашлись бы такія занятія, которыя радуютъ. Главнымъ изъ нихъ было бы познаніе природы. Не проникновеніе въ ея глубочайшія тайны, — оно требовало ума, — а непосредственное познаніе ее глазами, обоняніемъ, всѣми чувствами. Онъ любилъ живую природу нѣжною и даже страстною, но глубоко скрытой любовью, о которой подозрѣвалъ одинъ Новиковъ. Какой-нибудь росточекъ травы весной, бѣлый стволъ березы, выходящій изъ мягкой пахучей земли, черные, тошнѣ-

кіе сучки, прилипшіе къ ея мягкой груди, — приковывали его глаза и радовали сердце. Онъ не понималъ, за что онъ такъ любить эту черную землю, давшую ему столько горя, но когда весною онъ видѣлъ первый кусокъ ея, освободившійся отъ холоднаго и мертвоста снѣга и словно вздыхающій подъ солнцемъ, — ему хотѣлось поцѣловать его долгимъ и нѣжнымъ поцѣлуемъ, какимъ цѣлуютъ любимую женщину. И обреченный всю жизнь проводить въ узкой четырехугольной коробкѣ, на пыльных грохочущихъ улицахъ, подъ грязнымъ городскимъ небомъ, онъ завидовалъ бродягамъ, сонъ которыхъ охраняютъ звѣзды, и которые знаютъ и видятъ такъ много. А онъ не видѣлъ въ своей жизни и не увидитъ ничего, кромѣ березы, травки, неглубокихъ рѣчекъ да невысокихъ бугровъ. Ему приходилось читать красивыя и, вѣроятно, похожія описанія моря и горъ, но слабое воображеніе его не могло создать живыхъ образовъ. И ему хотѣлось своими глазами убѣдиться—правда ли, что море такъ глубоко и бесконечно, что оно голубое или зеленое, или даже красное, что по нему ходятъ высокіе валы, а надъ нимъ по синему небу бѣгутъ бѣлыя облака или черныя, страшныя тучи. И правда ли, что горы такъ высоки, отвѣсны и лѣсисты, и между ними синѣютъ туманныя ущелья, а подъ самымъ зеленымъ небомъ сверкаютъ снѣжныя вершины.

Правда ли?

Глубокій свистающій вздохъ, шедшій изъ глубины запыленныхъ легкихъ, поднималъ грудь Сергѣя Петровича и сгонялъ съ его плоскаго лица стыдливо-восхищенную улыбку. И еще болѣе, чѣмъ бродягамъ, завидовалъ онъ тѣмъ, кто владѣетъ моремъ и горами.

Однажды, блуждая по городу и различая въ толпѣ тѣхъ, кто свободенъ и властенъ, и кто навсегда лишенъ свободы, Сергѣй Петровичъ увидѣлъ вывѣску стереоскопической панорамы и зашелъ туда. Показывались горы, озера и замки Людвигъ Баварскаго. Цвѣтныя

фотографіи проходили передъ глазами и были такъ живы и выпуклы, что чувствовался воздухъ и синяя даль, а вода блестяла, какъ пастоящая, и въ ней отражались лѣса и замки. Бѣлый, празднично-свѣтлый и чистый пароходъ вадымалъ носомъ пѣнистыя борозды, а на палубѣ стояли и сидѣли празднично одѣтые мужчины, женщины и дѣти, и казалось, можно было различить радостную улыбку на ихъ лицахъ. Потомъ онъ видѣлъ замокъ, который бѣлѣлъ своимъ башнями и зубчатыми террасами надъ зеленою лѣсовъ, каскадами спадавшихъ въ долину, и видѣлъ внутренность замка. Величественныя залы, безчисленное множество картинъ, царственное велпколѣпіе бархата и тяжелой парчи, свѣтъ, льющійся въ высокія готическія окна и скользящій по паркетамъ половъ. И на одномъ окнѣ, спиной къ Сергѣю Петровичу, сидѣлъ кто-то, равнодушный и спокойный, и смотрѣлъ внизъ, туда, гдѣ виднѣлись однѣ вершины горъ и свѣтлое небо. Сергѣй Петровичъ долго всматривался въ неподвижную фигуру сидящаго и какъ будто видѣлъ все, что видѣлъ тотъ: лѣса, долины и синюю сталь озеръ, и чувствовалъ, какой долженъ быть чистый и свѣжій воздухъ, которымъ дышитъ тотъ. И ему казалось, что среди величавыхъ залъ, уходящихъ, какъ небо, потолоковъ, съ окнами, изъ которыхъ видно полъ-міра, не можетъ быть тоски и печальныхъ размышленій. И самое главное и наиболѣе удивительное видѣлъ онъ: онъ видѣлъ человѣка, смѣшно подвернувшего подъ себя ногу и выставившаго подошву сапога такъ же, какъ Сергѣй Петровичъ подвернулъ бы ее подъ себя на его мѣстѣ, и человѣкъ этотъ дышалъ горнымъ воздухомъ и могъ ходить по величавымъ заламъ. Съ внезапнымъ порывомъ гнѣвной тоски Сергѣй Петровичъ скрипнулъ зубами и сунулся впередъ, точно желая сбросить въ пропасть неподвижно сидящаго человѣка, и больно стукнулся бровями и носомъ о рамки стеколъ. И ему стало стыдно при мысли, что гнѣвъ его

напускной и рассчитанный именно на существованіе рамокъ, а что если бы человѣка этого онъ видѣлъ въ дѣйствительности, онъ не осмѣлился бы коснуться его пальцемъ. Робкій и смирный, содрогавшійся отъ вида зарѣзанной курицы, не былъ способенъ онъ и на гнѣвъ.

Когда Сергѣй Петровичъ вышелъ изъ помѣщенія панорамы на кривой и горбатый московскій переулокъ, съ котораго дворники счищали снѣгъ, а извозчики мѣсили его полозьями, онъ подумалъ, что нѣтъ такихъ фактовъ, съ которыми долженъ мириться человѣкъ.

За природой слѣдовала музыка, искусство во всѣхъ его видахъ, какіе доступны были пониманію Сергѣя Петровича и могли наполнить его жизнь и сдѣлать ее интересною и разнообразною. За ними шла женская любовь, которой жаждало его сердце. Въ концертахъ, въ театрахъ и на улицѣ онъ видѣлъ породисто-красивыхъ женщинъ, полныхъ изящества и благородства, и хотѣлъ ихъ любви. Одну изъ нихъ онъ запомнилъ, встрѣчая ее нѣсколько разъ, и мечталъ о ней, а она ни разу не подняла на него своихъ глазъ и не знала объ его существованіи. Ему было противно воспоминаніе о любви дѣвушки, которая полола гряды и отъ которой пахло навозомъ и потомъ, и противна мысль о другихъ такихъ же грубыхъ женщинахъ, которыя будутъ любить его и говорить съ нимъ о рубляхъ и ненавистномъ трудѣ. Ему до боли хотѣлось любви этой женщины, имени которой онъ не зналъ, и которая не понимаетъ всего того, что мучаетъ его и ему подобныхъ. И какъ человѣкъ, никогда не имѣвшій денегъ, онъ думалъ, что онъ могутъ дать ему любовь, и какъ человѣкъ, не знавшій женской любви, думалъ, что она можетъ дать ему счастье.

Въ это именно время Сергѣй Петровичъ поѣхалъ къ женщинамъ, гдѣ встрѣтили его товарищи, и намѣренно не сталъ пить, чтобы яснѣе сознать то, что приходится въ этомъ мірѣ на долю его и ему подобныхъ.

Чѣмъ больше вглядывался Сергѣй Петровичъ въ жизнь, тѣмъ безсильнѣе и ничтожнѣе становилась въ его глазахъ природа, безумно разсыпая свои дары. И на мѣсто униженной природы передъ его тусклыми глазами вставала другая грозная и могучая сила—деньги. Ослѣпленный, потерявшійся, онъ сталъ думать, что онъ властвуютъ и надъ природой. И слабый мозгъ его поддался обману, и въ сердцѣ зажглася надежда. Онъ вынималъ изъ кармана серебрянный рубль и вертѣлъ его въ рукахъ съ чувствомъ страннаго любопытства и недоумѣнія, точно впервые видѣлъ этотъ блестящій кружокъ. Они не съ неба валятся, эти кружки, и онъ приобрѣлъ его и можетъ еще приобрѣсть много. И тогда въ его рукахъ будетъ могучая сила, властвующая надъ природой. И какъ всякій человѣкъ, у котораго мелькнула надежда, онъ сталъ думать не о возможности ея осуществленія, а о томъ, что будетъ дѣлать онъ, когда надежда осуществится. И эти нѣсколько дней были отдыхомъ для Сергѣя Петровича, и онъ поднялся вверхъ, чтобы сильнѣе потомъ расшибиться о землю и уже не встать. Онъ взялъ даннымъ то, что у него уже есть миллионъ, и мечталъ о морѣ, о горахъ и о женщинѣ, имени которой онъ не зналъ, и которая не подозрѣвала объ его существованіи.

Но невозможно было остановить мысль, когда она начала работать, и когда ее гнали такой жгучій кнутъ, какъ видѣніе сверхчеловѣка, того, кто полноправно владѣетъ силою, счастьемъ и свободой. И когда оно мелькнуло передъ утомленными глазами Сергѣя Петровича, онъ удивился, что, какъ и прежде, онъ отдается неосуществимымъ и дѣтскимъ мечтамъ. Было много путей къ деньгамъ, но передъ каждымъ стояла рогатка и не пускала Сергѣя Петровича. Онъ не могъ украсть, какъ не могъ и убить, такъ какъ не мозгъ, а чужая, невѣдомая воля управляла его поступками. Тотъ трудъ, который былъ доступенъ ему, не могъ дать богатства,



а все другое,—игра на биржѣ, фабрика, служба съ крупными окладами, искусство, женитьба на богатой, все то, что дозволяется закономъ и совѣстью и даетъ состояніе въ одинъ день или въ годъ,—такъ же не существовало для него, какъ и умъ. И когда Сергѣй Петровичъ понималъ, что деньги не исправляютъ несправедливостей природы, а углубляютъ ихъ, и что люди всегда добиваются того, кто уже раненъ природой, — отчаяніе погасило надежду, и мракъ охватилъ душу. Жизнь показалась ему узкою клѣткою, и часты и толсты были ея желѣзные прутья, и только одинъ незапертый выходъ имѣла она.

И тогда новый періодъ начался въ жизни Сергѣя Петровича. Онъ никуда не выходилъ изъ дому и бывалъ только въ столовой, являясь туда почти къ самому ея закрытію, чтобы не встрѣтить кого-нибудь изъ знакомыхъ студентовъ. День и ночь онъ лежалъ на постели или ходилъ, и сосѣди и хозяйка уже успѣли привыкнуть къ однообразному звуку шаговъ, какой иногда слышится изъ тюремныхъ камеръ: разъ-два-три впередъ и разъ-два-три назадъ. На столѣ лежала книга, и, хотя она была закрыта и запылена, изнутри ея гремѣлъ спокойный, твердый и безпощадный голосъ:

„Если жизнь не удастся тебѣ, если ядовитый червь пожираетъ твое сердце, знай, что удастся смерть“.

## V.

Разъ нельзя побѣдить, нужно умереть. И Сергѣй Петровичъ рѣшилъ умереть и думалъ, что смерть его будетъ побѣдой.

Мысль о смерти не была новою: она приходила къ нему и раньше, какъ приходитъ и ко всякому человѣку, у котораго на пути много камней, но была такъ же оезплодна и бездѣтельна, какъ и мечты о миллионѣ.

Теперь же она явилась у Сергѣя Петровича, какъ рѣшеніе, и смерть стала не желаемымъ, чего можетъ и не быть, а неизбѣжнымъ, такимъ, что произойдетъ непременно. Изъ клѣтки открывался выходъ, и хотя онъ велъ въ неизвѣстность и мракъ, это было безразлично для Сергѣя Петровича. Онъ смутно вѣрилъ въ новую жизнь и не страшился ея, такъ какъ только свободное я, которое не зависитъ ни отъ слабаго мозга, ни отъ вялаго сердца, унесетъ онъ съ собою, а тѣло достанется въ добычу землѣ, и пусть она творитъ изъ него новые мозгъ и сердце. И когда онъ ощутилъ въ себѣ спокойную готовность умереть—впервые за всю свою жизнь онъ испыталъ глубокую и горделивую радость, радость раба, ломающаго оковы.

„Я не трусь“,—сказалъ Сергѣй Петровичъ, и это была первая похвала, которую онъ отъ себя услышалъ и съ гордостью принялъ.

Казалось бы, что мысль о смерти должна была уничтожить всѣ заботы о жизни и о тѣлѣ, уже болѣе ни на что не нужномъ. Но съ Сергѣемъ Петровичемъ случилось обратное, и въ послѣдніе дни своей жизни онъ снова сталъ тѣмъ педантично аккуратнымъ и чистоплотнымъ человѣкомъ, какимъ былъ раньше. Его удивило, какъ могъ онъ столько времени оставлять въ безпорядкѣ свою комнату и столъ, и прибралъ его, разложилъ книги въ томъ порядкѣ, въ какомъ онѣ лежали всегда. Наверху онъ положилъ начатое для зачета сочиненіе,—впослѣдствіи оно перешло къ Новикову,—а особо—„Такъ сказалъ Заратустра“. Онъ даже не раскрылъ Ницше и былъ совершенно равнодушенъ къ книгѣ, которую, повидимому, не дочиталъ, такъ какъ карандашныя отмѣтки на поляхъ идутъ только до половины третьей части. Быть можетъ, онъ боялся, что найдетъ тамъ что-нибудь новое и неожиданное, и оно разрушитъ всю его мучительную и долгую работу, оставившую впечатлѣніе яркаго и страшнаго сна.

Потомъ Сергѣй Петровичъ сходилъ въ центральныя бани, съ наслажденіемъ плавалъ въ холодномъ бассейнѣ и, встрѣтивъ на улицѣ товарища-студента, зашелъ съ нимъ въ портерную „къ нѣмцу“, гдѣ выпилъ бутылку пива. Дома, порозовѣвшій, чистый, въ бѣлой полотняной рубашкѣ, онъ долго сидѣлъ за чаемъ съ малиновымъ вареньемъ, потомъ попросилъ у хозяйки иголку и сталъ чинить свою форменную тужурку. Она была уже старая и узкая, и постоянно рвалась подъ мышками, и Сергѣю Петровичу уже не разъ приходилось чинить ее. Его толстые и неловкіе пальцы съ трудомъ ловили маленькую иголку, терявшуюся въ гниломъ сѣромъ сукнѣ. Нѣсколько дней Сергѣй Петровичъ посвящалъ на приготовленіе ціанистаго кали и, когда ялъ быть готовъ, съ удовольствіемъ посмотрѣлъ на маленькой пузырькѣ, думая не о смерти, которая заключается въ немъ, а объ успѣшно выполненной работѣ. Хозяйка, маленькая, черненькая женщина, бывшая содержанка, повидимому, что-нибудь подозрѣвала, потому что очень обрадовалась, когда Сергѣй Петровичъ обнаружилъ признаки возвращенія къ обычной трудовой жизни. Она пришла въ его комнату и долго болтала на ту тему, какъ скверно дѣйствуетъ на молодыхъ людей одиночество, и рассказала объ одномъ своемъ знакомомъ, который былъ околоточнымъ надзирателемъ и имѣлъ доходы, но отъ мрачнаго своего характера сталъ пить водку и попалъ на Хитровку, гдѣ теперь пишетъ за рюмку водки прошенія и письма. Эту исторію объ околоточномъ надзирателѣ она рассказывала впослѣдствіи всѣмъ приходившимъ студентамъ и добавляла, что уже тогда она замѣтила сходство въ судьбѣ своего знакомаго и Сергѣя Петровича.

— Заходите ко мнѣ чайку попить,—приглашала она Сергѣя Петровича, безъ всякой, однако, задней мысли.— Да къ товарищамъ бы прошлись, а то что это: ни къ вамъ кто-нибудь, ни вы куда.

Сергѣй Петровичъ послѣдовалъ ея совѣту и обошелъ почти всѣхъ своихъ товарищей, но нигдѣ подолгу не оставался.

Впослѣдствіи студенты увѣряли, что начавшееся безуміе Сергѣя Петровича уже ясно обнаруживалось, и удивлялись, какъ они тогда же не замѣтили его. Обычно молчаливый и застѣнчивый даже со своими, Сергѣй Петровичъ на этотъ разъ болталъ о всякихъ пустякахъ, а о Новиковѣ вспоминалъ и говорилъ, какъ равный, и даже упрекнулъ его въ поверхностности. При этомъ Сергѣй Петровичъ былъ веселъ и часто смѣялся. Одинъ молоденькій студентъ передавалъ, что Сергѣй Петровичъ даже пѣлъ, но въ этомъ уже всѣ замѣтили преувеличеніе. Но всѣ единогласно находили, что странность какая-то въ Сергѣѣ Петровичѣ несомнѣнно существовала, и не замѣтили ея тогда же только потому, что вообще на Сергѣя Петровича вниманія обращали мало. И по поводу этого недостатка вниманія нѣкоторые, особенно рѣзко осуждавшіе равнодушіе и эгоистичность товарищей, возбудили интересный вопросъ: возможно ли было спасеніе для Сергѣя Петровича въ этотъ рѣшительный моментъ его жизни? и находили, что спасеніе было исполнѣ возможно, но не воздѣйствіемъ на него другого—сильнаго—ума, а вліяніемъ близкаго человѣка, матери или женщины, которая любила бы его. Полагали, что всѣ эти дни Сергѣй Петровичъ находился въ состояніи умственной тупости, схожей съ гипнотическимъ сномъ, когда надъ волею безраздѣльно господствуетъ своя или чужая идея. Ее нельзя было ослабить разсужденіями, но Сергѣя Петровича могла разбудить любовь. Крикъ матери, идущій отъ ея сердца, видъ лица, которое такъ дорого и мило, и на которомъ съ дѣтства знакома каждая морщинка, ея слезы, которыя невыносимо видѣть даже огрубѣвшему человѣку,—все это могло бы призвать Сергѣя Петровича къ сознанію дѣйствительности. Человѣкъ добрый и честный, онъ не осмѣлился бы ввести

смерть въ материнское сердце и остался бы жить если не для себя, то для другихъ, любящихъ его. Многихъ малодушныхъ, уже рѣшавшихся на самоубійство, удерживало на землѣ сознаніе, что они нужны для любящихъ ихъ, и они долго еще жили, укрѣпляясь въ мысли, что болѣе храбрости требуется для жизни, нежели для смерти. А еще болѣе бывало такихъ, которые забывали причины, побудившія ихъ на самоубійство, и даже жалѣли, что жизнь такъ коротка.

И съ новымъ ожесточеніемъ одни изъ товарищей нападали на другихъ и рѣзко упрекали ихъ въ возмутительномъ равнодушіи. Какая-нибудь телеграмма въ десятокъ словъ, отправленная къ матери Сергѣя Петровича, могла бы сохранить человѣческую жизнь. Нѣкоторыхъ изъ студентовъ, всегда выдвигавшихъ впередъ общественную точку зрѣнія, настоящій случай навелъ на размышленія и разговоры о разъединенности студенчества, отсутствіи общихъ интересовъ и умственномъ одиночествѣ. Возникло на короткое время нѣсколько кружковъ саморазвитія, гдѣ читались книги по общественнымъ вопросамъ, и писались рефераты.

Убить себя Сергѣй Петровичъ рѣшилъ въ пятницу, 11 декабря, когда многіе изъ товарищей уже собирались уѣзжать на рождественскія каникулы. Въ этотъ день, утромъ, онъ былъ въ почтовомъ отдѣленіи, гдѣ сдать въ отдѣлѣ заказной корреспонденціи тяжелое письмо, адресованное въ Смоленскъ, Новикову, и полученную квитанцію спряталъ въ бумажникъ. Въ письмѣ онъ общалъ о своей смерти и о причинахъ ея, причемъ послѣднія излагалъ по рубрикамъ, и все письмо производило такое впечатлѣніе, какъ будто онъ писалъ не о себѣ, а о другомъ какомъ-то мало для него интересномъ человѣкѣ. Днемъ Сергѣй Петровичъ пообѣдалъ въ комитетской столовой, причемъ за обѣдомъ сидѣлъ очень долго и разговаривалъ со знакомыми, а послѣ обѣда спалъ также очень долго и крѣпко, такъ что всталъ

только въ одиннадцатомъ часу. Ему подали самоваръ, и студенты за стѣною снова услышали однообразный звукъ шаговъ: разъ-два-три впередъ и разъ-два-три назадъ. Когда уже поздно ночью заспанная горничная убирала самоваръ и посуду, Сергѣй Петровичъ говорилъ съ нею, точно желая, чтобы она подольше не уходила, и былъ при этомъ, по ея словамъ, очень блѣденъ.

...Сергѣй Петровичъ никакъ не ожидалъ того, что произойдетъ съ нимъ въ этотъ вечеръ, который онъ считалъ послѣднимъ въ своей жизни. Онъ былъ совершенно спокоенъ и веселъ и не думалъ о смерти, какъ и всѣ эти дни. Думать о ней онъ началъ только за часъ или за два до того момента, какъ принять ядъ. И мысли приходили откуда-то издалека, отрывочныя и глухія. Сперва онъ подумалъ о хозяйкѣ, которая завтра увидитъ его трупъ и испугается, и далѣе о томъ, какъ онъ будетъ лежать и какой будетъ имѣть видъ. На минуту мысль его скакнула въ сторону, къ воспоминаніямъ дѣтства, именно къ смерти его дяди. Онъ умеръ у нихъ въ домѣ, и Сергѣя Петровича, тогда еще семилѣтняго Сережу, увезли къ знакомымъ. Проходя передней, уже одѣтый, онъ заглянулъ въ залъ и видѣлъ тамъ столъ, за которымъ они всегда обѣдали, а на столѣ обращенныя къ нему неподвижныя ступни ногъ въ бѣлыхъ нитяныхъ носкахъ. Видѣлъ онъ ихъ одну секунду, но запомнилъ на всю жизнь, и сама смерть долго представлялась ему не иначе, какъ въ видѣ неподвижныхъ ступней ногъ въ бѣлыхъ нитяныхъ носкахъ. Потомъ онъ вспомнилъ сравнительно недавній случай, когда онъ видѣлъ однѣ очень бѣдныя и очень странныя похороны. Станнымъ въ нихъ было то, что никто рѣшительно на всей улицѣ, ни прохожіе, ни извозчики не обращали на нихъ вниманія и даже какъ будто совсѣмъ не видѣли ихъ, такъ какъ никто не снялъ шапки. Четыре носильщика несли на носилкахъ гробъ, прикрытый чѣмъ-то темнымъ, и шагали въ ногу и такъ

быстро, что гробъ раскачивался, словно на волнахъ, и край покрывала отдувался при опусканіи. И не было видно ни духовенства, ни провожатыхъ.

Когда отъ этихъ воспоминаій мысль вернулась къ Сергѣю Петровичу, она стала удивительно острой, точной и свѣтлой, какъ ножъ, который отточили. Еще минутой она въ нерѣшимости колебалась, отмѣчая окружающую тишину, погасшіи самоваръ, тиканье карманныхъ часовъ на столѣ, и внезапно, точно найдя, что ей нужно, вытѣпила картинку похоронъ Сергѣя Петровича, такую правдивую, яркую и страшную, что онъ вздрогнулъ, и руки его похолодѣли. Съ тою же неумолимою, ужасающею правдивостью она одинъ за другимъ набрасывала послѣдующіе моменты: черную, кривую пасть могилы, твердый и тѣсный гробъ, позеленѣвшія пуговицы мундира и процессъ разложенія трупа. И похоже было, что это не Сергѣй Петровичъ думаетъ, а чья-то гигантская рука быстро проволакиваетъ передъ нимъ самое жизнь и смерть въ ихъ непередаваемыхъ краскахъ.

И Сергѣй Петровичъ проснулся. Ему было такъ страшно, что хотѣлось кричать, и онъ съ ужасомъ смотрѣлъ на маленькій пузырекъ и пятился отъ него, точно боясь, что ему насильно вольютъ въ ротъ смертельную отраву. И больше всего въ мірѣ боялся онъ сейчасъ самого себя—того ужаснаго неповиновенія, которое оказывали ему ноги и руки. Онъ пятился назадъ, а все тѣло его содрогалось отъ порывовъ впередъ, къ пузырьку. Ноги, руки, ротъ въ самыхъ, казалось, костяхъ и венахъ своихъ наполнялись страстнымъ, безумно повелительнымъ желаніемъ броситься впередъ, схватить пузырекъ и выпить его съ наслажденіемъ, съ жадностью.

— Не хочу, не хочу!—шепталъ Сергѣй Петровичъ и отталкивался руками, и пятился назадъ, но ему казалось, что онъ приближается къ пузырьку, который

растетъ въ его глазахъ. И когда дверь остановила его, онъ пересталъ видѣть передъ собою, вскрикнулъ и сдѣлалъ шагъ впередъ.

Въ эту минуту вошла горничная за самоваромъ и долго собирала посуду, которую она плохо различала сонными глазами.

— Когда васъ будить?—спросила она, уходя.

Сергѣй Петровичъ остановилъ ее и заговорилъ, но не слыхалъ ни своихъ вопросовъ, ни ея отвѣтовъ. Но когда онъ опять оказался одинъ, въ мозгу его осталась эта фраза: „Когда васъ завтра будить?“—и звучала долго, настойчиво, пока Сергѣй Петровичъ не понялъ ея значенія.

Онъ понялъ, что, какъ и всѣ, онъ можетъ раздѣться и лечь спать, и его разбудятъ завтра, когда настанетъ новый день. Онъ обязательно настанетъ, этотъ новый день, и Сергѣй Петровичъ будетъ жить, какъ и всѣ, потому что онъ не хочетъ умирать и не умереть, и никто не можетъ принудить его взять пузырекъ и выпить. Все еще дрожа, онъ взялъ пузырекъ, нарочно открылъ его, ощутилъ запахъ горькаго миндаля и тихонько, слегка вздрагивающей рукой, поставилъ на полку, гдѣ его не было видно за книгами. Теперь, когда пузырекъ побылъ въ его рукахъ и онъ не умеръ, онъ уже не боялся ни его, ни себя.

Когда Сергѣй Петровичъ легъ въ постель, ему казалось, что спасенная жизнь радуется во всѣхъ малѣйшихъ частицахъ его тѣла, пригрѣтаго одѣяломъ. Онъ вытягивалъ ноги, руки, чуть не совершившія преступленія, и въ нихъ чудилось что-то сладко поющее тоненькимъ, веселымъ голоскомъ, какъ будто кровь радовалась и пѣла, что не стала она осклизлой, гниющей массой, а струится веселая и красная, по широкимъ и свободнымъ путямъ. И такая же веселая, она переполняла сердце, и оно пѣло вмѣстѣ съ нею и торжествующе отбивало свой гимнъ жизни.



„Жить! Жить!“—думалъ Сергѣй Петровичъ, сгибая и разгибая послушные, гибкіе пальцы. Пусть онъ будетъ несчастнымъ, гонимымъ, обездоленнымъ; пусть всѣ презираютъ его и смѣются надъ нимъ; пусть онъ будетъ послѣднимъ изъ людей, ничтожествомъ, грязью, которую стряхиваютъ съ ногъ,—но онъ будетъ жить, жить! Онъ увидитъ солнце, онъ будетъ дышать, онъ будетъ сгибать и разгибать пальцы, онъ будетъ жить... жить! И это—такое счастье, такая радость, и никто не отниметъ ея, и она будетъ продолжаться долго, долго... всегда! Безконечное множество дней впереди зажигаютъ свою зорю, и въ каждый изъ нихъ онъ будетъ жить, жить! И тутъ впервые за много дней Сергѣй Петровичъ вспомнилъ отца и мать и ужаснулся, и умилился. Онъ мысленно цѣловалъ морщины, по которымъ должны были скатиться слезы, и сердце его разрывалось отъ ликующаго побѣднаго крика: я живу, живу! И когда онъ заснулъ легкимъ, радостнымъ сномъ, послѣднимъ ощущеніемъ былъ соленый вкусъ слезы, омочившей губы.

День былъ морозный, и солнце свѣтило, когда Сергѣй Петровичъ проснулся. Онъ долго не понималъ, почему постель сдѣлана, какъ всегда, и онъ лежитъ въ ней живой, тогда какъ вчера онъ долженъ былъ умереть. Голова немного болѣла, и все тѣло ныло, какъ послѣ сильныхъ побоевъ. Постепенно, мысль за мыслью, онъ вспомнилъ все, что прошло вчера въ его головѣ, и не понималъ, почему онъ такъ сильно испугался, и что было страшнаго во всемъ томъ, что онъ зналъ всегда и десятки разъ представлялъ себѣ. Смерть, похороны, могила... Ну, а какъ же можетъ иначе быть, если человѣкъ умираетъ? Конечно, его хоронятъ и для этого выкапываютъ могилу, и въ могилѣ трупъ разлагается. И еще разъ онъ внимательно и недовѣрчиво вглядѣлся во вчерашнія страшныя представленія, но они были совсѣмъ блѣдныя и тусклыя и все болѣе блѣднѣли, какъ это бываетъ съ видѣніями сна, которыя такъ ярки въ

первую минуту пробужденія и такъ скоро и безслѣдно стираются живыми впечатлѣніями дѣйствительности и дня. И въ картинахъ смерти не было ничего страшнаго, и радость жизни представлялась непонятною и дикою.

И, какъ разгадка всего, мелькнула мысль, что онъ, Сергѣй Петровичъ,—трусъ и бахвалъ.

Онъ вспомнилъ про посланное къ Новикову письмо, въ которомъ онъ сообщаетъ о своей смерти, какъ о совершившемся фактѣ,—и покраснѣлъ отъ стыда, почувствовалъ, что рѣшеніе умереть стоитъ въ немъ такое же неизмѣнное, спокойное и неотвратимое, какъ и вчера, когда онъ еще не поддавался приступу малодушнаго и непонятнаго страха. Страхъ исчезъ, но жгучій стыдъ медлилъ уходить,—и всѣми силами измученной души Сергѣй Петровичъ возмутился противъ исчезнувшаго страха, этого позорнѣйшаго звена на длинной и тяжелой цѣпи раба. Равнодушная, слѣпая сила, вызвавшая Сергѣя Петровича изъ темныхъ нѣдръ небытія, сдѣлала послѣднюю попытку заковать его въ колодки, какъ трусливаго бѣглеца—неудачника, и хотъ на нѣсколько часовъ, но это удалось ей.

Съ новою силою вспыхнулъ жгучій стыдъ, и пламя его испепелило самую память о минутномъ приступѣ страха. И когда потухло его зарево, исчезла и тупая, ноющая боль тѣла, и все оно стало легкимъ, почти неуловимымъ. Перестала болѣть и голова, и мозгъ заработалъ съ безумной быстротой и такою силой и ясностью, какъ это случается только при горячкѣ. Губы содрогались отъ желанія говорить, и на языкъ приходили слова, какихъ никогда не употреблялъ Сергѣй Петровичъ и не зналъ. И онъ говорилъ, что если онъ останется жить теперь, онъ возненавидитъ себя, и ему придется выпить такую полную чашу самопрезрѣнія, передъ которой ядъ кажется нектаромъ. Его я, то независимое и благородное я, которое на мигъ почувство-

вало себя побѣдителемъ и испытало безмѣрную радость торжества смѣлаго духа надъ слѣпой и деспотической матеріей, убѣтъ его, если не убѣтъ ядъ. И Сергѣю Петровичу казалось, что онъ чувствуетъ въ себѣ мощный ростъ этого я, чувствуетъ, какъ поднимается оно въ высь, и громовые раскаты его голоса заглушаютъ жалкій пискъ тѣла, сильнаго только ночью. Пусть сгибаются тѣ, кто хочетъ, а онъ ломаетъ свою желѣзную клѣтку. И, жалкій, тупой, и несчастный человѣкъ, въ эту минуту онъ поднимается выше геніевъ, королей и горъ, выше всего, что существуетъ высокаго на землѣ, потому что въ немъ побѣждаетъ самое чистое и прекрасное въ мірѣ—смѣлое, свободное и безсмертное человеческое я! Его не могутъ побѣдить темныя силы природы, оно господствуетъ надъ жизнью и смертью—смѣлое, свободное и безсмертное я!

То, что испытывалъ Сергѣй Петровичъ, было похоже на горделивый и безпорядочный бредъ маніи величія, какъ думали нѣкоторые, читавшіе третье письмо его къ Новикову, выдержки изъ котораго мы привели. Писалъ онъ его, не одѣваясь, на клочкѣ бумаги, оказавшемся счетомъ отъ прачки, и попало онъ къ Новикову послѣ долгихъ мытарствъ, побывавъ въ полиціи и у мирового судьи. Тутъ же, не отходя отъ стола, онъ выпилъ и ядъ, и когда пришла горничная съ самоваромъ, Сергѣй Петровичъ былъ уже безъ сознанія. Растворъ яда оказался приготовленнымъ неумѣлыми руками и слабымъ, и Сергѣя Петровича поспѣли отвезти въ Екатерининскую больницу, гдѣ онъ скончался только къ вечеру.

Телеграмма къ матери Сергѣя Петровича запоздала, и она пріѣхала уже послѣ похоронъ. Студенты, вызвавшіе ее, находили, что это къ лучшему, такъ какъ въ гробу, съ вскрытымъ и опорожненнымъ черепомъ и пятнами на лицѣ, Сергѣй Петровичъ былъ очень не-

хорошъ и даже страшенъ, и могъ произвести тяжелое впечатлѣніе. И все, что она нашла отъ своего сына, заключалось въ книгахъ и подержаномъ платьѣ, среди котораго была и заношенная тужурка, разорванная подъ мышками и свѣже починенная.

24—23 февраля 1900 г.



## НА РЪКЪ.

Алексѣй Степановичъ, машинистъ при Буковской мельницѣ, среди ночи проснулся, не то уже выпавшись, такъ какъ наканунѣ онъ завалился спать съ восьми часовъ, не то отъ ровнаго шума дождя по желѣзной крышѣ, отъ котораго онъ отвыкъ за семь зимнихъ мѣсяцевъ. Рамы въ окнахъ уже были выставлены, и звукъ приносился густой и отчетливый, точно надъ желѣзомъ крыши опрокинули мѣшокъ съ горохомъ, и сквозь этотъ шумъ едва пробивалось мягкое и задумчивое бульканье. Алексѣй Степановичъ засвѣтилъ огонь и, накинувъ пальто, выглянулъ наружу. Было такъ темно, что въ первую минуту онъ не могъ разсмотрѣть ракиты, которая стояла какъ разъ у входа. Грохотъ дождя на крышѣ сталъ глуше, но бульканье усиливалось; и Алексѣй Степановичъ понялъ, что капли дождя попадаютъ въ воду, и удивился, откуда она взялась у его домика, стоявшаго на бугоркѣ. Постепенно тѣма начала двигаться передъ глазами и собираться въ черныя пятна, похожія на провалы въ темно-сѣромъ полотнѣ. Вотъ темною полосою вытянулась ракета; за нею чернымъ пятномъ всталъ баракъ, въ которомъ находится потухшій паровикъ; дальше, какъ туча съ причудливыми краями, расплывался высокій четырехэтажный корпусъ мельницы. Одно окно, подъ крышей, слабо свѣтилось, и прямо подъ

ипмъ, въ самомъ низу, смутно колебалось и двигалось на одномъ мѣстѣ свѣтлое пятно.

— Ого, куда подошла!—подумалъ про воду Алексѣй Степановичъ съ тѣмъ пріятно-жуткимъ чувствомъ, съ какимъ люди встрѣчаютъ проявленіе грозной силы природы. Набросивъ пальто на голову, онъ обошелъ по ледяному, еще не стаявшему пласту вокругъ своего домика и заглянулъ за уголъ, туда, гдѣ находилась рѣка, а за нею, на противоположномъ берегу, раскидывались послѣдніе домишки Стрѣлцкой слободы. Но теперь не видно было ничего, точно міръ кончался въ двухъ шагахъ отъ Алексѣя Степановича, а дальше былъ бездонный провалъ, и тамъ не слышалось ни звука и не видѣлось ни огонька, ни свѣтлаго пятна. Дождь шлепалъ гдѣ-то вблизи, а изъ черной пропасти подувало легкимъ вѣтеркомъ, несло свѣжестью и тиной и неуловимымъ запахомъ льда, воды и навоза. Алексѣю Степановичу почудился крикъ; онъ долго вслушивался и даже снялъ пальто съ головы, но только дождь нарушалъ зловѣщую тишину, обнявшую рѣку. Очевидно, онъ ошибся.

И снова то непріятное, что не оставляло Алексѣя Степановича всю страстную недѣлю, завозилося въ его душѣ и отняло у ночи ея жуткую прелесть. Онъ обругалъ дождь, скользкія ледяной пласть, свою маленькую одинокую комнатку, мельника Никиту, храпѣвшаго въ кухнѣ, и повалился на кровать, опротивѣвшую за шесть дней непрерывнаго лежанья, отъ котораго кости ломило больше, чѣмъ отъ работы. Противно было все, что въ немъ и что вокругъ него. Шесть дней онъ не умывался и не причесывалъ волосъ; Никита всегда вносилъ на сапогахъ грязь; въ окна глядѣло сѣрое, тусклое небо, и все это создавало ощущеніе чего-то нечистаго, безпорядочнаго. И такими же нечистыми казались и мысли. Въ началѣ поста стрѣльцы избили его за ильманинскую Дашу, и онъ двѣ недѣли пролежалъ въ больницѣ и поссорился изъ-за этого съ управляющимъ; а когда выписался и

съ револьверомъ въ карманѣ прошелся по слободѣ, Даша отвернулась, а проклятые ребята прыгали вокругъ на одной ножкѣ и пѣли: „Баринокъ, а баринокъ, зачѣмъ корявую утку съѣлъ?“ Онъ грозно смотрѣлъ на встрѣчныхъ, ожидая косого взгляда, чтобы завязать драку, но всѣ потупляли глаза, а за спиной чей-то угрюмый голосъ пробурчалъ:

— Попрыгай, попрыгай! Авось допрыгаешься!

Разбойники эти стрѣльцы: стоятъ за своихъ дѣвокъ горой и никого со стороны не подпускаютъ: въ третьемъ году у одного телеграфиста гитару на кусочки разломали, а самого чуть струной не удавили. И всѣмъ Алексѣй Степановичъ чужой. Мельники за спиной смѣются и дразнятъ баринкомъ; настоящіе господа сторонятся и никогда руки не подаютъ. И Алексѣй Степановичъ то винилъ людей и жалѣлъ себя, то думалъ о своемъ характерѣ, гордомъ и неуступчивомъ, и думалъ, что все горе его жизни проистекаетъ отъ него самого. Но было одинаково тяжело и то, и другое и вызывало одинаковое чувство тошноты и скуки, которую хотѣлось сбросить съ себя, какъ тѣсное, неудобное и грязное платье. Крѣпкія мышцы и здоровое тѣло требовали труда и движенія, а онъ лежалъ, какъ колода, и чѣмъ больше лежалъ, тѣмъ противнѣе становился самому себѣ. Приходили такія мысли, что если бы кто-нибудь взялъ его за шиворотъ и выбросилъ на дворъ, онъ сдѣлалъ бы для него доброе дѣло. Долго ворочался и вздыхалъ Алексѣй Степановичъ и заснулъ только тогда, когда окно, до тѣхъ поръ не отдѣлявшееся отъ черныхъ стѣнъ, стало опредѣляться въ видѣ синяго четырехугольника.

— Степанычъ! Алексѣй Степанычъ!—будилъ его Никита, бѣлый отъ мучной пыли, вѣвшей въ лицо и полушубокъ,—Буде спать-то! Невѣсту проспишь.

У Никиты было круглое, безусое лицо, и онъ всегла смѣялся и со всѣми держался наравнѣ: съ Алексѣемъ Степановичемъ, самимъ Буковымъ и дѣвками, которыхъ

онъ соблазняетъ шутками, кумачною рубахою и подсол-  
пухами. Даже суровые стрѣльцы, и тѣ любили его и  
дрались съ нимъ, какъ съ равнымъ, а не били его  
гуртомъ.

— Глянь-ка, что вода-те дѣлаетъ!—продолжалъ Ни-  
кита.—Страсти!

Полный темными впечатлѣніями ночи, Алексѣй Сте-  
пановичъ неохотно повернулся отъ стѣны—и былъ ослѣп-  
ленъ яркимъ свѣтомъ, наполнявшимъ комнату. Въ окно  
падалъ золотой столбъ солнечнаго свѣта, и въ немъ  
весело поблескивалъ пыхтѣвшій самоваръ, а снаружи  
неслись бодрые звуки голосовъ и отчаянно звонкое щебе-  
танье воробьевъ. Никита, подававшій самоваръ, открылъ  
окно, и оттуда несло ароматнымъ тепломъ, ласкавшимъ  
горло и щекотавшимъ въ носу. Первый разъ за недѣлю  
выглянуло солнышко, и все радовалось ему.

— Ловко!—крикнулъ Алексѣй Степановичъ и боси-  
комъ подбѣжалъ къ окну, выходившему на рѣку. То,  
что онъ мелькомъ увидѣлъ, было такъ ново, интересно  
и весело, что онъ поспѣшно бросился натягивать брюки  
и высокіе сапоги, у колѣнъ стягивавшіеся ремешками.  
Пока онъ одѣвался, Никита сталъ подъ солнечные лучи,  
поднялъ лицо кверху и сладко зажмурилъ глаза. По-  
степенно лицо его стало дергаться, и брови валѣли на  
лобъ; еще разъ со свистомъ онъ втянулъ носомъ воз-  
духъ—и чихнулъ такъ громко и звучно, что на секунду  
не слышно стало воробьевъ.

— Вотъ, братъ, исторія,—сказалъ онъ, приводя носъ  
въ порядокъ и моргая глазами,—съ утра нынче чкаю.  
Какъ поднимешь морду въ упоръ солнца, такъ и чкнешь.

Алексѣй Степановичъ выскочилъ въ дверь, чуть не  
стукнувшись головой о нѣкую притолоку—и остано-  
вился: передъ самыми его ногами стояла вода, уже  
окружившая ракиту, и по ней тихоплыли и кружи-  
лись грязныя соломенки навоза, смытаго со двора. Въ  
заводи было тихо, и ракита уходила вверхъ и внизъ,



и отраженіе ея, со смягченными нѣжными красками, было красиво и воздушно. Снаружи еще сильнѣе чувствовалось сладостное тепло, и свѣтъ лился не только отъ солнца, но отъ всего сняго яркаго неба, а воробьи кричали, какъ пьяные. И на фонѣ ихъ немолчнаго крика остальные звуки выдѣлялись веселые и мелодичные. По двору, между тремя образовавшимися островами: мельницей, баракомъ и домикомъ Алексѣя Степановича, скользили двѣ большія и неуклюжія лодки, и мельники, бѣлые отъ муки, со смѣхомъ и шутками вылавливали поднятый водою тесъ. Желтыя доски спокойно лежали на водѣ, и увлекаемая незамѣтнымъ теченіемъ, поворачивались концами къ рѣкѣ. Ручеекъ, начинавшійся отъ стѣны домика, проточилъ себѣ ходъ въ ледяномъ паростѣ и тихонько вливался въ воду, журча мягко и скромно.

— Чисто въ крѣпости,—весело сказалъ Никита.—Теперь, братъ, шабашъ; коли не пріѣду за тобой съ лодкой, тутъ тебѣ и пропадать!

Лодка была тутъ же, привязанная къ болту отъ ставни. Алексѣй Степановичъ и Никита переправились на мельницу и вышли на галлерею, висѣвшую надъ рѣкой на высотѣ третьяго этажа. Тамъ уже собрался народъ, рабочіе и управительская семья, и женщины ахали и боялись подойти къ периламъ. Сухо поздоровавшись съ управляющимъ, толстымъ и рыжимъ мужчиною, Алексѣй Степановичъ сталъ смотрѣть на рѣку.

— Тридцать годовъ, бають старики, такой воды не было,—говорилъ пожилой мельникъ.—Бѣда народу-то.

— Къ утру спадетъ,—авторитетно отвѣтилъ управляющій.—Это вода не полая, дождевая. Снѣгъ-то уже весь потаялъ.

— Народу-то, я говорю,—бѣда,—продолжалъ мельникъ, смотря изъ-подъ ладони на катившуюся рѣку.—Для ради праздника-то.

Дѣйствительно, вода все такъ измѣнила, что Алексѣй Степановичъ долго не узнавалъ знакомой мѣстности. Недѣлю тому назадъ виднѣлись еще столбы отъ рухнувшей плотины, а теперь на ея мѣстѣ было такъ ровно и гладко, словно тутъ человѣкъ никогда и не пытался поставить преграду вольной стихіи. Противоположнаго берега не было совсѣмъ. Вода вливалась въ улицы и переулки слободы, отъ которой оставались однѣ крыши, словно самые дома ушли подъ землю. Между ними ползало двѣ-три лодки, и стоялъ такой крикъ, какой бываетъ на ночныхъ пожарахъ. Направо отъ слободы, по теченію, берегъ подымался горой, и на немъ сверкали стеклами и бѣлыми стѣнами городскія постройки, и виднѣлась темная полоса столпившагося на берегу народа. Какъ второе маленькое солнце, горѣлъ соборный крестъ. Налѣво, въ верстѣ, висѣлъ высоко надъ водою желѣзнодорожный мостъ, и по немъ тихо ползъ бѣлый клубочекъ дыма. Внизу, около самой насыпи, торчали изъ воды голыя верхушки деревьевъ, и одиноко чернѣла крыша.

Звонкіе голоса мельниковъ, ловившихъ доски, сіяніе неба и солнца, разноголосый крикъ на той сторонѣ, казавшійся также веселымъ подъ этимъ чистымъ небомъ, бѣлый клубочекъ дыма—все это создавало живую и радостную картину и наполняло душу бодростью и желаніемъ дѣятельности, такой же живой и веселой.

— Надоть бы лодку подать,—сказалъ пожилой мельникъ, протягивая руку къ затонувшей слободѣ.

— Вотъ управимся, ужъ дадимъ,—отвѣтилъ управляющій.

Вошелъ рабочій съ лицомъ радостнымъ и испуганнымъ, какъ у человѣка, который принесъ свѣжую и страшную новость, и еще издалека крикнулъ:

— Братцы, а воды-то прибываетъ!

И хотя это было дѣйствительно страшно для тѣхъ домишекъ, отъ которыхъ уже оставались однѣ крыши,

всѣмъ стало еще радостнѣе, и только пожилой мельникъ сердито оборвалъ:

— Буде вратъ-то!

— Ей-Богу! Я на палкѣ зарубку поставилъ. Покрыла!

Всѣ посмотрѣли на воду такъ, точно они видѣли ее въ первый разъ, и только теперь узнали, какой у нея коварный и грозный нравъ, и всѣ разомъ заговорили. Пожилой мельникъ тыкалъ пальцемъ по направленію слободы, управляющій соображалъ и перебиралъ на животѣ цѣпочку часовъ, а женщины требовали, чтобы ихъ успокоили и сказали, что вода не подойдетъ къ управительскому дому и службамъ, стоявшимъ высоко на горкѣ. Алексѣй Степановичъ еще разъ окинулъ взглядомъ рѣку и отправился къ себѣ. Самоваръ потухъ, и солнце уже отошло отъ окна, и только кусокъ бѣлой скатерти рѣзалъ глаза и бросалъ отсвѣтъ на стѣну. Но скоро потухъ и онъ, и сразу стало скучно и темно, какъ и вчера ночью. Алексѣй Степановичъ легъ на кровать и попробовалъ читать самоучитель французскаго языка, но чтеніе не шло. Крики на дворѣ стихли. Раза два входилъ Никита и сообщалъ, что одну лодку уже послали къ стрѣльцамъ, и что вода, кажется, подымается. Потомъ онъ подалъ постный, невкусный обѣдъ.

— Смотри, тебя тутъ не замочило бы,—сказалъ онъ, глядя, какъ машинистъ лѣниво полоскалъ ложку въ холодныхъ щахъ.—Къ порогу подошла.

Алексѣй Степановичъ молчалъ.

— Разговляться къ управителю пойдешь?—спрашивалъ Никита.

— Пошелъ ты съ нимъ къ чорту!

Никита разсмѣялся.

— Ну, вотъ, разсердился! Чудакъ! А я, братъ, сейчасъ тоже поѣду. Вторую лодку даемъ. У кузнеца Баранка хата развалилась, чуть не утопили всѣ.

Баранокъ былъ одинъ изъ тѣхъ, которые избили машиниста.

— Поѣдемъ, братъ, что слюни пускаешь!—продолжалъ Никита.—Я тебѣ тамъ такую покажу... у—ахъ!

Когда вторая лодка, съ Никитой на руль, уже отчаливала, Алексѣй Степановичъ высунулся изъ окна и крикнулъ:

— Погоди! Я съ вами!

Когда онъ входилъ въ лодку, ему было неловко: всѣ знали, что стрѣльцы избили его, и теперь должны были смѣяться, что онъ ѣдетъ къ нимъ на помощь. Но мельники были ласковы и смотрѣли на его участіе, какъ на дѣло самое простое и естественное, и никто даже и не вспомнилъ о дракѣ, которая не имѣла и не могла имѣть отношенія къ тому, что происходило сейчасъ. И когда они поплыли на середину рѣки, и мельница стала казаться маленькой и низенькой, словно опустившейся въ яму, Алексѣй Степановичъ забылъ о неловкости и весь ушелъ въ борьбу, отъ которой становилось легко и бодро. Лодку кружило и гнало внизъ, и весла скрипѣли въ уключинахъ; о бортъ стукнула маленькая льдипка, и повернувшись вокругъ себя, обошла лодку.

— Хорошо, что ледъ-то прошелъ,—сказалъ Никита, чувствовавшій себя бариномъ и склонный къ бесѣдѣ.

— Н-да,—отвѣтилъ одинъ изъ гребцовъ,—а то форменно бы счистило.

— Степанычъ! А отчего я теперь не чкаю? Морду подымешь, а не чкаешь... Ну, веселѣе, веселѣе, ребята! Налягай. Разъ!..

Въ залитыхъ улицахъ слободы вода стояла спокойная и глубокая, и только мѣстами лѣнливо кружились щепки и доски поломанныхъ заборовъ. Первые къ рѣкѣ чердаки были уже пусты и безмолвно глядѣли своими оконцами; по дальше, на Холодной улицѣ, гдѣ никто не ожидалъ воды и не принималъ никакихъ мѣръ, господствовала суматоха, и слышались визгливые женскіе голоса и плачь дѣтей. Нѣсколько лодокъ, подававшихъ помощь,

не успѣвали принимать и перевозить на сушу всѣхъ желающихъ, и спасатели не на животъ, а на смерть ругались все съ тѣми же бабами, совавшими въ лодку всякую рухлядь. Дѣти вертѣлись подъ ногами, высовывались, рискуя свалиться въ воду, изъ отверстій разломанныхъ крылъ, перекликались другъ съ другомъ, орали, когда ихъ била нетерпѣливая рука и, какъ мѣшки съ мукой, шлепались въ поданную лодку. Тамъ они сидѣли не шевелясь и таращили глаза, полные восторга: для нихъ, привыкшихъ съ дѣтства къ рѣкѣ, вся эта исторія казалась неожиданнымъ развлеченіемъ. Изъ щели одного чердака торчала надъ водой удочка съ подвязанной ниткой. Самого рыбака видно не было, но, судя по удивительному хладнокровію и настойчивости, онъ не могъ принадлежать къ старшему поколѣнію стрѣльцовъ.

Алексѣй Степановичъ причалилъ къ первому чердаку, откуда настойчиво звала лодку чья-то голая женская рука, и съ этой минуты уже ни о чемъ не думалъ. Онъ погружался во тьму чердаковъ, гдѣ наткался на балки и ударялся головой о стропила, и снова на мигъ выглядывалъ на свѣтъ, нагруженный всякимъ тряпьемъ, и эти тряпки казались ему такими же цѣнными, какъ и самимъ бабамъ. Вокругъ него кричали, голосили, спорили и ругались; передъ глазами мелькали бородатые и безбородые лица, всѣ знакомые и привѣтливые: теперь онъ уже не могъ бы разобрать, кто билъ его когда-то и кто не билъ. Шею его охватывали дѣтскія грязныя ручки, и къ плечу прижималось то испуганное личико дѣвочки, то восторженное и замазанное лицо мальчугана. Разъ въ его руку попала кукла,—картонная, съ проломаннымъ черепомъ, откуда лилась вода, когда куклу брали за ноги; какой-то сердитый и упрямый мальчуганъ сперва заставилъ его положить въ лодку ящикъ съ бабками, а потомъ уже согласился съѣсть и самъ. И когда, съ нагруженной по край лодкой, онъ пробирался по узкимъ переулкамъ, а то и прямо черезъ сады, по-

верхъ затопленныхъ заборовъ, и гибкія вѣтви деревьевъ съ разбухшими почками царапали его лицо, ему чудилось, что весь міръ состоитъ изъ спокойной, ласковой воды, яркаго, горячаго солнца, живыхъ и бодрыхъ криковъ и привѣтливыхъ лицъ. Онъ болталъ съ ребятами, успокаивалъ, утѣшалъ, распоряжался, и голосъ его самому ему представлялся полнымъ и звонкимъ, и временами думалось, что праздникъ, большой и свѣтлый, уже наступилъ и никогда не кончится. Случилось, что его лодка проходила мимо большого каменнаго дома, въ которомъ всѣ окна второго этажа были открыты, и у нихъ толпились женщины. Среди нихъ машинистъ узналъ Дашу и съ улыбкой поклонился, и она такъ же съ улыбкой отвѣтила и что-то крикнула. Онъ не разобралъ словъ, но по голосу понялъ, что это были какія-нибудь хорошія и ласковыя слова.

Чердакъ смѣнялся чердакомъ, и такъ какъ всѣ они были одинаково темны и убоги и похожи одинъ на другой, Алексѣй Степановичъ пересталъ различать ихъ и думалъ, что онъ возится все въ одномъ. И только потому, что путь до суши становился все короче, солнце стало свѣтить не такъ ярко, и они чаще попадали въ холодную тѣнь, онъ понималъ, что время идетъ къ вечеру, и работа, радостная и веселая, кончается. Промокшій, голодный, онъ жалѣлъ объ этомъ и боялся потерять то, что кружило теперь его голову, какъ вино, и озаряло душу смѣющимся свѣтомъ. До сихъ поръ онъ не зналъ, что любить людей и солнце, и не понималъ, почему они такъ измѣнились въ его глазахъ, и почему хочется ему и смѣяться, и плакать, глядя въ испуганное лицо дѣвочки или подставляя зажмуренные глаза солнечному лучу, желтому и теплomu. Точно онъ впервые открылъ искусство и наслажденіе дыханія, и то, что входило въ его грудь, было и свѣтъ, и тепло, и завтрашній праздникъ; и хотѣлось не думать, а только дышать—дышать безъ конца.

Когда они возвращались на мельницу, солнце заходило за мостомъ, почти не видномъ теперь въ этомъ пылающемъ кострѣ, и только высокая насыпь бросала длинную синюю тѣнь. Небо ушло въ высь, и между нимъ и водою было такъ много воздуха, простора и мягкаго тепла, и такъ далеко былъ городъ и затопленные берега, точно весь міръ раздвинулся въ ширь и въ высь и не хотѣлось входить въ низенькія компаты, гдѣ давятъ потолки. Мельники говорили о томъ, что было, и смѣялись надъ Никитой, который свалился въ воду и теперь сидѣлъ мрачный и синий отъ холода и думалъ о бабѣ, которую онъ обнялъ въ темнотѣ чердака, и которая дала ему по шеѣ. Шутить и Алексѣй Степановичъ, и мельники не удивлялись, что мрачный и гордый баринъ сталъ простымъ и обходительнымъ.

— Дома!—сказалъ мельникъ, когда лодка шарахнулась бокомъ о ракиту и стукнулась о порогъ домика.

Но и въ комнаткѣ Алексѣя Степановича, когда засвѣтился въ ней яркій огонекъ, и запѣлъ начищенный къ празднику самоваръ, стало весело и уютно. Алексѣй Степановичъ, возбужденный и разговорчивый, посадилъ съ собою Никиту, но тотъ мрачно выдулъ пять стакановъ чаю и, не смотря на уговоры, отправился вздремнуть до заутрени: его разморило свѣжимъ воздухомъ и работой.

— Ложись и ты,—посоветовалъ онъ машинисту.— Разбѣгался, чисто жеребенокъ. Къ управителю-то пойдешь?

— Пойду.

— То-то.

Алексѣй Степановичъ легъ на постель, заложивъ руки за голову, но черезъ нѣсколько минутъ вскочилъ. Его снова тянуло на просторъ и снова хотѣлось пережить весь этотъ дивный день съ самаго его начала—съ той минуты, когда блеснуло солнце въ глаза, отуманенные видѣніями ночи и тоски.

Стояла уже ночь, теплая, тихая, торжественная, полная звуочной тишины, когда Алексѣй Степановичъ вышелъ на галлерейку. Хлюпала вода, покачивая лодки, и звѣзды дрожали на ея зыбкой поверхности. Еще шире, еще полнѣе сталъ міръ, и не видѣлось конца водѣ, удивившей въ прозрачную тьму. Слобода скрылась совсѣмъ, и только далекій городъ мерцалъ и повторялся въ рѣкѣ огоньками, такими живыми и теплыми, такъ непохожими на безжизненное сіяніе звѣздъ. Еле слышанный допесся грохотъ экипажа по мостовой и сразу смолкъ, точно экипажъ остановился или свернулъ за уголъ; но долго еще ухо ловило его отголоски. Налѣво, тамъ, гдѣ находился невидимый теперь мостъ, горѣлъ зеленый огонекъ, похожій на низко опустившуюся звѣзду. Алексѣй Степановичъ оперся на перила и долго смотрѣлъ на городъ, гдѣ онъ чувствовалъ живыхъ людей, предпраздничную веселую работу и сутолоку. Совсѣмъ ясно представлялись ему прибранные уютныя комнаты, въ которыхъ пахнетъ сыростью отъ вымытыхъ половъ, бѣлыя кисейныя занавѣски, красныя и зеленыя лампадки передъ сіяющими образами и сдержанный веселый говоръ людей, одѣвающихъ въ свое лучшее платье—все то, чтó видѣлъ онъ въ дѣтствѣ.

И снова, какъ и вчера ночью, ему послышался крикъ о помощи.

Алексѣй Степановичъ впился глазами въ темноту, глядѣлъ и слушалъ такъ внимательно напряженно, что въ ухахъ зашумѣла кровь, но крикъ не повторялся.

— Опять почудилось,—подумалъ Алексѣй Степановичъ, какъ вдругъ тамъ, гдѣ зеленѣлъ желѣзнодорожный фонарь, внизу, мелькнулъ слабый и робкій огонекъ и тотчасъ погасъ. И машинистъ вспомнилъ ту одинокую черную крышу, которую онъ замѣтилъ еще утромъ, и свою мысль о безвыходности заключенныхъ подъ этой крышей,—мысль, мелькнувшую тогда же утромъ, но забытую днемъ.



Никита спросонокъ послалъ Алексѣя Степановича къ чорту, и онъ рѣшилъ ѣхать одинъ, въ душегубкѣ. Онъ былъ увѣренъ, что людей уже нѣтъ въ затонувшемъ домикѣ; но въ крикѣ о помощи, почудившемся или бывшемъ въ дѣйствительности, звучала такая безпомощность и тоска, что онъ не въ силахъ былъ послушаться призыва. Грести пришлось противъ теченія, и Алексѣй Степановичъ въ нѣсколько минутъ покрылся потомъ. На серединѣ рѣки его понесло внизъ, но онъ съ усиленіемъ выправился и отдохнулъ въ залитой слободской улицѣ, куда загнало его теченіемъ. Теперь чердаки были сумрачно молчаливы и черны и казались немного страшными, какъ крышки большихъ гробовъ, такъ же, какъ и черная рѣка, полная скрытой жизнью, таинственнымъ шопотомъ и силой. Она словно боролась съ Алексѣемъ Степановичемъ, вырывала весла и угрожающе-весело журчала у носа лодки. Пробираясь вдоль берега черезъ затопленные призрачные сады, вдрагивая отъ прикосновенія холодныхъ вѣтвей, скрюченныхъ и цѣпкихъ, какъ пальцы утопленника, и отталкиваясь отъ черныхъ крышъ, Алексѣй Степановичъ выплылъ за окраину, гдѣ вода разливалась широкимъ тускло-блистающимъ озеромъ. Онъ гребъ наугадъ къ насыпи, которая чернымъ горбомъ стала отдѣляться отъ темнаго неба. Нагибаясь впередъ, равномерно поднимая и спуская весла, Алексѣй Степановичъ закрывалъ глаза, и тогда казалось, что весь міръ остался гдѣ-то далеко назади, и онъ плыветъ давно, уже цѣлые года, плыветъ въ черную безконечность, гдѣ все ново и не похоже на оставленное позади. Такъ шли минуты, и когда онъ поднялъ голову, насыпь стояла передъ нимъ, высокая и строгая, а ближе сѣрѣла одинокая крыша, нѣмая и таинственная. Подъ нею чувствовалось присутствіе живыхъ людей, и то, что они молчали, когда кругомъ была вода и ночь, навѣвало на Алексѣя Степановича неопредѣленный страхъ и тревогу. Онъ погналъ лодку вплотную и остановился у маленькаго,

безъ перилъ, балкона, совсѣмъ теперь лежавшаго на водѣ. Низенькая, кривая дверь вела внутрь, и весь домъ казался старымъ, покосившимся и покрытымъ заплатами, какъ нищій, и было удивительно, какъ совсѣмъ не повалила его сильная и буйная вода.

— Есть тутъ кто?—крикнулъ Алексѣй Степановичъ, и звукъ его голоса отскочилъ отъ крыши и, замирая, понесся по рѣкѣ. Внутри чердака слышались певнятины, хрипящіе звуки, какъ будто кого-нибудь душили. Привязавъ поспѣшно лодку, Алексѣй Степановичъ вскочилъ на балкончикъ и въ дверяхъ чуть не столкнулся съ женщиной, шедшей ему на встрѣчу.

— Это вы кричали?—мягко спросилъ Алексѣй Степановичъ, обрадованный видомъ живого существа, и вошелъ на чердакъ безъ приглашенія, привыкнувъ, чтобы вездѣ его встрѣчали, какъ спасителя.

— Да, я, —также мягко и виновато отвѣтила женщина и пошла за нимъ въ уголъ, гдѣ стоялъ столъ и на немъ маленькая иконка, передъ которой теплилась тоненькая восковая свѣчка. Алексѣй Степановичъ мелькомъ оглядѣлъ низкій чердакъ, другой конецъ котораго утопалъ въ темнотѣ и остановилъ удивленный взглядъ на столѣ. Онъ былъ покрытъ чистою скатертью, и на немъ лежали рядомъ два темно-бурыхъ яйца и маленькая, покупная и, видимо, черствая булка.

— Что это?—спросилъ онъ, вглядываясь въ лицо женщины, молодое, но блѣдное лицо, улыбавшееся пугливой и искательной улыбкой, отъ которой еще печальнѣе становилось выраженіе большихъ и добрыхъ глазъ. Ему казалось непонятнымъ и страннымъ—эта одинокая женщина и приготовленія къ встрѣчѣ праздника тутъ, среди воды и ночи.

— Р-разговляться,—отвѣтилъ снизу грубый голосъ, точно раскатывающій букву *р*. Алексѣй Степановичъ испуганно опустилъ глаза и у стѣнки, гдѣ крыша сходилась съ потолкомъ, увидѣлъ темную массу лежащаго

и чѣмъ-то прикрытаго человѣка. Онъ нагнулся еще ниже, и то, что онъ увидѣлъ, поразило его страхомъ и отвращеніемъ. Дѣйствительно, это было страшное лицо. Круиное, опухшее и посинѣвшее, съ сѣдой колючей щетиной на подбородкѣ и щекахъ, оно походило на лицо утопленника, пробывшаго нѣсколько дней въ водѣ; полу-приподнятыя тяжелыя вѣки, подъ которыми сѣрѣлъ тусклый и неподвижный зрачекъ, и тяжелый запахъ дѣлали этого живого мертвеца отвратительнымъ. Грудь лежащаго приподнялась, и изъ нея снова посыпались глухіе, рыкающіе звуки, а губы почти не шевелились, точно говорить не онъ, а кто-то другой внутри его.

— Титуляр-р-ный совѣтникъ Данковъ... Пріятно познакомиться.

Онъ набралъ воздуха и прибавилъ:

— Только не на долго. Умир-р-аю!.. Очень глупо.

Алексѣй Степановичъ молчалъ и смотрѣлъ на женщину. Та, продолжая улыбаться, сказала:

— Присядьте, пожалуйста. Извините, что беспокоила васъ. Уже очень имъ худо стало, я и испугалась.

Говорила она голосомъ ровнымъ и безъ выраженія. И, кончивъ, она присѣла на полу, около старика, охватила колѣни руками и снизу вверхъ, не отрываясь, смотрѣла на машиниста. И то, чего не передалъ голосъ, досказали глаза. Въ нихъ было и довѣріе, и страхъ, и радость, что она видитъ живого, здороваго человѣка.

— А вы развѣ насъ не знаете?—спросила она.

Алексѣй Степановичъ отрицательно качнулъ головой, и женщина опустила глаза.

— Потому и пр-р-іхалъ, что не знаетъ,—отвѣтилъ Данковъ.—Онъ не дур-р-акъ. Позвольте р-р-екомендоваться... Пансіонъ содер-р-жалъ. Вр-родѣ отца былъ; а онъ меня кормилъ. И домъ этотъ мой. А теперь всѣ разбѣжались. Какъ кр-рысы.

Въ глухомъ голосѣ звучала странная иронія.

— А она дур-ра. Осталась.

— Куда же бы я пошла?—неопредѣленно отвѣтила женщина.

— Молчи, когда умные говорятъ. Дурра...—бурчалъ старикъ.—А ты тоже пррохвость?—внезапно перешель онъ на ты.—Что это я тебя не помню?

Алексѣй Степановичъ молчалъ. Онъ вспомнилъ теперь, что вскользь приходилось ему слышать въ слободѣ о Данковѣ и его дѣвушкахъ, отъ которыхъ сторожились самые небрезгливые, такъ были онѣ грязны, оборваны и дешевы.

— Также пр-рохвость,—утвердительно отвѣтилъ Данковъ, и на лицѣ его выразилось страшное подобіе улыбки.—Всѣ пррохвосты. А она дурра. Оставили умирать, какъ собаку. Ступай вонъ! Слышишь?

Алексѣй Степановичъ неловко улынулся и посмотрѣлъ на женщину. Она не сводила съ него глазъ, словно боялась на мигъ потерять его.

— Какъ васъ зовутъ?—спросилъ машинистъ, ласково глядя на „дурру“.

— Оля. А васъ?

— Алексѣй Степановичъ. Нужно васъ перевезти. Развѣ тутъ можно?

— Вчера какъ трабабахнетъ льдина...—бурчалъ старикъ.—Шальная.

— Нѣтъ уже, не къ чему,—отвѣтила дѣвушка.—Имъ тронуться нельзя. Скоро помрутъ.

— Корень моего бѣдствія въ томъ, что хвостъ я опустилъ. Живи такъ, чтобы хвостъ кольцомъ. Понялъ? А она дурра. Я ее билъ. Она вретъ, что я помру.

Алексѣй Степановичъ вѣсколько привыкъ къ рыкающему голосу, и теперь, когда лица старика не было видно, онъ казался только жалкимъ и вовсе не страшнымъ.

— И долго вы тутъ такъ?—спросилъ онъ Олю.

— Четыре дня. Со вторника. Ужъ очень они плохи.

Вотъ передъ вами совсѣмъ я испугалась.—Оля наклонилась къ старику.—Иванъ Данилычъ, спите?

Старикъ молчалъ. Оля улыбнулась и прошептала:

— Заснулъ. Онъ все время засыпаетъ. Вы не вѣрьте, что онъ меня билъ. Это онъ передъ чужимъ хвастаетъ.

На минуту Оля умолкла и продолжала, видимо, радуясь звуку своего голоса и возможности поговорить:

— Развѣ такъ когда ударять. Пьяные. Съ горя. А то они ничего, у нихъ медали есть.

— Какая медаль?

— За службу. Они служили раньше. А теперь тоскуютъ. Все плачутъ, умирать не хочется. А то разные страшныя слова говорятъ. О чортѣ.

— И ничего вы тутъ... одна-то?—съ участіемъ спрашивалъ Алексѣй Степановичъ.

— Днемъ ничего, а ночью стра-а-шно,—протянула дѣвушка.—Особливо вчера. Дождь, къ намъ протекло, и свѣчу затушило. А они кричатъ: умир-раю. Потомъ пѣсни пѣли и ругались. Не такъ, не по нашему, а благородно ругались, какъ господа.

Внезапно домикъ затрясся отъ грохота и лязга взошедшаго на мостъ поѣзда, и за гуломъ его Алексѣй Степановичъ не слышалъ, что говорить Оля. Постепенно лязганье стихло, и далекій свистокъ пронесся надъ водой.

— Ольга!—заговорилъ Данковъ, не открывая глазъ.— Ты не уходи! А онъ ушелъ? Пр-рохвость.

Оля шепнула Алексѣю Степановичу и отвѣтила, что ушелъ.

— Р-руку... — Данковъ съ трудомъ выговаривалъ слова.—Р-руку положи. Дур-ра, не туда. На губы.

Оля положила руку и тотчасъ отдернула ее.

— Ну, что это вы, Иванъ Даниловичъ! Опять за глупости.

— Не пр-ривыкла. А я, когда молодой былъ, всегда у бар-рышень р-ручки цѣловалъ. Душистыя. Молодецъ я былъ. Дур-ракъ былъ!

Оля молчала, наклонившись надъ опухшей, безобразной головой. Алексѣй Степановичъ видѣлъ, какъ она поднесла къ глазамъ конецъ платка, и тихонько на носкахъ вышелъ на балкончикъ. Тамъ онъ прислонилъ голову къ столбу и когда посмотрѣлъ на рѣку, все дрожало, и звѣзды дробились и сверкали, какъ большіе, блѣдно-синіе круги. Ночь потемнѣла, и отъ безмолвной рѣки несло холодомъ.

Отсюда береговъ не было видно, и если смотрѣть къ городу, то казалось, что водѣ нѣтъ конца. Только по двумъ-тремъ, точно висѣвшимъ въ воздухѣ, огонькамъ можно было догадаться, что въ той сторонѣ живетъ и волнуется многолюдный городъ.

Внезапно на верхушкѣ горы, тамъ, гдѣ должна была находиться соборная колокольня, блеснулъ яркій бѣлый свѣтъ, и тьму прорѣзалъ столбъ электрическаго свѣта, узкій въ началѣ и широкій къ концу, а куда онъ упалъ, тамъ заблестѣли влажныя крыши, и засверкали штукатуренныя стѣны. И въ ту же, казалось, секунду и рѣка, и темная ночь, и синее небо вздрогнули и загудѣли, и трудно было понять, откуда выходилъ этотъ густой, дрожащій отъ полноты, могучій и бодрый звукъ. И только когда присоединились къ нему мягкіе, идущіе волной звуки съ ближайшей колокольни, Алексѣй Степановичъ понялъ, что начался пасхальный благовѣстъ, и показалось ему похоже на то, словно пробудилась сотня великановъ и заговорила, сдерживая въ мѣдной груди своей мощный голосъ. Онъ все расширялся и росъ, и скоро всѣ тихіе звуки ночи утонули въ его властномъ и радостномъ призывѣ. Со всѣхъ концовъ темнаго горизонта лились мѣдные голоса, одни важные, старые и задумчиво серьезные, другіе молоденькіе, звонкіе, веселые, и сплетались между собою въ разноцвѣтную гирлянду, и, какъ ручьи, вливались въ мощную глубину соборнаго колокола.

Алексѣй Степановичъ снялъ шапку и перекрестился.

И когда онъ обернулся, то увидѣлъ, что рядомъ стоитъ Оля, и на блѣдномъ лицѣ ея горитъ отблескъ далекаго бѣлаго свѣта. Одной рукой она держалась за столбъ, другая придерживала на шеѣ легкій платокъ.

Вотъ на колокольнѣ Василия Великаго вспыхнулъ пожаромъ красный бенгальскій огонь и багровымъ заревомъ легъ на черную рѣку. И во всѣхъ концахъ горизонта начали зажигаться красные и голубые огни, и еще темнѣе стала великая ночь. А звуки все лились. Они падали съ неба и поднимались со дна рѣки, бились, какъ испуганные голуби, о высокую черную насыпь и летѣли въ высь свободные, легкіе, торжествующіе. И Алексѣю Степановичу чудилось, что душа его такой же звукъ, и было страшно, что не выдержитъ тѣло ея свободного полета.

Руки его коснулась другая горячая рука, и ухо различило тихій, боязливый и радостный шопотъ:

— Правда, что который человѣкъ на Пасху умираетъ, тотъ прямо на небо идетъ?

— Не знаю... Да, правда,—также тихо отвѣтилъ онъ.

Звуки все лились, и радость ихъ становилась бурной, ликующей. Точно мѣдныя груди разрывались отъ радости и теплыхъ слезъ.

На маленькомъ балкончикѣ смутно темнѣли двѣ человѣческія фигуры, и ночь и вода окружали ихъ. Въ доскахъ пола ощущалось легкое, едва уловимое содроганіе, и казалось, что весь старый и грѣшный домикъ трясется отъ скрытыхъ слезъ и заглушенныхъ рыданій.

21—24 февраля 1900 г.



## БЕЗДНА.

Уже кончался день, а они двое все шли, все говорили и не замѣчали ни времени, ни дороги. Впереди, на пологомъ холмѣ, темнѣла небольшая роща, и сквозь вѣтви деревьевъ краснымъ раскаленнымъ углемъ пылало солнце, зажигало воздухъ и весь его превращало въ огненную золотистую пыль. Такъ близко и такъ ярко было солнце, что все кругомъ словно исчезало, а оно только одно оставалось, окрашивало дорогу и ровняло ее. Глазамъ идущихъ стало больно, они повернули назадъ, и сразу передъ ними все потухло, стало спокойнымъ и яснымъ, маленькимъ и отчетливымъ. Гдѣ-то далеко, за версту или больше, красный закатъ выхватилъ высокій стволъ сосны, и онъ горѣлъ среди зелени, какъ свѣча въ темной комнатѣ; багровымъ налетомъ покрылась впереди дорога, на которой теперь каждый камень отбрасывалъ длинную черную тѣнь, да золотисто-краснымъ ореоломъ свѣтились волосы дѣвушки, пронизанные солнечными лучами. Одинъ тонкій вьющійся волосъ отдѣлился отъ другихъ и видѣлся и колебался въ воздухѣ, какъ золотая паутинка.

И то, что впереди стало темно, не прервало и не пзмѣнило ихъ разговора. Такой же ясный, задушевный и тихій, онъ лился спокойнымъ потокомъ и былъ все объ одномъ: о силѣ, красотѣ и безсмертіи любви. Оба они были очень молоды: дѣвушкѣ было всего семнад-



пять лѣтъ, Нѣмовецкому на четыре года больше, и оба они были въ ученической формѣ: она въ скромномъ коричневомъ платьѣ гимназистки, онъ въ красивой формѣ студента-технолога. И какъ и рѣчь, все у нихъ было молодое, красивое и чистое: стройныя, гибкія фигуры, словно пронизанныя воздухомъ и родныя ему, легкая упругая поступь и свѣжіе голоса, даже въ простыхъ словахъ звучавшіе задумчивой нѣжностью, такъ, какъ звенить ручей въ тихую весеннюю ночь, когда не весь еще снѣгъ сошелъ съ темныхъ полей.

Они шли, сворачивали тамъ, гдѣ сворачивала незнакомая дорога, и двѣ длинныя, постепенно утончающіяся тѣни, смѣшныя отъ маленькихъ головокъ, то раздѣльно двигались впереди, то сбоку сливались въ одну узкую и длинную, какъ тѣнь тополя, полосу. Но они не видѣли тѣней и говорили, и говоря, онъ не сводилъ глазъ съ ея красиваго лица, на которомъ розовый закатъ точно оставилъ часть своихъ нѣжныхъ красокъ, а она смотрѣла внизъ, на тропинку, отталкивала зонтикомъ маленькіе камешки и слѣдила, какъ изъ-подъ темнаго платья равномѣрно выдвигался то одинъ, то другой острый кончикъ маленькой ботинки.

Дорогу пересѣкла канава, съ пыльными, обвалившимися отъ ходьбы краями, и они на мигъ остановились. Зиночка подняла голову, обвела вокругъ затуманеннымъ взглядомъ и спросила:

— Вы знаете, гдѣ мы? Я здѣсь ни разу не была.

Онъ невнимательно оглядѣлъ мѣстность.

— Да, знаю. Тамъ, за этимъ бугромъ, городъ. Давайте руку, я вамъ помогу.

Онъ протянулъ руку, нерабочую руку, тонкую и бѣлую, какъ у женщины. Зиночкѣ было весело, ей хотѣлось перепрыгнуть канаву самой, побѣжать, крикнуть „догоняйте!“ — но она сдержалась, слегка, съ важной благодарностью, наклонила голову и немного бояливо протянула руку, сохранившую еще нѣжную припухлость

дѣтской руки. А ему хотѣлось до боли сжать эту трепетную ручку, но онъ также сдержался, съ полупоклономъ, почтительно принявъ ее и скромно отвернулся, когда у выходящей дѣвушки слегка пріоткрылась нога.

И снова они шли и говорили, но головы ихъ были полны ощущеніемъ на минуту сблизившихся рукъ. Она еще чувствовала сухой жаръ его ладони и крѣпкихъ пальцевъ; ей было пріятно и немного совѣстно, а онъ ощущалъ покорную мягкость ея крохотной ручки и видѣлъ черный силуэтъ ноги и маленькую туфлю, наивно и нѣжно обнимавшую ее. И было что-то острое, безпкойное въ этомъ немеркнущемъ представленіи узкой полоски бѣлыхъ юбокъ и стройной ноги, и несознаваемымъ усиліемъ воли онъ потушилъ его. И тогда ему стало весело, и сердцу его было такъ широко и свободно въ груди, что захотѣлось пѣть, тянуться руками къ небу и крикнуть: „бѣгите, я буду васъ догонять“—эту древнюю формулу первобытной любви среди лѣсовъ и гремящихъ водопадовъ.

И отъ всѣхъ этихъ желаній къ горлу подступали слезы.

Длинные, смѣшныя тѣни исчезли, и дорожная пыль стала сѣрой и холодной, но они не замѣтили этого и говорили. Оба они прочли много хорошихъ книгъ, и свѣтлые образы людей, любившихъ, страдавшихъ и погибавшихъ за чистую любовь, носились передъ ихъ глазами. Въ памяти воскресали отрывки невѣдомо когда прочитанныхъ стиховъ, въ одежду звучной гармоніи и сладкой грусти облекавшихъ любовь.

— Вы не помните, откуда это?—спрашивалъ Нѣмовецкій, припоминая: „...и со мною снова та, кого люблю,—отъ которой скрытъ я, не сказавъ ни слова, всю тоску, всю нѣжность, всю любовь мою“...

— Нѣтъ,—отвѣтила Зиночка и задумчиво повторила:—„всю тоску, всю нѣжность, всю любовь мою“...

— Всю любовь мою,—невольнымъ эхомъ откликнулся Нѣмовецкій.

И снова они вспоминали. Вспоминали чистыхъ, какъ бѣлыя лиліи, дѣвушекъ, надѣвавшихъ черную монашескую одежду, одиноко тоскующихъ въ паркѣ, заспанномъ осенней листвою, счастливыхъ въ своемъ несчастьи; они вспоминали и мужчинъ, гордыхъ, энергичныхъ, но страдающихъ и просящихъ о любви и чуткомъ женскомъ состраданіи. Печальны были вызванные образы, но въ ихъ печали свѣтлѣе и чище являлась любовь. Огромнымъ, какъ міръ, яснымъ, какъ солнце, и дивно красивымъ выросла она передъ ихъ глазами, и не было ничего могущественнѣе ея и краше.

— Вы могли бы умереть за того, кого любите?—спросила Зиночка, смотря на свою полудѣтскую руку.

— Да, могъ бы,—рѣшительно отвѣтилъ Нѣмовецкій, открыто и искренно глядя на нее.—А вы?

— Да, и я,—она задумалась.—Вѣдь это такое счастье: умереть за любимаго человѣка. Мнѣ очень хотѣлось бы.

Ихъ глаза встрѣтились, ясные, спокойные, и что-то хорошее послали другъ другу, и губы улыбнулись. Зиночка остановилась.

— Пойдите, — сказала она. — У васъ на тужуркѣ нитка.

И довѣрчиво она подняла руку къ его плечу и осторожно, двумя пальцами сняла нитку.

— Вотъ!—сказала она и, ставъ серьезной, спросила:— Отчего вы такой блѣдный и худой? Вы много занимаетесь, да? Не утомляйте себя, не надо.

— У васъ глаза голубые, а въ нихъ свѣтлыя точки, какъ искорки,—отвѣтилъ онъ, рассматривая ея глаза.

— А у васъ черные. Нѣтъ, каріе, теплые. И въ нихъ...

Зиночка не договорила, что въ нихъ, и отвернулась. Лицо ея медленно краснѣло, глаза стали смущенные и робкіе, а губы невольно улыбались. И не ожидая улы-

бающагося и чѣмъ-то довольнаго Нѣмовецкаго, она тронулась впередъ, но скоро остановилась.

— Смотрите, солнце зашло!—съ грустнымъ изумленіемъ воскликнула она.

— Да, зашло,—съ внезапной, острой грустью отозвался онъ.

Свѣтъ погасъ, тѣни умерли, и все кругомъ стало блѣднымъ, нѣмымъ и безжизненнымъ. Оттуда, гдѣ раньше сверкало раскаленное солнце, безшумно ползли вверхъ темныя груды облаковъ и шагъ за шагомъ пожирала свѣтло-голубое пространство. Тучи клубились, сталкивались, медленно и тяжело мѣняли очертанія разбуженныхъ чудовищъ и не охотно подвигались впередъ, точно ихъ самихъ, противъ ихъ воли, гнала какая-то неумолимая, страшная сила. Оторвавшись отъ другихъ, сдиноко металось свѣтлое волокнистое облачко, слабое испуганное.

## П.

Щеки Зиночки поблѣднѣли, губы стали красными, почти кровавыми, зрачекъ непримѣтно расширился, затемнивъ глаза, и она тихо прошептала:

— Мнѣ страшно. Тутъ такъ тихо. Мы заблудились?

Нѣмовецкій сдвинулъ густыя брови и пытливо оглядѣлъ мѣстность.

Безъ солнца, подъ свѣжимъ дыханіемъ близкой ночи, она казалась непривѣтливой и холодной; во всѣ стороны раскидывалось сѣрое поле съ низенькой, словно при-топанной травой, глинистыми оврагами, буграми и ямами. Ямъ было много, глубокихъ, отвѣсныхъ и маленькихъ, поросшихъ ползучей травой; въ нихъ уже безшумно залегала на ночь молчаливая тьма; и то, что здѣсь были люди, что-то дѣлали, а теперь ихъ нѣтъ, дѣлало мѣстность еще болѣе пустынной и печаль-

ной. Тамъ и здѣсь, какъ сгустки лиловаго холоднаго тумана, вставали рощи и перелѣски и точно выжидали, что скажутъ имъ заброшенныя ямы.

Нѣмовецкій подавилъ поднимавшееся въ немъ тяжелое и смутное чувство тревоги и сказалъ:

— Нѣтъ, мы не заблудились. Я знаю дорогу. Сперва полемъ, а потомъ черезъ тотъ лѣсокъ. Вы боитесь?

Она храбро улыбнулась и отвѣтила:

— Нѣтъ. Теперь нѣтъ. Но нужно скорѣе домой—пить чай.

Быстро и рѣшительно они двинулись впередъ, но скоро замедлили шаги. Они не глядѣли по сторонамъ, но чувствовали угрюмую враждебность изрытаго поля, окружавшаго ихъ тысячь тусклыхъ неподвижныхъ глазъ, и это чувство сближало ихъ и бросало къ воспоминаніямъ дѣтства. И воспоминанія были свѣтлыя, озаренныя солнцемъ, зеленой листвою, любовью и смѣхомъ. Какъ будто это была не жизнь, а широкая, мягкая пѣсня, и звуками въ ней были они сами, двѣ маленькія нотки: одна звонкая и чистая, какъ звенящій хрусталь, другая немного глуше, но ярче—какъ колокольчикъ.

Показались люди—двѣ женщины, сидѣвшія на краю глубокой глиняной ямы; одна сидѣла, заложивъ ногу за ногу, и пристально смотрѣла внизъ; головной платокъ приподнялся, открывая космы путанныхъ волосъ; спина горбилась и встегивала вверхъ грязную кофту съ крупными, какъ яблоки, цвѣтами и распустившимися завязками. На проходящихъ она не взглянула. Другая женщина полулежала возлѣ, закинувъ голову. Лицо у нея было грубое, широкое, съ мужскими чертами, и подъ глазами на выдавшихся скулахъ горѣли по два красныхъ кирпичныхъ пятна, похожихъ на свѣжія ссадины. Она была еще грязнѣе, чѣмъ первая, и смотрѣла на идущихъ прямо и просто. Когда они прошли, она запѣла густымъ, мужскимъ голосомъ:

— Для тебя одного, мой любезный,  
Я, какъ цвѣтъ ароматный, цвѣла...

— Варька, слышишь?—обратилась она къ молчаливой подружѣ и, не получивъ отвѣта, громко и грубо захохотала.

Нѣмовецкій зналъ такихъ женщинъ, грязныхъ даже тогда, когда на нихъ было богатое и красивое платье, привыкъ къ нимъ, и теперь онѣ скользнули по его взгляду и, не оставивъ слѣда, исчезли. Но Зиночка, почти коснувшаяся ихъ своимъ коричневымъ, скромнымъ платьемъ, почувствовала что-то враждебное, жалкое и злое, на мигъ вошедшее въ ея душу. Но черезъ нѣсколько минутъ впечатлѣніе изгладилось, какъ тѣнь облака, быстро бѣгущая по золотистому лугу, и когда мимо нихъ, обгоняя, прошли двое: мужчина въ картузѣ и пиджакѣ, но босикомъ, и такая же грязная женщина, она увидѣла ихъ, но не почувствовала. Не отдавая себѣ отчета, она долго еще слѣдила за женщиной, и ее немного удивило, почему у нея такое тонкое платье, какъ-то липко, точно мокрое, обхватывающее ноги, и подолъ съ широкой полосой жирной грязи, вѣвшейся въ матерію. Что-то тревожное, больное и страшно безнадежное было въ трепыханіи этого тонкаго и грязнаго подола.

И снова они шли и говорили, а за ними двигалась, нехотя, темная туча и бросала прозрачную, осторожно прилегающую тѣнь. На распертыхъ бокахъ тучи тускло просвѣчивали желтыя мѣдныя пятна и свѣтлыми, безшумно клубящимися дорогами скрывались за ея тяжелой массой. И тьма сгущалась такъ незамѣтно и вкрадчиво, что трудно было въ нее повѣрить, и казалось, что все еще это день, но день тяжело больной и тихо умирающій. Теперь они говорили о тѣхъ страшныхъ чувствахъ и мысляхъ, которыя посѣщаютъ человѣка ночью, когда онъ не спитъ, и ни звуки, ни рѣчи не мѣшаютъ

ему, и то, какъ тѣмъ широкое и многоглазое, что есть жизнь, плотно прижимается къ самому его лицу.

— Вы представляете себѣ безконечность?—спросила Зиночка, прикладывая ко лбу пухлую ручку и крѣпко зажимывая глаза.

— Нѣтъ. Безконечность... Нѣтъ,—отвѣтилъ Нѣмовецкій, также закрывая глаза.

— А я иногда вижу ее. Первый разъ я увидѣла, когда была еще маленькая. Это какъ-будто телѣги. Стоитъ одна телѣга, другая, третья и такъ далеко, безъ конца, все телѣги, телѣги... Страшно,—она вздрогнула.

— Но почему телѣги?—улыбнулся Нѣмовецкій, хотя ему было непріятно.

— Не знаю. Телѣги. Одна, другая... безъ конца.

Тѣмъ вкрадчиво густѣла, и туча уже прошла надъ ихъ головами и спереди точно заглядывала въ ихъ поблѣднѣвшія, опущенныя лица. И все чаще выросли темныя фигуры оборванныхъ грязныхъ женщинъ, словно ихъ выбрасывали на поверхность глубокия, неизвѣстно зачѣмъ выкопанныя ямы, и тревожно трепыхались ихъ мокрые подола. То въ одиночку, то по двѣ, по три появлялись онѣ, и голоса ихъ звучали громко и странно одиноко въ замерзшемъ воздухѣ.

— Кто эти женщины? Откуда ихъ столько?—спрашивала Зиночка боязливо и тихо. Нѣмовецкій зналъ, кто эти женщины, и ему было страшно, что они попали въ такую дурную и опасную мѣстность, но спокойно отвѣтилъ:

— Не знаю. Такъ. Не нужно о нихъ говорить. Вотъ сейчасъ пройдемъ этотъ лѣсокъ, а тамъ будетъ застава и городъ. Жаль, что мы такъ поздно вышли.

Ей стало смѣшно, что онъ говоритъ поздно, когда они вышли въ четыре часа, и она взглянула на него и улыбнулась. Но брови его не расходились, и она предложила, успокаивая и утѣшая.

— Пойдемте скорѣе. Мнѣ хочется чаю. Да и лѣсъ уже близко.

— Пойдемте.

Когда они вошли въ лѣсъ, и деревья молчаливо сошлись вершинами надъ ихъ головами, стало очень темно, но уютно и спокойно.

— Давайте руку,—предложилъ Нѣмовецкій. Она нерѣшительно подала руку, и легкое прикосновеніе точно разогнало тьму. Руки ихъ были неподвижны и не прижимались, и Зиночка даже немного отодвигалась отъ спутника, но все ихъ сознаніе сосредоточилось на ощущеніи этого маленькаго мѣстечка въ тѣлѣ, гдѣ соприкасались руки. И опять хотѣлось говорить о красотѣ и таинственной силѣ любви, но говорить такъ, чтобы не нарушать молчанія, говорить не словами, а взглядами. И они думали, что нужно взглянуть, и хотѣли, но не рѣшались.

— А вотъ опять люди!—весело сказала Зиночка.

### III.

На полянѣ, гдѣ было свѣтлѣе, сидѣли около опорожненной бутылки три человѣка и молча, выжидательно, смотрѣли на подходящихъ. Одинъ, бритый, какъ актеръ, засмѣялся и свистнулъ такъ, какъ будто это значило:

— О-го!

Сердце у Нѣмовецкаго упало и замерло въ страшной тревогѣ, но будто подталкиваемый сзади, онъ шелъ прямо на сидящихъ, около которыхъ проходила тропинка. Тѣ ждали, и три пары глазъ темнѣли неподвижно и страшно. И смутно желая расположить къ себѣ этихъ мрачныхъ, оборванныхъ людей, въ молчаніи которыхъ чувствовалась угроза, указать на свою безпомощность и разбудить въ нихъ сочувствіе, онъ спросилъ:

— Гдѣ пройти къ заставѣ? Здѣсь?



Но они не отвѣтили. Бритый свистнулъ что-то неопредѣленное и насмѣшливое, а другіе двое молчали и смотрѣли съ тяжелой, зловѣщей пристальностью. Они были пьяны, злы и имъ хотѣлось любви и разрушенія. Краснощекій, оплывшій, приподнялся на локти, потомъ нерѣшительно, какъ медвѣдь, оперся на лапы и всталъ, тяжело вздохнувъ. Товарищи мелькомъ взглянули на него, и опять съ той же пристальностью уставились на Зиночку.

— Мнѣ страшно,—однѣми губами сказала она.

Не слыша словъ, Нѣмовецкій понялъ ее по тяжести опершейся руки. И, стараясь сохранить видъ спокойствія, но чувствуя роковую неотвратимость того, что сейчасъ случится, онъ зашагалъ ровно и твердо. И три пары глазъ приблизились, сверкнули и остались за спиной. „Нужно бѣжать,—подумалъ Нѣмовецкій, и самъ отвѣтилъ себѣ:—нѣтъ, нельзя бѣжать“.

— Совсѣмъ дохлякъ парень, даже обидно,—сказалъ третій изъ сидѣвшихъ, лысый, съ рѣдкой рыжей бородой.—А дѣвочка хорошенькая, дай Богъ всякому.

Всѣ трое какъ-то нехотя засмѣялись.

— Баринъ, погоди на два слова!—густо, басомъ сказалъ высокий и поглядѣлъ на товарищей. Тѣ приподнялись.

Нѣмовецкій шелъ, не оглядываясь.

— Нужно погодить, когда просятъ,—сказалъ рыжий.—А то, вѣдь, и по шеѣ можно.

— Тебѣ говорятъ!—гаркнулъ высокий, и въ два прыжка нагналъ идущихъ. Массивная рука опустилась на плечо Нѣмовецкаго и покачнула его, и обернувшись, онъ возлѣ самаго лица встрѣтилъ круглые, выпуклые и страшные глаза. Они были такъ близко, точно онъ смотрѣлъ на нихъ сквозь увеличительное стекло и ясно различалъ красныя жилки на бѣлкахъ и желтоватый гной на рѣсницахъ. И, выпустивъ нѣмую руку Зиночки, онъ полѣзъ въ карманъ и забормоталъ:

— Денегъ..! На-те денегъ. Я съ удовольствіемъ.

Выпуклые глаза все болѣе круглились и свѣтлѣли. И когда Нѣмовецкій отвелъ отъ нихъ свои глаза, высокій немного отступилъ назадъ и безъ размаху, снизу, ударилъ Нѣмовецкаго въ подбородокъ. Голова Нѣмовецкаго откатнулась, зубы ляснули, фуражка спустилась на лобъ и свалилась, и, взмахнувъ руками, онъ упалъ павзничь. Молча, безъ крика, повернулась Зиночка и бросилась бѣжать, сразу принявъ всю быстроту, на какую была способна. Бритый крикнулъ долго и странно: — А-а-а!..

И съ крикомъ погнался за ней.

Нѣмовецкій, шатаясь, вскочилъ, но не успѣлъ еще выпрямиться, какъ снова былъ сбитъ съ ногъ ударомъ въ затылокъ. Тѣхъ было двое, а онъ одинъ, слабый и непривыкшій къ борьбѣ, но онъ долго боролся, царапался ногтями, какъ дерущаяся женщина, всклипывалъ отъ безсильнаго отчаянія и кусался. Когда онъ совсѣмъ ослабѣлъ, его подняли и понесли; онъ упирался, но въ головѣ шумѣло, онъ переставалъ понимать, чтѣ съ нимъ дѣлается, и безсильно обвисалъ въ несущихъ рукахъ. Последнее, чтѣ онъ увидѣлъ—это кусокъ рыжей бороды, почти попадавшей ему въ ротъ, а за ней темноту лѣса и свѣтлую кофточку бѣгущей дѣвушки. Она бѣжала молча и быстро, такъ, какъ бѣгала на-дняхъ, когда играли въ горѣлки,—а за ней мелкими шажками, настигая, несяся бритый. А потомъ Нѣмовецкій ощутилъ вокругъ себя пустоту, съ замираніемъ сердца понесся куда-то внизъ, гохнулъ всѣмъ тѣломъ, ударившись о землю—и потерялъ сознаніе.

Высокій и рыжій, бросившіе Нѣмовецкаго въ ровъ, постояли немного, прислушиваясь къ тому, чтѣ происходило на днѣ рва. Но лица ихъ и глаза были обращены въ сторону, гдѣ осталась Зиночка. Оттуда слышался высокий, придушенный женскій крикъ и тотчасъ замеръ. И высокий сердито воскликнулъ:

— Мерзавецъ! — и прямикомъ, ломая сучья, какъ медвѣдь, побѣжалъ.

— И я! И я! — тоненькимъ голоскомъ кричалъ рыжій, пускаясь за нимъ вслѣдъ. Онъ былъ слабосилень и запыхался; въ борьбѣ ему ушибли колѣнку, и ему было обидно, что мысль о дѣвушкѣ пришла ему первому, а достанется она ему послѣднему. Онъ пріостановился, потеръ рукой колѣнку, высморкался, приставивъ палецъ къ носу, и снова побѣжалъ, жалобно крича:

— И я! И я!

Темная туча уже расплзлась по всему небу, и наступила темная, тихая ночь. Въ темнотѣ скоро исчезла коротенькая фигура рыжаго, но долго еще слышался неровный топотъ его ногъ, шорохъ раздвигаемыхъ листьевъ и дребезжащій жалобный крикъ:

— И я! Братцы, и я!

#### IV.

Въ ротъ Нѣмовецкому набралась земля и скрипѣла на зубахъ. И первое, самое сильное, что онъ почувствовалъ, придя въ сознаніе, былъ густой и спокойный запахъ земли. Голова была тупая, словно налитая тусклымъ свинцомъ, такъ что трудно было ворочать; все тѣло ныло, и сильно болѣло плечо, но ничего не было ни переломано, ни разбито. Нѣмовецкій сѣлъ и долго смотрѣлъ вверхъ, ничего не думая и не вспоминая. Прямо надъ нимъ свѣшивался кустъ съ черными широкими листьями, и сквозь нихъ проглядывало очистившееся небо. Туча прошла, не бросивъ ни одной капли дождя и сдѣлавъ воздухъ сухимъ и легкимъ, и высоко, на середину неба, поднялся разрѣзанный мѣсяцъ съ прозрачнымъ, тающимъ краемъ. Онъ доживалъ послѣднія ночи и свѣтилъ холодно, печально и одиноко. Небольшіе клочки облаковъ быстро проносились въ вышинѣ,

гдѣ продолжалъ, очевидно, дуть сильный вѣтеръ, но не закрывали мѣсяца, а осторожно обходили его. Въ оди-ночествѣ мѣсяца, въ осторожности высокихъ, свѣтлыхъ облаковъ, въ дуновеніи неощутимаго внизу вѣтра чув-ствовалась таинственная глубина царящей надъ землею ночи.

Нѣмовецкій вспомнилъ все, что произошло, и не по-вѣрилъ. Все случившееся было такъ страшно и не по-хоже на правду, которая не можетъ быть такой ужасной, и самъ онъ, сидящій среди ночи и смотрящій откуда-то снизу на перевернутый мѣсяцъ и бѣгушія облака, былъ также страненъ и не похожъ на настоящаго. И онъ подумалъ, что это обыкновенный страшный сонъ очень страшный и дурной. И эти женщины, которыхъ они такъ много встрѣчали, были также сномъ.

— Не можетъ быть—сказалъ онъ утвердительно и слабо качнуль тяжелой головой.—Не можетъ быть.

Онъ протянулъ руку и сталъ искать фуражку, чтобы идти, но фуражки не было. И то, что ея не было, сразу сдѣлало все яснымъ, и онъ понялъ, что происшедшее не сонъ, а ужасная правда. Въ слѣдующую минуту, за-мирая отъ ужаса, онъ уже карабкался вверхъ, обры-вался вмѣстѣ съ осыпавшейся землей и снова караб-кался и хватался за гибкія вѣтви куста.

Вылѣзши, онъ побѣжалъ прямо, не разсуждая и не выбирая направленія, и долго бѣжалъ и кружился между деревьями. Такъ же внезапно, не разсуждая, онъ побѣ-жалъ въ другую сторону, и опять вѣтви царапали его лицо, и опять все стало похоже на сонъ. И Нѣмовец-кому казалось, что когда-то съ нимъ уже было нѣчто подобное: тьма, невидимыя вѣтви, царапающія лицо, и онъ бѣжитъ, закрывъ глаза, и думаетъ, что все это сонъ. Нѣмовецкій остановился, потомъ сѣлъ въ неудобной и непривычной позѣ человѣка, сидящаго прямо на землѣ, безъ возвышенія. И опять онъ подумалъ о фуражкѣ и сказалъ:

— Это я. Нужно убить себя. Пужно убить себя, если даже это сонъ.

Онъ вскочилъ и снова побѣждалъ, но опомнился и пошелъ медленно, смутно рисуя себѣ то мѣсто, гдѣ на нихъ напали. Въ лѣсу было совсѣмъ темно, но иногда прорывался блѣдный мѣсячный лучъ и обманывалъ, освѣщая бѣлые стволы, и лѣсъ казался полнымъ неподвижныхъ и почему-то молчащихъ людей. И это уже было когда-то, и это походило на сонъ.

— Зинаида Николаевна! — авалъ Нѣмовецкій и громко выговаривалъ первое слово, но тихо второе, какъ будто теряя вмѣстѣ со звукомъ надежду, что кто-нибудь отзовется. И никто не отзывался.

Потомъ онъ попалъ на тропинку, узпалъ ее и дошелъ до поляны. И тутъ опять, и уже совсѣмъ онъ понималъ, что все это правда, и въ ужасѣ заметался, крича:

— Зинаида Николаевна! Это я! Я!

Никто не откликался и, повернувшись лицомъ туда, гдѣ долженъ былъ находиться городъ, Нѣмовецкій раздѣльно выкрикнулъ:

— По-мо-гите!..

И снова заметался, что-то шепча, обшаривая кусты, когда передъ самыми его ногами всплыло бѣлое мутное пятно, похожее на застывшее пятно слабого свѣта. Это лежала Зиночка.

— Господи! Что же это?—съ сухими глазами, но голосомъ рыдающаго человѣка сказалъ Нѣмовецкій и, ставъ на колѣни, прикоснулся къ лежащей. Рука его попала на обнаженное тѣло, гладкое, упругое, холодное, но не мертвое, и съ содроганіемъ Нѣмовецкій отдернулъ ее.

— Милая моя, голубочка моя, это я,—шепталъ онъ, ища въ темнотѣ ея лицо. И снова, въ другомъ направленіи онъ протянулъ руку и опять наткнулся на голое тѣло, и такъ, куда онъ ни протягивалъ ее, онъ всюду встрѣчалъ это голое женское тѣло, гладкое, упругое, какъ будто теплѣвшее подъ прикасающейся рукой. Ипог-

да онъ отдергивалъ руку быстро, но иногда задерживалъ и, какъ самъ онъ, безъ фуражки, оборванный, казался себѣ не настоящимъ, такъ и съ этимъ обнаженнымъ тѣломъ онъ не могъ связать представленія о Зиночкѣ. И то, что произошло здѣсь, что дѣлали люди съ этимъ безгласнымъ женскимъ тѣломъ, представилось ему во всей омерзительной ясности—и какой-то страшной, говорливой силой отозвалось во всѣхъ его членахъ. Потянувшись, такъ что хрустнули суставы, онъ тупо уставился на бѣлое пятно и нахмурилъ брови, какъ думающій человѣкъ. Ужасъ передъ случившимся застывалъ въ немъ, свертывался въ комокъ и лежалъ въ душѣ, какъ что-то постороннее и безсильное.

— Господи, что же это?—повторилъ онъ, но звукъ былъ неправдивый, какъ будто нарочно.

Онъ нащупалъ сердце: оно билось слабо, но ровно и когда онъ нагнулся къ самому лицу, онъ ощутилъ слабое дыханіе, словно Зиночка не была въ глубокомъ обморокѣ, а просто спала. И онъ тихо позвалъ ее:

— Зиночка, это я.

И тутъ же почувствовалъ, что будетъ почему-то хорошо, если она еще долго не проснется. Затаивъ дыханіе и быстро оглянувшись кругомъ, онъ осторожно погладилъ ее по щекѣ и поцѣловалъ сперва въ закрытые глаза, потомъ въ губы, мягко раздавшіяся подъ крѣпкимъ поцѣлуемъ. Его испугало, что она можетъ проснуться, и онъ откачнулся и замеръ. Но тѣло было тѣмъ и неподвижно, и въ его безпомощности и доступности было что-то жалкое и раздражающее, нестраσιμο влекущее къ себѣ. Съ глубокой нѣжностью и воровской, пугливой осторожностью Нѣмовецкій старался набросать на нее обрывки ея платья, и двойное ощущеніе матеріи и голаго тѣла было остро, какъ ножъ, и непостижимо, какъ безуміе. Онъ былъ защитникомъ и тѣмъ, кто нападаетъ, и онъ искалъ помощи у окружающаго лѣса и тьмы, но лѣсъ и тьма не давали ей. Здѣсь было пир-

шество звѣрей, и, внезапно отброшенный по ту сторону человѣческой, понятной и простой жизни, онъ обонялъ жгучее сладострастіе, разлитое въ воздухъ, и расширялъ ноздри.

— Это я! Я! — бессмысленно повторялъ онъ, не понимая окружающаго, и весь полный воспоминаніемъ о томъ, какъ онъ увидѣлъ когда-то бѣлую полоску юбокъ, черныи силуэтъ ноги и нѣжно обнимавшую ее туфлю. И прислушиваясь къ дыханію Зиночки, не сводя глазъ съ того мѣста, гдѣ было ея лицо, онъ подвинулъ руку. Прислушался и подвинулъ еще.

— Что же это? — громко и отчаянно вскрикнулъ онъ и вскочилъ, ужасаясь самого себя. На одну секунду въ его глазахъ блеснуло лицо Зиночки и исчезло. Онъ старался понять, что это тѣло — Зиночка, съ которой онъ шелъ сегодня, и которая говорила о безконечности, и не могъ; онъ старался почувствовать ужасъ происшедшаго, но ужасъ былъ слишкомъ великъ, если думать, что все это правда, и не появлялся.

— Зинаида Николаевна! — крикнулъ онъ, умоляя. За чѣмъ же это? Зинаида Николаевна?

Но безгласнымъ оставалось измученное тѣло, и съ безсвязными рѣчами Нѣмовецкій опустился на колѣни. Онъ умолялъ, грозилъ, говорилъ, что убьетъ себя, и тормошилъ лежащую, поднимая, поворачивая, прижимая ее къ себѣ и почти впиваясь ногтями. Потеплѣвшее тѣло мягко поддавалось его усиліямъ, послушно слѣдуя за его движеніями, и все это было такъ страшно, непонятно и дико, что Нѣмовецкій снова вскочилъ и отрывисто крикнулъ:

— Помогите! — и звукъ былъ лживый, какъ будто нарочно.

И снова онъ набросился на несопротивлявшееся тѣло, цѣлуя, плача, чувствуя передъ собой какую-то бездну, темную, страшную, притягивающую. Нѣмовецкаго не было, Нѣмовецкій оставался гдѣ-то позади, а тотъ, что

былъ теперь, съ страстной жестокостью мня горячее податливое тѣло и говорилъ, улыбаясь хитрой усмѣшкой безумнаго.

— Отзовись! Или ты не хочешь? Я люблю тебя, люблю тебя.

Съ той же хитрой усмѣшкой онъ приблизилъ расширившіеся глаза къ самому лицу Зиночки и шепталъ:

— Я люблю тебя. Ты не хочешь говорить, но ты улыбаешься, я это вижу. Я люблю тебя, люблю, люблю.

Онъ крѣпче прижалъ къ себѣ мягкое, безвольное тѣло, своей безжизненной податливостью будившее дикую страсть, ломалъ руки и беззвучно шепталъ, сохранивъ отъ человѣка одну способность лгать.

— Я люблю тебя. Мы никому не скажемъ, и никто не узнаетъ. И я женюсь на тебѣ, завтра, когда хочешь. Я люблю тебя. Я поцѣлую тебя, и ты мнѣ отвѣтишь— хорошо? Зиночка...

И съ силой онъ прижался къ ея губамъ, чувствуя, какъ зубы вдавливаются въ тѣло, и въ боли и крѣпости поцѣлуя теряя послѣдніе проблески мысли. Ему показалось, что губы дѣвушки дрогнули. На одинъ мигъ сверкающій огненный ужасъ озарилъ его мысли, открывъ передъ нимъ черную бездну.

И черная бездна поглотила его.

Январь 1902 г.





## ВЪ ПОДВАЛѢ.

Онъ сильно пилъ, потерялъ работу и знакомыхъ и поселился въ подвалѣ вмѣстѣ съ ворами и проститутками, проживая послѣднія вещи.

У него было больное, безкровное тѣло, изношенное въ работѣ, изъѣденное страданіями и водкой, и смерть уже сторожила его, какъ хищная сѣрая птица, слѣпая при солнечномъ свѣтѣ и зоркая въ черныя ночи. Днемъ она пряталась въ темныхъ углахъ, а ночью безшумно усаживалась у его изголовья и сидѣла долго, до самаго разсвѣта, и была спокойна, терпѣлива и настойчива. Когда при первыхъ проблескахъ дня онъ высовывалъ изъ-подъ одѣяла блѣдную голову съ глазами травимаго звѣря, въ комнаткѣ было уже пусто,—но онъ не вѣрилъ этой обманчивой пустотѣ, которой вѣрятъ другіе. Онъ подозрительно оглядывалъ углы, съ хитрой внезапностью бросалъ взглядъ за спину и потомъ, опершись на локти, внимательно и долго смотрѣлъ передъ собою въ тающую тьму уходящей ночи. И тогда онъ видѣлъ то, чего никогда не видятъ другіе: колыханіе сѣраго огромнаго тѣла, безформеннаго и страшнаго. Оно было прозрачно, охватывало все, и предметы въ немъ были, какъ за стеклянной стѣной. Но теперь онъ не боялся его, и, оставляя холодный слѣдъ, оно уходило—до слѣдующей ночи.

На короткое время онъ забывался, и сны приходили

къ нему страшные и необыкновенные. Онъ видѣлъ бѣлую компату, съ бѣлыми поломъ и стѣнами, освѣщенную бѣлымъ, яркимъ свѣтомъ, и черную змѣю, которая выползала изъ-подъ двери съ легкимъ шурпаніемъ, похожимъ на смѣхъ. Прижавъ къ полу острую, плоскую голову и извиваясь, она быстро выскальзывала, куда-то пропала и опять въ отверстіи подъ дверью показывался ея приплюснутый черный носъ, и черной лентой вытягивалось тѣло,—и опять, и опять. Разъ онъ увидѣлъ во снѣ что-то веселое и засмѣялся, но звукъ получился странный, похожій на подавленное рыданіе, и было страшно его слушать: гдѣ-то въ безвѣстной глубинѣ смѣется, не то плачетъ душа въ то время, когда тѣло неподвижно, какъ у мертваго.

Постепенно въ его сознаніе начинали входить звуки рождающагося дня: глухой говоръ прохожихъ, отдаленный скрипъ двери, громыханіе дворницкой метлы, сметающей снѣгъ съ подоконника,—весь неопредѣленный гулъ просыпающагося большого города. И тогда наступало для него самое ужасное: безпощадно свѣтлое сознаніе, что пришелъ новый день, и скоро ему нужно вставать, чтобы бороться за жизнь безъ надежды на побѣду.

Нужно жить.

Онъ поворачивался спиной къ свѣту, набрасывалъ на голову одѣяло, чтобы ни малѣйшій лучъ не могъ проникнуть въ его глаза, сжимался въ маленькій комокъ подтягивая ноги къ самому подбородку, и такъ лежалъ неподвижно, боясь пошевелиться и протянуть ноги. Цѣлой горой лежала на немъ одежда, которой онъ укрывался отъ подвальной стужи, но онъ не чувствовалъ ся тяжести, и тѣло его было холодно. И при каждомъ звукѣ, говорившемъ о жизни, онъ казался себѣ огромнымъ и открытымъ, сжимался еще больше и беззвучно стоналъ—не голосомъ и не мыслью, такъ какъ теперь онъ боялся собственнаго голоса и собственныхъ мыслей.

Онъ молился кому-то, чтобы день не приходилъ, и ему всегда можно было лежать подъ грудой тряпья, не шевелясь и не мысля, и напрягалъ всю волю, чтобы удержать идущій день и увѣрить себя, что ночь еще продолжается. И больше всего въ мірѣ ему хотѣлось, чтобы кто-нибудь сзади приложилъ револьверъ къ затылку, къ тому мѣсту, гдѣ чувствуется углубленіе, и выстрѣлилъ.

А день развертывался — широкій, неудержимый, властно зовущій къ жизни, и весь міръ начиналъ двигаться, говорить, работать и думать. Въ подвалѣ первой просыпалась хозяйка, старуха Матрена, имѣвшая двадцатипятилѣтняго любовника, и начинала топать по кухнѣ, стучать ведрами и возиться надъ чѣмъ-то у самыхъ дверей Хижнякова. Онъ чувствовалъ ея приближеніе и замиралъ, рѣшаясь не отзываться, если она его позоветъ. Но она молчала и куда-то уходила, а потомъ часа черезъ два просыпались двое другихъ жильцовъ: гулящая дѣвушка, Дуняша, и любовникъ старухи, Абрамъ Петровичъ. Такъ почтительно, не смотря на молодость, звали его всѣ, потому что былъ онъ смѣлый и искусный воръ и еще что-то, о чемъ только подозрѣвали, но не рѣшались говорить. Ихъ пробужденія больше всего страшился Хижняковъ, такъ какъ оба они имѣли на него право, могли войти, сѣсть на кровать, трогать его руками и вызывать его на мысли и разговоры. Съ Дуняшей онъ какъ-то сошелся, пьяный, и общалъ на ней жениться, и хотя она смѣялась и хлопала его по плечу, но искренно считала его влюбленнымъ въ себя и покровительствовала, а сама была глупая, грязная, дурно пахнущая и часто ночевала въ участкѣ. А съ Абрамомъ Петровичемъ онъ только третьяго дня вмѣстѣ пьянствовалъ, цѣловался и давалъ клятвы въ вѣчной дружбѣ.

Когда раздался свѣжій и громкій голосъ Абрама Петровича и его быстрые шаги мимо двери, Хижняковъ застылъ отъ страха и ожиданія, простоналъ, не сдер-

жавшись, вслухъ, и еще болѣе испугался. Въ одной яркой картинѣ передъ нимъ пронеслось его пьянство, какъ они сидѣли въ какомъ-то темномъ трактирѣ, освѣщенномъ одной лампой, среди темныхъ, шепчущихся почему-то людей, и тоже шептались. Абрамъ Петровичъ, блѣдный и возбужденный, жаловался на трудную жизнь вора, зачѣмъ-то обнажалъ руку и давалъ щупать неправильно сросшіяся кости, а Хижняковъ цѣловалъ его и говорилъ:

— Я люблю воровъ. Они смѣлые,—и предлагалъ ему выпить на брудершафтъ, хотя они давно говорили на ты.

— А я люблю тебя, что ты образованный, и понимаешь нашего брата,—отвѣчалъ Абрамъ Петровичъ.— Гляди-ка, рука-то: она вотъ!

И опять передъ его глазами протягивалась бѣлая рука, казавшаяся жалкой отъ своей бѣлизны, и въ внезапномъ пониманіи чего-то, чего онъ теперь не помнилъ и не понималъ, онъ цѣловалъ эту руку, а Абрамъ Петровичъ горделиво кричалъ:

— Вѣрно, братъ! Помремъ, а не сдадимся!

А потомъ что-то грязное, кружащееся, вой, свистъ и прыгающіе огни. И тогда это было весело, а теперь, когда въ углахъ пряталась смерть, и отовсюду надвигался день съ необходимостью жить и дѣйствовать и за что-то бороться, и о чемъ-то просить,—было мучительно и непередаваемо ужасно.

— Гаринъ, спишь?—насмѣшливо спросилъ за дверью Абрамъ Петровичъ и, не получивъ отвѣта, добавилъ: ну, спи, чортъ съ тобой.

Къ Абраму Петровичу приходитъ много знакомыхъ, и въ теченіе цѣлаго дня вязжить дверь, и раздаются басистые голоса. И Хижнякову при каждомъ стукѣ кажется, что это пришли къ нему и за нимъ, и онъ прячется все глубже и долго прислушивается, пока пойметъ, кому принадлежитъ голосъ. Онъ ждетъ, ждетъ мучительно, съ содроганіемъ всего тѣла, хотя нѣтъ во

всемъ міръ никого, кто пришелъ бы къ нему и за нимъ.

У него была жена когда-то, давно, и умерла. Еще дальше въ прошломъ у него были братья и сестры, а еще дальше—нѣчто смутное и красивое, что онъ называлъ матерью. И все они умерли, а, можетъ быть, кто нибудь и живъ, но такъ затерянъ въ безконечномъ мірѣ, какъ будто бы умеръ. И онъ скоро умретъ—онъ это знаетъ. Когда онъ встанетъ сегодня съ своего ложа, у него будутъ подламываться и трястись ноги, а руки будутъ дѣлать невѣрные, странные движенія,—и это смерть. Но пока она придетъ, нужно жить, и это такая грозная задача для человѣка, у котораго нѣтъ денегъ, здоровья и воли, что Хижнякова охватываетъ отчаяніе. Онъ сбрасываетъ съ себя одѣяло, заламываетъ руки и бросаетъ въ пространство такіе долгіе стоны, какъ будто сквозь тысячи страдающихъ грудей прошли они и оттого стали такими полными, до краевъ полными нестерпимой мукой.

— Отопри, чортъ!—кричитъ за дверью Дуняша и колотитъ въ дверь кулакомъ.—А то вѣдь дверь сломаю!

Трясаясь и качаясь, Хижняковъ подошелъ къ двери, открылъ ее и быстро, почти падая, снова улегся въ постель. Дуняша, уже завитая и напудренная, сѣла рядомъ съ нимъ, притиснувъ его къ стѣнѣ, положила ногу на ногу и важно сказала:

— А я тебѣ новость принесла. Катя вчера Богу душу отдала.

— Какая Катя?—спросилъ Хижняковъ. И языкъ у него ворочался тяжело и невѣрно, какъ чужой.

— Ну вотъ, забылъ,—засмѣялась Дуняша.—Такая Катя, которая у насъ жила. Какъ же ты забылъ, когда она всего недѣлю ушла.

— Умерла?

— Ну да, умерла, какъ все помираютъ.

Дуняша послушавила короткій палецъ и отерла пудру съ рѣдкихъ рѣсницъ.

— Отъ чего?

— Отъ того, отъ чего всѣ помирають. Кто же ее знаетъ, отъ чего. Мнѣ вчера въ кофейной сказали. Умерла, говорятъ, Катя.

— А ты ее любила?

— Конечно, любила. О чемъ спрашиваетъ!

Глупые глаза Дуняши смотрѣли на Хижнякова съ тупымъ равнодушіемъ, и толстая нога покачивалась. Она не знала, о чемъ ей больше говорить, и старалась смотрѣть на лежащаго такъ, чтобы показать ему свою любовь, и для этого слегка прищурила одинъ глазъ и опустила углы толстыхъ губъ.

День начался.

## II.

Въ этотъ день, въ субботу, морозъ былъ такой сильный, что гимназисты не ходили учиться, и конскіе бѣга были перенесены на другой день, такъ какъ представлялась опасность простудить лошадей. Когда Наталья Владиміровна вышла изъ родильнаго пріюта, она въ первую минуту была рада, что уже вечеръ, что на набережной никого нѣтъ и никто не встрѣтитъ ея, дѣвушки, съ шестидневнымъ ребенкомъ на рукахъ. Ей казалось, что, какъ только переступитъ она порогъ, ее встрѣтитъ гамомъ и свистомъ цѣлая толпа, въ которой будетъ и отецъ ея, слюнявыѣ, параличныѣ и какъ будто совсѣмъ безглазыѣ, и знакомые студенты, офицера и барышни. И всѣ они будутъ показывать на нее пальцами и кричать: вотъ дѣвушка, которая окончила шесть классовъ гимназіи, имѣла знакомыхъ студентовъ, умныхъ и благородныхъ, краснѣла отъ неловко сказаннаго слова и которая шесть дней тому назадъ родила ребенка, въ родильномъ пріютѣ, рядомъ съ другими падшими женщинами.

Но набережная была пустынна. По ней свободно носился ледяной вѣтеръ, подымалъ сѣрую тучу снѣга, истолченного морозомъ въ ѣдкую пыль, и окутывалъ ею все живое и мертвое, что встрѣчалось ему на пути. Съ легкимъ свистомъ онъ обвивался вокругъ металлических столбиковъ рѣшетки, и они блестѣли, какъ отполированные, и казались такими холодными и одинокими, что на нихъ больно было смотрѣть. И такой же холодной, оторванной отъ людей и жизни, почувствовала себя дѣвушка. На ней была коротенькая кофточка, та самая, въ которой она обыкновенно каталась на конькахъ и которую второпяхъ надѣла, уходя изъ дома и уже начинающая страдать предродовыми болями. И когда вѣтеръ охватилъ ее, обвилъ вокругъ ногъ тонкое платье и застудилъ голову, ей стало жутко, что она замерзнетъ, и страхъ толпы исчезъ, и мѣръ развернулся безграничной ледяной пустыней, въ которой нѣтъ ни людей, ни свѣта, ни тепла. Двѣ горячія слезинки навернулись на глаза и заохлодели. Наклонивъ голову, она отерла ихъ безформеннымъ сверткомъ, которымъ были заняты ея руки, и пошла быстрее. Теперь она не любила ни себя, ни ребенка, и жизнь обоихъ казалась ей ненужной, но ее настойчиво толкали впередъ слова, которыя были какъ будто не въ мозгу у нея, а шли впереди и звали:

— Нѣмчиновская улица, второй домъ отъ угла. Нѣмчиновская улица, второй домъ отъ угла.

Эти слова она твердила шесть дней, лежа въ постели и кормя ребенка. Они значили, что нужно идти на Нѣмчиновскую улицу, гдѣ живетъ ея молочная сестра, проститутка, потому что только у нея одной и больше ни у кого, можетъ найти она пріютъ для себя и ребенка. Годъ тому назадъ, когда все еще было хорошо и она постоянно смѣялась и пѣла, она была у захворавшей Кати и помогла ей деньгами, и теперь это оставался единственный человѣкъ, котораго ей не было стыдно.

— Нѣмчиновская улица, второй домъ отъ угла. Нѣмчиновская улица, второй домъ отъ угла.

Она шла, и вѣтеръ злобно вился вокругъ нея, и когда она взошла на мостъ, хищно бросился къ ней на грудь и желѣзными когтями впился въ холодное лицо. Побѣжденный, онъ съ шумомъ падалъ съ моста, кружился по снѣжной глади рѣки и снова взмывалъ вверхъ, закрывая дорогу трепещущими холодными крыльями. Наталья Владиміровна остановилась и безсильно облокотилась на перила. Глубоко снизу на нее взглянулъ черный матовый глазъ—клочекъ незамерзшей воды,—и былъ его взглядъ загадоченъ и страшенъ.—А впереди звучали и настойчиво звали слова:

— Нѣмчиновская улица, второй домъ отъ угла. Нѣмчиновская улица, второй домъ отъ угла.

Хижняковъ, уже одѣтый, снова лежалъ въ постели и до самыхъ глазъ кутался теплымъ пальто, послѣдней оставшейся у него вещью. Въ комнаткѣ было холодно, и въ углахъ намерзъ ледъ, но онъ дышалъ въ барашковый воротникъ, и отъ этого ему было тепло и уютно. Весь день онъ обманывалъ себя, что завтра пойдетъ искать работы и о чемъ-то просить людей, а пока онъ счастливо не думалъ и только вздрагивалъ при повышенномъ звукѣ голоса за стѣной или стукѣ забко захлопнутой двери. Такъ долго и спокойно лежалъ онъ, когда во входную дверь послышался неровный стукъ, робкій, торопливый и острый, какъ будто стучали задней стороной руки. Комната его была ближайшей къ двери и, повернувъ голову, насторожившись, онъ ясно различалъ, что возлѣ нея происходило. Подошла Матрена, дверь открылась и закрылась за кѣмъ-то вошедшимъ, и наступило выжидательное молчаніе.

— Вамъ кого?—хрипло прозвучалъ недружелюбный вопросъ Матрены. И незнакомый голосъ, тихій и ломающійся, растерянно отвѣтилъ:

— Мнѣ Катю Нечаеву. Катя Нечаева здѣсь живетъ?



— Жила. А вамъ она на что?

— Мнѣ очень нужно. Ея нѣтъ дома?—въ голосѣ прозвучалъ страхъ.

— Умерла Катя. Умерла, я говорю. Въ больницѣ.

Опять долгое молчаніе, такое долгое, что Хижняковъ почувствовалъ боль въ шеѣ, которой онъ не смѣлъ повернуть, пока люди молчали. И потомъ незнакомый голосъ произнесъ тихо, безъ выраженія:

— Прощайте.

Но, видимо, она не уходила, потому что черезъ минуту Матрена спросила:

— Что это у васъ? Катѣ, что ли, принесли?

Что-то упало на полъ, стукнувъ колѣнами, и незнакомый голосъ произнесъ быстро, надрываясь отъ сдерживаемыхъ рыданій.

— Возьмите! Возьмите, Бога ради. Возьмите! А я... я уже пойду.

— Да что это?

Потомъ опять долгое молчаніе и тихій плачъ, прерывистый и безнадежный. Была въ немъ смертельная усталость и черное, беспросвѣтное отчаяніе. Словно чья-то утомленная рука безсильно водила по туго натянутой струнѣ, и струна эта была послѣдней на дорогомъ инструментѣ, и когда она разорвется—навсегда угаснетъ нѣжный и печальный звукъ.

— Да вѣдь вы его чуть не задушили!—грубо и сердито вскрикнула Матрена.—Тоже вѣдь рожать берутся. Развѣ такъ можно. Кто же такъ ребятъ завертывает! Пойдемте за мной. Ну, ну, хорошо, пойдемъ, я говорю. Развѣ такъ можно.

Около двери наступила тишина. Хижняковъ послушалъ еще немного и легъ, обрадованный, что пришли не къ нему и не за нимъ, и не стараясь разгадать, что было въ случившемся для него непонятнаго. Онъ уже начиналъ чувствовать приближеніе ночи и ему хотѣлось, чтобы кто-нибудь посильнѣе пустилъ лампу. Покой

проходилъ и, стискивая зубы, онъ старался удержать мысль; въ прошломъ была грязь, паденіе и ужасъ—и тотъ же ужасъ былъ въ будущемъ. Онъ уже постепенно начиналъ сжиматься, подпрятывать ноги и руки, когда вошла Дуняша, уже одѣтая для выхода въ красную блузу и слегка пьяная. Она размашисто сѣла на кровать и всплеснула короткими руками:

— Ахъ ты, Господи!—она повела головой и засмѣялась.—Ребеночка принесли. Такой маленькій, а оретъ, какъ приставъ. Ей-Богу, какъ приставъ!

Она блаженно выругалась и кокетливо щелкнула Хижнякова по носу.

— Пойдемъ смотрѣть. Ей-Богу, а то что же? Посмотримъ да и все тутъ. Матрена его купать хочетъ, самоваръ поставила. Абрамъ Петровичъ сапогомъ раздуваетъ—потѣха! А ребеночекъ кричить: уау, уау...

Дуняша сдѣлала лицо такимъ, какъ, по ея предположенію, у ребенка, и еще разъ пропищала:

— Уау! Уау! Чисто приставъ. Ей-Богу! Пойдемъ. Не хочешь—ну, и чортъ съ тобой! Издыхай тутъ, яблоко мороженое.

И, приплясывая, она вышла. А черезъ полчаса, качаясь на слабыхъ ногахъ и придерживаясь пальцами за косяки, Хижняковъ нерѣшительно пріоткрылъ дверь въ кухню.

— Затворяй, настудишь!—крикнулъ Абрамъ Петровичъ. Хижняковъ быстро захлопнулъ за собой дверь и виновато оглянулся, но никто не обращалъ на него вниманія, и онъ успокоился. Въ кухнѣ было жарко отъ печки, самовара и людей, и паръ густыми клубами подымался и ползалъ по холоднымъ стѣнамъ. Матрена, сердитая и строгая, купала въ корытѣ ребенка и корявой рукой плескала на него воду, приговаривая:

— Агунышки! Агунышки! Чистенькіе будемъ, бѣленькіе будемъ.

Оттого ли, что въ кухнѣ было свѣтло и весело, или

вода была теплая и ласкала, но ребенокъ молчалъ и морщилъ красное личико, точно собираясь чихнуть. Дуныша черезъ плечо Матрены заглядывала въ корыто и, улучивъ минуту, быстро, тремя пальцами плеснула на ребенка.

— Уйди!—грозно крикнула старуха.—Куда лѣзешь? Безъ тебя знаютъ, что дѣлать, свои дѣти были.

— Не мѣшай. Эго точно—подтвердилъ Абрамъ Петровичъ.—Ребенокъ дѣло тонкое, это какъ кто умѣетъ обращаться.

Онъ сидѣлъ на столѣ и съ снисходительнымъ удовольствіемъ смотрѣлъ на маленькое розовое тѣльце. Ребенокъ пошевелилъ пальчиками, и Дуныша въ дикомъ восторгѣ замотала головой и захохотала.

— Чисто приставъ, ей-Богу!

— А ты пристава въ корытѣ видѣла?—спросилъ Абрамъ Петровичъ.

Всѣ засмѣялись, и Хижняковъ улыбнулся, но тотчасъ испуганно сорвалъ съ лица улыбку и оглянулся на мать. Она устало сидѣла на лавкѣ, откинувъ голову назадъ, и черные глаза ея, сдѣлавшіеся огромными отъ болѣзни и страданій, свѣтились спокойнымъ блескомъ, а на блѣдныхъ губахъ блуждала горделивая улыбка матери. И, увидѣвъ это, Хижняковъ засмѣялся одинокимъ, запоздалымъ смѣхомъ:

— Хи-хи-хи!

И также гордо оглянулся по сторонамъ. Матрена вынула ребенка изъ корыта и обернула простыней. Онъ залился звонкимъ плачемъ, но скоро смолкъ, и Матрена, отворачивая простыню, конфузливо улыбнулась и сказала:

— Тѣльце-то какое, чисто бархатъ.

— Дай попробовать,—попросила Дуныша.

— Еще что?

Дуныша внезапно затряслась всѣмъ тѣломъ и, топая ногами, задыхаясь отъ жадности, безумная отъ охва-

тившаго ее желанія, закричала высокимъ голосомъ котораго у нея не слыхалъ никто.

— Даѣ!.. Даѣ!.. Даѣ!..

— Дайте же еѣ!—испуганно попросила Наталья Владиміровна. — Также внезапно успокоившись и перейдя на улыбку, Дуняша осторожно двумя пальцами прикоснулась къ плечу ребенка, а за ней, снисходительно щурясь, потянулся къ этому алѣвшему плечу и Абрамъ Петровичъ.

— Это точно. Ребенокъ дѣло тонкое,—сказалъ онъ, оправдываясь.

Послѣ всѣхъ попробовалъ Хижняковъ. Пальцы его на мигъ ощутили прикосновеніе чего-то живого, пушистаго, какъ бархатъ, и такого нѣжнаго и слабаго, что пальцы сдѣлались какъ будто чужими и тоже нѣжными. И такъ, вытянувъ шею, бессознательно озаряясь улыбкой страннаго счастья, стояли они, воръ, проститутка и одинокій, погибшій человѣкъ, и эта маленькая жизнь, слабая, какъ огонекъ въ степи, смутно звала ихъ куда-то и что-то обѣщала, красивое, свѣтлое и безсмертное. И гордо глядѣла на нихъ счастливая мать, а сверху, отъ низкаго потолка, тяжелой каменной громадой подымался домъ, и въ высокихъ комнатахъ его бродили богатые скучающіе люди.

Пришла ночь. Пришла она черная, злая, какъ всѣ ночи, и тьмой раскинулась по далекимъ свѣжнымъ полямъ, и въ страхъ застыли одинокія вѣтви деревьевъ, тѣ, что первыя привѣтствуютъ восходящее солнце. Слабымъ огнемъ свѣтильниковъ боролись съ ней люди, но, сильная и злая, она опоясывала одинокіе огни безысходнымъ кругомъ и мракомъ наполняла человѣческія сердца. И во многихъ сердцахъ потушила она слабыя тлѣющія искры.

Хижняковъ не спалъ. Сжавшись въ крохотный комокъ, онъ прятался отъ холода и ночи подъ мягкой грудой тряпья и плакалъ—безъ усилія, безъ боли и со-

дроганій, какъ плачуть тѣ, у кого сердце чисто и безгрѣшно, какъ у дѣтей. Онъ жалѣлъ себя, сжавшагося въ комокъ, и ему чудилось, что онъ жалѣетъ всѣхъ людей и всю человѣческую жизнь, и въ этомъ чувствѣ была таинственная и глубокая радость. Онъ видѣлъ ребенка, который родился, и ему казалось, что это родился онъ самъ для новой жизни, и жить будетъ долго, и жизнь его будетъ прекрасна. Онъ любилъ и жалѣлъ эту новую жизнь, и это было такъ радостно, что онъ засмѣялся, встряхнулъ грудь тряпья и спросилъ:

— О чемъ я плачу?

И не нашелъ, и отвѣтилъ:

— Такъ.

И такой глубокой смыслъ былъ въ этомъ короткомъ словѣ, что новой волной горячихъ слезъ всколыхнулась разбитая грудь человѣка, жизнь котораго была такъ печальна и одинока.

А у изголовья уже усаживалась безшумно хищная смерть и ждала—спокойно, терпѣливо, настойчиво.

Декабрь 1901 г.



## ЛОЖЬ.

— Ты лжешь! Я знаю, ты лжешь!

— Зачѣмъ ты кричишь? Развѣ нужно, чтобы насъ слышали?

И здѣсь она лгала, такъ какъ я не кричалъ, а говорилъ совсѣмъ тихо, тихо, держалъ ее за руку и говорилъ тихо, тихо, и это ядовитое слово „ложь“ шипѣло, какъ маленькая змѣйка.

— Я тебя люблю,—продолжала она,—и ты долженъ вѣрить. Развѣ это не убѣждаетъ тебя?

И она поцѣловала меня. Но когда я хотѣлъ охватить и сжать ее руками, ея уже не было. Она ушла изъ полутемнаго коридора, и я снова послѣдовалъ за ней туда, гдѣ заканчивался веселый праздникъ. Почему я знаю, гдѣ это было? Она сказала, чтобы я пришелъ туда, и я пришелъ и видѣлъ, какъ всю ночь кружились пары. Никто не подходилъ ко мнѣ и не заговаривалъ со мной, и, всѣмъ чужой, я сидѣлъ въ углу около музыкантовъ. Прямо на меня было направлено жерло большой мѣдной трубы, и оттуда рычалъ кто-то запертый и черезъ каждыя двѣ минуты отрывисто и грубо смѣялся: хо-хо-хо.

Иногда ко мнѣ приближалось бѣлое душистое облако. То была она. Не знаю, какъ она умѣла ласкать меня незамѣтно для людей, но на одну коротенькую секунду плечо ея прижималось къ моему плечу, на одну коротенькую секунду я видѣлъ, опустивъ глаза, бѣлую шею въ прорѣзѣ бѣлаго платья. А когда поднималъ глаза,

то видѣлъ профиль, такой бѣлый, строгій и правдивый, какой бываетъ у задумавшагося ангела надъ могилою забытаго человѣка. И глаза ея я видѣлъ. Они были большіе, жадные къ свѣту, красивые и спокойные. Окруженный голубымъ ободкомъ чернѣлъ зрачекъ и, сколько я ни смотрѣлъ въ него, онъ былъ все такой же чернѣй, глубокій и непроницаемый. Быть можетъ, я смотрѣлъ въ него такъ недолго, что сердце не успѣвало еще сдѣлать ни одного толчка, но никогда я такъ глубоко и страшно не понималъ, что значить безконечность, и никогда съ такой силой не ощущалъ ея. Со страхомъ и болью я чувствовалъ, что вся моя жизнь тоненькимъ лучемъ переходила въ ея глаза, пока я не становился чужимъ для самого себя, опустѣвшимъ и безгласнымъ—почти мертвымъ. Тогда она уходила отъ меня, унося съ собою мою жизнь, и опять танцевала съ кѣмъ-то высокимъ, надменнымъ и красивымъ. Каждую подробность изучилъ я въ немъ: форму его обуви, пироту приподнятыхъ плечъ, равномерный взмахъ отдѣлившейся пряди волосъ—а онъ своимъ безразличнымъ, невидящимъ взглядомъ словно вдавливалъ меня въ стѣну, и я дѣлался такимъ же плоскимъ и несуществующимъ для глазъ, какъ и стѣна.

Когда стали тухнуть свѣчи, я подошелъ къ ней и сказалъ:

— Пора ѣхать. Я провожу васъ.

Но она удивилась.

— Но вѣдь я ѣду съ нимъ—и она показала на высокаго и красиваго, который не смотрѣлъ на насъ. И отведя меня въ пустую комнату, она поцѣловала меня.

— Ты лжешь,—сказалъ я тихо, тихо.

— Мы сегодня увидимся. Ты долженъ придти,—отвѣтила она.

Изъ за высокихъ крышъ смотрѣло зеленое морозное утро, когда я ѣхалъ домой. И на всей улицѣ было

только насъ двое: извозчикъ и я. Онъ сидѣлъ, понурившись и спрятавъ лицо, а за нимъ сидѣлъ, понурившись, я и пряталъ лицо до самыхъ глазъ. И у извозчика были свои мысли, а у меня свои, а тамъ, за толстыми стѣнами спали тысячи людей, и у нихъ были свои сновидѣнiя и мысли. Я думалъ о ней и о томъ, что она лжетъ; я думалъ о смерти, и мнѣ казалось, что эти сумеречно освѣщенные стѣны уже видѣли мою смерть и оттого онѣ такъ холодны и прямы. Не знаю, о чемъ думалъ извозчикъ. Не знаю, о чемъ грезили тѣ, скрытые стѣнами. Но вѣдь и они не знали, о чемъ думаю и грежу я.

И такъ мы ѣхали по длиннымъ и прямымъ улицамъ, а утро поднималось изъ-за крышъ, и все кругомъ было неподвижно и бѣло. Душистое холодное облако приближалось ко мнѣ, и прямо въ мое ухо смѣялся кто-то запертый: хо хо-хо.

## II.

Она солгала. Она не пришла, и я напрасно ждалъ ее. Сѣрый, ровный застывшiй полумракъ спускался съ темнаго неба, и я не зналъ, когда сумерки перешли въ вечеръ, и вечеръ перешелъ въ ночь, и думалъ, что все это была одна долгая ночь. Все тѣми же шагами, однообразными, равномерными шагами долгихъ ожиданiй ходилъ я взадъ и впередъ. Я не подходилъ близко ни къ высокому дому, въ которомъ жила любимая мной, ни къ стеклянной его двери, желтѣвшей подъ желтымъ навѣсомъ, а все тѣми же равномерными шагами ходилъ по противоположной сторонѣ—взадъ и впередъ, взадъ и впередъ. А идя впередъ, я не сводилъ глазъ съ стеклянной двери, а возвращаясь обратно, часто останавливался и оборачивалъ голову, и тогда острыми иглами снѣгъ кололъ мое лицо. И такъ длинны были



онѣ, эти острыя и холодныя иглы, что проникали до самаго сердца и кололи его тоской и гнѣвомъ безсильнаго ожиданія. Отъ свѣтлаго сѣвера къ темному югу свободно мчался холодный воздухъ, со свистомъ игралъ на обледенѣлыхъ крышахъ и, срываясь оттуда, сѣкъ мое лицо острыми маленькими снѣжинками и мелко стучалъ въ стекла пустыхъ фонарей, гдѣ одинокое, дрожащее отъ холода, сгибалось желтое пламя. И мнѣ жаль было одинокаго пламени, живущаго только ночью, и я думалъ, что вотъ вся жизнь кончится на этой улицѣ, и я уйду, и только снѣжинки будутъ нестись по пустому пространству, а желтое пламя все будетъ дрожать и сгибаться—въ одиночествѣ и холодѣ.

Я ждалъ ее, и она не приходила. И мнѣ чудилось, что одинокое пламя и я, мы похожи другъ на друга, и только фонарь мой не былъ пустъ: въ томъ пространствѣ, которое я измѣрялъ своими шагами, иногда показывались люди. Они неслышно выростали за моей спиной, большіе и темные, двигались мимо меня, и, сѣрѣя словно призраки, внезапно исчезали за острымъ угломъ бѣлаго зданія. И снова выходили они изъ-за угла, равнялись со мной и медленно таяли въ сѣромъ пространствѣ, полномъ безшумно движущагося снѣга. Закутанные, безформенные, молчаливые, они были похожи другъ на друга и на меня, и мнѣ казалось, что десятки людей ходятъ взадъ и впередъ, какъ и я, ждутъ, дрогнуть и молчать, какъ и я, и думаютъ о чемъ-то своемъ, загадочномъ и печальномъ.

Я ждалъ ее, и она не приходила. Не знаю, почему я не кричалъ и не плакалъ отъ боли; не знаю, почему я смѣялся и радовался и сжималъ пальцы такъ, будто они когти, и будто я держу въ нихъ то маленькое и ядовитое, что шипитъ, словно змѣйка: ложь! Она извивалась въ моихъ рукахъ и кусала мое сердце, и отъ яда ея кружилась моя голова. Все было ложь. Исчезла грань между будущимъ и настоящимъ, между настоя-

щимъ и прошлымъ. Исчезла грань между тѣмъ временемъ, когда я еще не жилъ, и тѣмъ, когда я сталъ жить, и я думалъ, что я жилъ всегда—или не жилъ никогда. И всегда, когда я еще не жилъ и когда я сталъ жить, царила надо мной она, и мнѣ странно было думать, что у нея есть имя и тѣло, и что въ существованіи ея есть начало и конецъ. У нея не было имени, и всегда она была та, что лжетъ, та, что вѣчно заставляетъ ждать и никогда не приходитъ. И не знаю, почему, но я смѣялся, и острые иглы вонзались въ мое сердце, и прямо въ ухо мое смѣялся кто-то запертый: хо-хо-хо.

Открывая глаза, я видѣлъ освѣщенные окна высокаго дома, и они тихо говорили мнѣ своимъ синимъ и краснымъ языкомъ.

— Ты обмануть ея; въ эту минуту, пока ты одиноко блуждаешь, ждешь и страдаешь, она, вся красивая, вся яркая, вся лживая, находится здѣсь и слушаетъ то, что шепчетъ ей высокій и красивый человѣкъ, презирающій тебя. Если бы ты ворвался сюда и убилъ ее, ты сдѣлалъ бы хорошо, такъ какъ убилъ бы ложь.

Я крѣпче сжималъ руку, въ которой былъ ножъ, и, смѣясь, отвѣчалъ:

— Да, я убью ее.

Но печально глядѣли на меня окна и печально добавляли:

— Но ты никогда не убьешь ее. Никогда, потому что оружіе въ твоей рукѣ такая же ложь, какъ и ея поцѣлуй.

Давно уже исчезли безмолвныя тѣни ожидавшихъ и въ холодномъ пространствѣ остался одинъ я да дрожащія отъ стужи и отчаянія одинокіе языки огня. Недалекъ, на церковной колокольнѣ стали бить часы, и ихъ унылый металлическій звукъ дрожалъ и плакалъ, вылетая въ пространство и теряясь въ массѣ безумно кружащихся снѣжинокъ. Я началъ считать удары и

разсмѣлся: часы пробили пятнадцать. Колокольная была старая, и часы были старые и хотя вѣрно показывали время, но удары отбивали безъ счету, иногда такъ много, что старый сѣдой звонарь вальзалъ вверхъ и удерживалъ руками судорожно бьющійся молоточекъ. Для кого лгали эти дрожащія, старчески печальные звуки, охваченные и задушенные морозной тьмой? Такъ жалка и нелѣпа была эта ненужная ложь.

И съ послѣднимъ лживымъ звукомъ часовъ стукнула стеклянная дверь, и по ступенькамъ спустился кто-то высокій. Я видѣлъ только его спину, но я узналъ ее, такъ какъ только вчера видѣлъ ее, гордую, презрительную. И походку узналъ я, и была она болѣе легкой и увѣренной, чѣмъ вчера; такъ не разъ отходилъ и я отъ этой двери: такъ ходятъ люди, которыхъ только сейчасъ цѣловали женскія лживыя уста.

### III.

Я грозилъ, я требовалъ, скрежеща зубами:

— Открой мнѣ правду!

И съ холоднымъ, какъ снѣгъ, лицомъ, съ удивленно приподнятыми бровями, подъ которыми все также безстрастно и загадочно темнѣлъ непроницаемый зрачекъ, она спрашивала меня:

— Но развѣ я лгу тебѣ?

Она знала, что я не могу доказать ея лжи, и что всѣ мои тяжелыя массивныя созданія пытающей мысли могутъ быть разрушены однимъ ея словомъ—еще однимъ лживымъ словомъ. Я ждалъ его—и оно сходило съ ея устъ, сверкающее на поверхности красками правды и темное въ своей глубинѣ.

— Я люблю тебя. Развѣ я не вся твоя?

Мы были далеко отъ города, и въ темныя окпа глядѣло снѣжное поле. Надъ нимъ была тьма, и вокругъ

него была тьма, густая, неподвижная, молчаливая, но оно сіяло своимъ сокровеннымъ свѣтомъ, какъ лицо мертвеца во мракѣ. Одна только свѣча горѣла въ большой жарко натопленной комнатѣ, и на краснѣющемъ пламени виднѣлся блѣдный отсвѣтъ мертвого поля.

— Какъ бы ни была печальна правда, я хочу знать ее. Быть можетъ, я умру, узнавъ ее, но смерть лучше, чѣмъ незнаніе правды. Въ твоихъ поцѣлуяхъ и объятіяхъ я чувствую ложь. Въ твоихъ глазахъ я вижу ее. Скажи мнѣ правду—и я навсегда уйду отъ тебя,—говорилъ я.

Но она молчала, и взгляды ея, холодно пытливыя, проникали вглубь меня, выворачивали мою душу и съ страннымъ любопытствомъ разсматривали ее. И я закричалъ:

— Отвѣчай, или я убью тебя!

— Убей!—спокойно отвѣтила она:—иногда такъ скучно жить. Но развѣ угрозами можно добиться правды?

И тогда я сталъ на колѣна. Сжимая ея руки, плача, я молилъ ее о жалости—и о правдѣ.

— Бѣдный!—говорила она, кладя руку на мои волосы.—Бѣдный.

— Пожалѣй меня,—молилъ я.—Я такъ хочу правды.

И я смотрѣлъ на ея чистый лобъ и думалъ, что правда тамъ, за этой тоненькой преградой. И мнѣ безумно хотѣлось сорвать черепъ, чтобы увидѣть правду. А вотъ здѣсь, за бѣлой грудью, бьется сердце—и мнѣ безумно хотѣлось ногтями разорвать грудь и хоть разъ увидѣть обнаженное человѣческое сердце. И неподвижно желтѣло острое пламя догоравшей свѣчи, и, —темнѣя, расходились стѣны, и было такъ грустно, такъ одиноко, такъ жутко.

— Бѣдный,—говорила она.—Бѣдный.

Судорожно метнувшись, упало желтое пламя и стало сипимъ. А потомъ оно погасло—тьма охватила насъ. Я не видѣлъ ни лица ея, ни глазъ, ея руки охватывали мою голову, и я уже не чувствовалъ лжи. Закрывъ глаза, я не думалъ, не жилъ, я только впитывалъ въ

себя ощущеніе ея рукъ, и оно казалось мнѣ правдивымъ. И въ темнотѣ тихо звучалъ ея шопотъ, боязливый и странный.

— Обними меня. Мнѣ страшно.

И опять тишина, и опять тихій, полный страха, шопотъ:

— Ты хочешь правды,—а развѣ сама я знаю ее? И развѣ я не хочу знать ее? Защити меня. О, какъ страшно!

Я открылъ глаза. Поблѣднѣвшій мракъ комнаты въ страхѣ бѣжалъ отъ высокихъ оконъ и собирался у стѣнъ, и прятался въ углы,—а въ окна молча глядѣло что-то большое, мертвенно-бѣлое. Казалось, что чьи-то мертвыя очи разыскиваютъ насъ и охватываютъ своимъ ледянымъ взглядомъ. Дрожа, мы прижимались другъ къ другу, и она шептала:

— О, какъ страшно!

#### IV.

Я убилъ ее. Я убилъ ее, и когда вялой и плоской массой она лежала у того окна, за которымъ бѣлѣло мертвое поле, я сталъ ногой на ея трупъ и разсмѣялся. Это не былъ смѣхъ сумасшедшаго, о нѣтъ! Я смѣялся оттого, что грудь моя дышала ровно и легко, и внутри ея было весело, спокойно и пусто, и отъ сердца отпалъ червякъ, точившій его. И, наклонившись, я заглянулъ въ ея мертвые глаза. Большіе, жадные къ свѣту, они остались открытыми и были похожи на глаза восковой куклы—такіе же круглые и тусклые, точно покрытые слюдой. Я могъ трогать ихъ пальцами, закрывать и открывать, и мнѣ не было страшно, потому что въ черномъ непроницаемомъ зрачкѣ уже не жилъ тотъ демонъ лжи и сомнѣній, который такъ долго, такъ жадно пилъ мою кровь.

Когда меня схватили, я смѣялся, и схватившимъ меня людямъ это показалось и страшнымъ, и дикимъ.

Одни съ отвращеніемъ отворачивались отъ меня и уходили въ сторону; другіе прямо и грозно, съ укоромъ на устахъ, шли на меня, но когда на ихъ глаза падалъ мой свѣтлый и веселый взглядъ, лица ихъ блѣднѣли, и земля приковывала къ себѣ ихъ ноги.

— Сумасшедшій,—говорили они, и мнѣ казалось, это слово утѣшаетъ ихъ, потому что помогаетъ понять загадку: какъ, любящій, я могъ убить любимую—и смѣяться. И только одинъ, толстый, краснощекій и веселый, называлъ меня другимъ словомъ, и оно ударило меня и затмило въ моихъ глазахъ свѣтъ.

— Бѣдный человѣкъ!—сказалъ онъ съ состраданіемъ и безъ злобы, потому что онъ былъ толстый и веселый.— Бѣдный!

— Не надо!—крикнулъ я.—Не надо называть меня такъ!

Не знаю, зачѣмъ я кинулся къ нему. Конечно, я не хотѣлъ ни убивать его, ни трогать, но всѣ эти перепуганные люди, видѣвшіе во мнѣ сумасшедшаго и злодѣя, порепугались еще больше и закричали такъ, что мнѣ опять стало смѣшно.

Когда меня выводили изъ комнаты, гдѣ лежалъ трупъ, я громко и настойчиво повторялъ, глядя на веселаго, толстаго человѣка:

— Я счастливый! Я счастливый!

И это была правда.

## V.

Когда-то въ дѣтствѣ, я видѣлъ въ звѣринцѣ пантеру, поразившую мое воображеніе и надолго полонившую мысли. Она была не похожа на другихъ звѣрей, которые бессмысленно дремали или злобно смотрѣли на посѣтителей. Изъ угла въ уголъ, по одной и той же линіи, съ математической правильностью ходила она, каждыѣ

разъ поворачиваясь на одномъ и томъ же мѣстѣ, каждый разъ задѣвая золотистымъ бокомъ за одинъ и тотъ же металлическій пруть рѣшетки. Хищная острая голова ея была опущена, и глаза смотрѣли передъ собой, ни разу, никогда не поворачиваясь въ сторону. Передъ ея клѣткой цѣлые дни толпился народъ, говорилъ, шумѣлъ, а она все ходила, и ни разу глаза ея не обратились къ смотрящимъ. И немногія лица изъ толпы улыбались; большинство серьезно, даже мрачно смотрѣли на эту живую картину тяжелого безысходнаго раздумья и со вздохомъ отходили. А отойдя, еще разъ недоумѣваяще, пытливо оглядывались на нее и вздыхали—какъ будто было что-нибудь общее въ судьбѣ ихъ, свободныхъ людей, и этого несчастнаго плѣннаго звѣря. И когда впоследствии со мной, уже взрослымъ, люди и книги заговорили о вѣчности, я вспомнилъ пантеру, и мнѣ показалось, что я уже знаю вѣчность и ея муки.

Въ такую пантеру превратился я въ моей каменной клѣткѣ. Я ходилъ и думалъ. Я ходилъ по одной линіи наискось клѣтки, отъ угла къ углу, и по одной короткой линіи шли мои мысли, такія тяжелыя, что казалось, не голову, а цѣлый міръ ношу я на своихъ плечахъ. Только изъ одного слова состоялъ онъ, но какое это было большое, какое мучительное, какое зловѣщее слово.

Ложь—такъ произносилось это слово.

Опять оно, шипя, выползало изъ всѣхъ угловъ и обвивалось вокругъ моей души, по оно перестало быть маленькой змѣйкой, а развернулось большой, блестящей и свирѣпой змѣей. И жалила, и душила она меня своими желѣзными кольцами, и когда я начиналъ кричать отъ боли, изъ моего открытаго рта выходилъ тотъ же отвратительный, свистящій змѣиный звукъ, точно вся грудь моя кишѣла гадами:

— Ложь!

И я ходилъ и думалъ, и передъ моими глазами сѣрый ровный асфальтъ пола превращался въ сѣ-

рѣющую прозрачную бездну. Ноги переставали ощущать прикосновеніе къ камню, и мнѣ чудилось, что въ безконечной высотѣ я парю надъ туманомъ и мглой. И когда грудь моя исторгала свистящій стонъ, оттуда—спизу—изъ-подъ этой рѣдѣющей, но непроницаемой пелены медленно приносился страшный отзвукъ. Такъ медленно и глухо, точно онъ проходилъ сквозь тысячелѣтія, и въ каждую минуту, и въ каждой частицѣ тумана терялъ свою силу. Я понималъ, что тамъ—внизу—онъ свистѣлъ, какъ вѣтеръ, который срѣзаетъ деревья, но въ мое ухо онъ входилъ зловѣщимъ короткимъ шепоткомъ:

— Ложь!

Этотъ подлый шопотъ приводилъ меня въ негодованіе. Я топалъ ногой по камню и кричалъ:

— Нѣтъ лжи! Я убилъ ложь.

И нарочно я отворачивался въ сторону, такъ какъ запаль, что она отвѣтитъ. И она отвѣчала медленно, изъ глубины бездонной пропасти:

— Ложь!

Дѣло, какъ видите, въ томъ, что я жалко ошибся. Женщину я убилъ, а ложь сдѣлалъ безсмертной. Не убивайте женщины, пока мольбами, пыткой и огнемъ вы не вырвете изъ души ея правды!

Такъ думалъ я и ходилъ панскосокъ клѣтки, отъ угла къ углу.

## VI.

Темно и страшно тамъ, куда она унесла правду и ложь—и я пойду туда. У самага престола сатаны я настигну ее, и упаду на колѣни, и заплачу, и скажу:

— Открой мнѣ правду.

Но, Боже! Вѣдь это ложь. Тамъ тьма, тамъ пустота вѣковъ и безконечности, и тамъ нѣтъ ея и нѣтъ ея



нигдѣ. Но ложь осталась. Она безсмертна. Я чувствую  
ее въ каждомъ атомѣ воздуха, и когда я дышу, она  
съ шипѣніемъ входитъ въ мою грудь и рветъ ее, рветъ!

О, какое безуміе быть человѣкомъ и искать правды!  
Какая боль!

— Спасите меня! Спасите!

14 февраля 1900 г.



## ПЕТЬКА НА ДАЧѢ.

Осипъ Абрамовичъ, парикмахеръ, поправилъ на груди посѣтителя грязную простынку, заткнулъ ее пальцами за воротъ и крикнулъ отрывисто и рѣзко:

— Мальчикъ, воды!

Посѣтитель, рассматривавшій въ зеркало свою фізіономію съ тою обостренною внимательностію и интересомъ, какіе являются только въ парикмахерской, замѣчалъ, что у него на подбородкѣ прибавился еще одинъ угорь, и съ неудовольствіемъ отводилъ глаза, попадавшіе прямо на худую маленькую ручонку, которая откуда-то со стороны протягивалась къ подзеркальнику и ставила жестянку съ горячей водой. Когда онъ поднималъ глаза выше, то видѣлъ отраженіе парикмахера, странное и какъ будто косое, и подмѣчалъ быстрый и грозный взглядъ, который тотъ бросалъ внизъ на чью-то голову, и безмолвное движеніе его губъ отъ неслышнаго, но выразительнаго шопота. Если его бриль не самъ хозяинъ, Осипъ Абрамовичъ, а кто-нибудь изъ подмастерьевъ, Прокошій или Михайло, то шопотъ становился громкимъ и принималъ форму неопредѣленной угрозы:

— Вотъ, погоди!

Это значило, что мальчикъ недостаточно быстро подалъ воду, и его ждетъ наказаніе. „Такъ ихъ и слѣдуетъ“, думалъ посѣтитель, кривя голову на бокъ и

созерцающая у самого своего носа большую потную руку, у которой три пальца были оттопырены, а два другие, липкие и пахучие, вѣжно прикасались къ щекамъ и подбородку, пока туповатая бритва съ неприятнымъ скрипомъ снимала мыльную пѣну и жесткую щетину бороды.

Въ этой парикмахерской, пропитанной скучнымъ запахомъ дешевыхъ духовъ, полной надоедливыхъ мухъ и грязи, посѣтитель былъ нетребовательный: швейцары, прикащики, иногда мелкие служащіе или рабочіе, часто аляповато-красивые, но подозрительные молодцы, съ румяными щеками, тоненькими усиками и наглыми маслянистыми глазами. Невдалекѣ находился кварталъ, заполненный домами дешеваго разврата. Они господствовали надъ этою мѣстностью и придавали ей особый характеръ чего-то грязнаго, безпорядочнаго и тревожнаго.

Мальчикъ, на котораго чаще всего кричали, назывался Петькой и былъ самымъ маленькимъ изъ всѣхъ служащихъ въ заведеніи. Другой мальчикъ, Николка, насчитывалъ отъ роду тремя годами больше и скоро долженъ былъ перейти въ подмастерья. Уже и теперь, когда въ парикмахерскую заглядывалъ посѣтитель попросту, а подмастерья, въ отсутствіи хозяина, лѣнились работать, они посылали Николку стричь и смѣялись, что ему приходится подниматься на цыпочки, чтобы видѣть волосатый затылокъ дюжаго дворника. Иногда посѣтитель обижался за испорченные волосы и поднималъ крикъ, тогда и подмастерья кричали на Николку, но не въ серьезъ, а только для удовольствія окарпаченаго простака. Но такіе случаи бывали рѣдко, и Николка важничалъ и держался, какъ большой: курилъ папиросы, сплевывалъ черезъ зубы, ругался скверными словами и даже хвастался Петькѣ, что пилъ водку, но, вѣроятно, вралъ. вмѣстѣ съ подмастерьями онъ бѣгалъ на сосѣднюю улицу посмотреть на крупную драку и, когда возвращался оттуда, счастливый и смѣющийся,

Осипъ Абрамовичъ давалъ ему двѣ пощечины: по одной на каждую щеку.

Петькѣ было десять лѣтъ; онъ не курилъ, не пилъ водки и не ругался, хотя зналъ очень много скверныхъ словъ, и во всѣхъ этихъ отношеніяхъ завидовалъ товарищу. Когда не было посѣтителей, и Прокопій, проводившій гдѣ-то безсонныя ночи и днемъ спотыкавшійся отъ желанія спать, приваливался въ темномъ углу за перегородкой, а Михайло читалъ „Московский Листокъ“ и среди описанія кражъ и грабежей искалъ знакомаго имени кого-нибудь изъ обычныхъ посѣтителей,—Петька и Николка бесѣдовали. Послѣдній всегда становился добрѣе, оставаясь вдвоемъ, и объяснялъ „мальчику“, что значить стричь подъ польку, бобрикомъ или съ пробормомъ.

Иногда они садились на окно, рядомъ съ восковымъ бюстомъ женщины, у которой были розовыя щеки, стеклянные удивленные глаза и рѣдкія прямыя рѣсницы,—и смотрѣли на бульваръ, гдѣ жизнь начиналась съ ранняго утра. Деревья бульвара, сѣрыя отъ пыли, неподвижно мѣли подъ горячимъ безжалостнымъ солнцемъ и давали такую же сѣрую, не охлаждающую тѣнь. На всѣхъ скамейкахъ сидѣли мужчины и женщины, грязно и странно одѣтые, безъ платковъ и шапокъ, какъ будто они тутъ и жили, и у нихъ не было другого дома. Были лица равнодушныя, злыя или распущенныя, но на всѣхъ на нихъ лежала печать крайняго утомленія и пренебреженія къ окружающему. Часто чья-нибудь лохматая голова безсильно клонилась на плечо, и тѣло невольно искало простора для сна, какъ у третьекласснаго пассажира, проѣхавшаго тысячи верстъ безъ отдыха, но лечь было негдѣ. По дорожкамъ расхаживалъ съ палкой ярко-синій сторожъ и смотрѣлъ, чтобы кто-нибудь не развалился на скамейкѣ или не бросился на траву, порывѣвшую отъ солнца, но такую мягкую, такую прохладную. Женщины, всегда одѣтыя болѣе чисто, даже

съ намекомъ на моду, были всѣ какъ будто на одно лицо и одного возраста, хотя иногда попадались совсѣмъ старыя или молоденькія, почти дѣти. Всѣ онѣ говорили хриплыми, рѣзкими голосами, бранились, обнимали мужчинъ такъ просто, какъ будто были на бульварѣ совсѣмъ одни, иногда тутъ же пили водку и закусывали. Случалось, пьяный мужчина билъ такую же пьяную женщину; она падала, поднималась и снова падала; но никто не вступался за нее. Зубы весело скалились, лица становились осмысленнѣе и живѣе, около дерущихся собиралась толпа; но когда приближался ярко-синій сторожъ, всѣ лѣнливо разбредались по своимъ мѣстамъ. И только побитая женщина плакала и безсмысленно ругалась; ея растрепанные волосы волочились по песку, а полуобнаженное тѣло, грязное и желтое при дневномъ свѣтѣ, цинично и жалко выставлялось наружу. Ее усаживали на дно извозничьей пролетки и везли, и свѣсившаяся голова ея болталась, какъ у мертвой.

Николка зналъ по именамъ многихъ женщинъ и мужчинъ, рассказывалъ о нихъ Петькѣ грязныя исторіи и смѣялся, скаля острые зубы. А Петька изумлялся тому, какой онъ умный и безстрашный, и думалъ, что когда-нибудь и онъ будетъ такой же. Но пока ему хотѣлось бы куда-нибудь въ другое мѣсто... Очень хотѣлось бы.

Петькины дни тянулись удивительно однообразно и похоже одинъ на другой, какъ два родные брата. И зимою, и лѣтомъ онъ видѣлъ все тѣ-же зеркала, изъ которыхъ одно было съ трещиной, а другое было кривое и потѣшное. На запятанной стѣнѣ висѣла одна и та же картина, изображавшая двухъ голыхъ женщинъ на берегу моря, и только ихъ розовыя тѣла становились все пестрѣе отъ мушиныхъ слѣдовъ, да увеличивалась черная копотъ надъ тѣмъ мѣстомъ, гдѣ зимою чуть-ли не весь день горѣла керосиновая лампа—молнія. И утромъ, и вечеромъ, и весь Божій день надъ Петькой висѣлъ

одинъ и тотъ-же отрывистый крикъ: „Мальчикъ, воды“, и онъ все подавалъ ее, все подавалъ. Праздниковъ не было. По воскресеньямъ, когда улицу переставали освѣщать окна магазиновъ и лавокъ, парикмахерская до поздней ночи бросала на мостовую яркій снопъ свѣта, и прохожій видѣлъ маленькую, худую фигурку, сгорбившуюся въ углу на своемъ стулѣ и погруженную не то въ думы, не то въ тяжелую дремоту. Петька спалъ много, но ему почему-то все хотѣлось спать, и часто казалось, что все вокругъ него не правда, а длинный непріятный сонъ. Онъ часто разливалъ воду или не слышалъ рѣзкаго крика: „Мальчикъ, воды“, и все худѣлъ, а на стриженной головѣ у него пошли нехорошіе струпья. Даже нетребовательные посѣтителѣ съ безразличіемъ смотрѣли на этого худенькаго, веснушчатого мальчика, у котораго глаза всегда сонные, ротъ полуоткрытый и грязныя-прегрязныя руки и шея. Около глазъ и подъ носомъ у него прорѣзались тоненькія морщинки, точно проведенныя острой иглой, и дѣлали его похожимъ на состарившагося карлика.

Петька не зналъ, скучно ему или весело, но ему хотѣлось въ другое мѣсто, о которомъ онъ ничего не могъ сказать, гдѣ оно и какое оно. Когда его навѣщала мать, кухарка Надежда, онъ лѣниво ѣлъ принесенныя сласти не жаловался и только просилъ взять его отсюда. Но затѣмъ онъ забывалъ о своей просьбѣ, равнодушно прощался съ матерью и не спрашивалъ, когда она придетъ опять. А Надежда съ горемъ думала, что у нея одинъ сынъ—и тотъ дурачокъ.

Много ли, мало ли жилъ Петька такимъ образомъ, онъ не зналъ. Но вотъ однажды въ обѣдъ пріѣхала мать, поговорила съ Осипомъ Абрамовичемъ и сказала, что его, Петьку, отпускаютъ на дачу, въ Царицыно, гдѣ живутъ ея господа. Сперва Петька не понималъ, потомъ лицо его покрылось тонкими морщинками отъ тихаго смѣха, и онъ началъ торопить Надежду. Той нужно

было, ради пристойности, поговорить съ Осипомъ Абрамовичемъ о здоровьи его жены, а Петька тихонько толкалъ ее къ двери и дергалъ за руку. Онъ не зналъ, что такое дача, но полагалъ, что она есть то самое мѣсто, куда онъ такъ стремился. И онъ эгоистично позабылъ о Николкѣ, который, заложивъ руки въ карманы, стоялъ тутъ-же и старался съ обычною дерзостью смотрѣть на Надежду. Но въ глазахъ его вмѣсто дерзости свѣтилась глубокая тоска: у него совсѣмъ не было матери, и онъ въ этотъ моментъ былъ бы не прочь даже отъ такой, какъ эта толстая Надежда. Дѣло въ томъ, что и онъ никогда не былъ на дачѣ.

Вокзалъ съ его разноголосю сутолокою, грохотомъ приходящихъ поѣздовъ, свистками паровозовъ, то густыми и сердитыми, какъ голосъ Осипа Абрамовича, то визгливыми и тоненькими, какъ голосъ его больной жены, торопливыми пассажирами, которые все идутъ и идутъ, точно имъ и конца нѣту,—впервые предсталъ передъ оторопѣлыми глазами Петьки и наполнилъ его чувствомъ возбужденности и нетерпѣнія. Вмѣстѣ съ матерью онъ боялся опоздать, хотя до отхода дачнаго поѣзда оставалось добрыхъ полчаса; а когда они сѣли въ вагонъ и поѣхали, Петька прилипъ къ окну, и только стриженная голова его вертѣлась на тонкой шеѣ, какъ на металлическомъ стержнѣ.

Онъ родился и выросъ въ городѣ, въ полѣ былъ первый разъ въ своей жизни, и все здѣсь для него было поразительно ново и странно: и то, что можно видѣть такъ далеко, что лѣсъ кажется травкой, и небо, бывшее въ этомъ новомъ мірѣ удивительно яснымъ и широкимъ, точно съ крыши смотришь. Петька видѣлъ его съ своей стороны, а когда оборачивался къ матери, это же небо голубѣло въ противоположномъ окнѣ, и по немъ плыли, какъ ангелочки, бѣленькія радостныя облачка. Петька то вертѣлся у своего окна, то перебѣгалъ на другую сторону вагона, съ довѣрчивостью кладя

плохо отмытую ручонку на плечи и колѣни незнакомыхъ пассажировъ, отвѣчавшихъ ему улыбками. Но какой-то господинъ, читавшій газету и все время зѣвавшій, то ли отъ чрезмѣрной усталости, то ли отъ скуки, раза два непріязненно покосился на мальчика, и Надежда поспѣшила извиниться:

— Впервой по чугункѣ ѣдетъ,—интересуется...

— Угу!..—пробурчалъ господинъ и уткнулся въ газету. Надеждѣ очень хотѣлось рассказать ему, что Петька уже три года живетъ у парикмахера, и тотъ обѣщалъ поставить его на ноги, и это будетъ очень хорошо, потому что женщина она одинокая и слабая, и другой поддержки на случай болѣзни или старости у нея нѣтъ. Но лицо у господина было злое, и Надежда только подумала все это про себя.

Направо отъ пути раскинулась кочковатая равнина, темно-зеленая отъ постоянной сырости, и на краю ея были брошены сѣренкые домики, похожіе на игрушечные, а на высокой зеленой горѣ, внизу которой блистала серебристая полоска, стояла такая же игрушечная бѣлая церковь. Когда поѣздъ со звонкимъ металлическимъ лязгомъ, внезапно усилившимся, взлетѣлъ на мостъ и точно повисъ въ воздухѣ надъ зеркальною гладью рѣки. Петька даже вадрогнулъ отъ испуга и неожиданности и отшатнулся отъ окна, но сейчасъ-же вернулся къ нему, боясь потерять малѣйшую подробность пути. Глаза Петькины давно уже перестали казаться сонными, и морщинки пропали. Какъ будто по этому лицу кто-нибудь провелъ горячимъ утюгомъ, разгладилъ морщинки и сдѣлалъ его бѣлымъ и блестящимъ.

Въ первые два дня Петькинаго пребыванія на дачѣ, богатство и сила новыхъ впечатлѣній, лившихся на него и сверху, и снизу, смяли его маленькую и робкую душу. Въ противоположность дикарямъ минувшихъ вѣковъ, терявшимся при переходѣ изъ пустыни въ городъ, этотъ современный дикарь, выхваченный изъ каменныхъ



объятій городскихъ громадъ, чувствовалъ себя слабымъ и беспомощнымъ передъ лицомъ природы. Всеадѣсь было для него живымъ, чувствующимъ и имѣющимъ волю. Онъ боялся лѣса, который покойно шумѣлъ надъ его головой и былъ темный, задумчивый и такой страшный въ своей безконечности; полянки, свѣтлыя, зеленныя, веселыя, точно поющія всѣми своими яркими цвѣтами, онъ любилъ и хотѣлъ бы приласкать ихъ, какъ сестеръ, а темно-синее небо звало его къ себѣ и смѣялось, какъ мать. Петька волновался, вздрагивалъ и блѣднѣлъ, улыбался чему-то и степенно, какъ старикъ, гулялъ по опушкѣ и лѣсистому берегу пруда. Тутъ онъ, утомленный, задыхающійся, разваливался на густой сыровой травѣ и утопалъ въ ней; только его маленькій веснушчатый носикъ поднимался надъ зеленой поверхностью. Въ первые дни онъ часто возвращался къ матери, терся возлѣ нея, и когда баринъ спрашивалъ его, хорошо-ли на дачѣ,—конфузливо улыбался и отвѣчалъ:

— Хорошо!..

И потомъ снова шелъ къ грозному лѣсу и тихой водѣ и будто допрашивалъ ихъ о чемъ-то.

Но прошло еще два дня, и Петька вступилъ въ полное соглашеніе съ природой. Это произошло при содѣйствіи гимназиста Мити изъ „Стараго Царицына“. У гимназиста Мити лицо было смугло-желтымъ, какъ вагонъ второго класса, волосы на макушкѣ стояли торчкомъ и были совсѣмъ бѣлые—такъ выжгло ихъ солнце. Онъ ловилъ въ прудѣ рыбу, когда Петька увидалъ его, безцеремонно вступилъ съ нимъ въ бесѣду и удивительно скоро сошелся. Онъ далъ Петькѣ поддержать одну удочку и потомъ повелъ его куда-то далеко купаться. Петька очень боялся идти въ воду, но когда вошелъ, то не хотѣлъ вылѣзать изъ нея и дѣлалъ видъ, что плаваетъ: поднималъ носъ и брови кверху, захлебывался и билъ по водѣ руками, поднимая брызги. Въ эти минуты онъ былъ очень похожъ на щенка, впервые попавшаго въ

воду. Когда Петька одѣлся, то былъ синій отъ холода, какъ мертвецъ, и, разговаривая, ласкалъ зубами. По предложенію того же Мити, неистощимаго на выдумки, они изслѣдовали развалины дворца; лазали на заросшую деревьями крышу и бродили среди разрушенныхъ стѣнъ громаднаго зданія. Тамъ было очень хорошо: всюду навалены груды камней, на которые съ трудомъ можно взобраться, и промежъ ихъ растетъ молодая рябина и березки; тишина стоитъ мертвая, и чудится, что вотъ-вотъ выскочить кто-нибудь изъ-за угла, или въ растрескавшейся амбразурѣ окна покажется страшная-пре-страшная рожа. Постепенно Петька почувствовалъ себя на дачѣ, какъ дома, и совсѣмъ забылъ, что на свѣтѣ существуетъ Осипъ Абрамовичъ и парикмахерская.

— Смотри-ка, растолстѣлъ какъ! Чистый купецъ!—радовалась Надежда, сама толстая и красная отъ кухоннаго жара, какъ мѣдный самоваръ. Она приписывала это тому, что много его кормить. Но Петька ѣлъ совсѣмъ мало, не потому, чтобы ему не хотѣлось ѣсть, а некогда было возиться: если бы можно было не жевать, глотать сразу, а то нужно жевать, а въ промежутки болтать ногами, такъ какъ Надежда ѣстъ дьявольски медленно, обглаживаетъ кости, утирается передникомъ и разговариваетъ о пустякахъ. А у него дѣла было по горло: нужно пять разъ выкупаться, вырѣзать въ орѣшникъ удочку, накопать червей,—на все это требуется время. Теперь Петька бѣгалъ босой, и это въ тысячу разъ пріятнѣе, чѣмъ въ сапогахъ съ толстыми подошвами: шаршавая земля такъ ласково то жжетъ, то холодитъ ногу. Свою поддержанную гимназическую куртку, въ которой онъ казался солиднымъ мастеромъ парикмахерскаго цеха, онъ также снялъ и изумительно помолодѣлъ. Надѣвалъ онъ ее только вечерами, когда ходилъ на плотину смотреть, какъ катаются на лодкахъ господа: нарядные, веселые, они со смѣхомъ садятся въ качающуюся лодку, и та медленно разсѣкаетъ зеркальную воду, а отражен-

ння деревья колеблются, точно по нимъ пробѣжали вѣтерокъ.

Въ исходѣ недѣли баринъ привезъ изъ города письмо, адресованное „куфаркѣ Надеждѣ“, и когда прочелъ его адресату, адресатъ заплакалъ и размазалъ по всему лицу сажу, которая была на передникѣ. По отрывочнымъ словамъ, сопровождавшимъ эту операцію, можно было понять, что рѣчь въ письмѣ идетъ о Петькѣ. Это было уже ввечеру. Петька на заднемъ дворѣ игралъ самъ съ собою „въ классики“ и надувалъ щеки, потому что такъ прыгать было значительно легче. Гимназистъ Митя научилъ этому глупому, но интересному занятію и теперь Петька, какъ истый спортсменъ, совершенствовался въ одиночку. Вышелъ баринъ и, положивъ руку на плечо, сказалъ:

— Что, братъ, ѣхать надо!

Петька конфузливо улыбался и молчалъ. „Вотъ чудакъ-то!“—подумалъ баринъ.

— Ёхать, братецъ, надо.

Петька улыбался. Подошла Надежда и со слезами подтвердила:

— Надобно ѣхать, сынокъ!

— Куда?—удивился Петька. Прогородъ онъ забылъ, а другое мѣсто, куда ему всегда такъ хотѣлось уйти—уже найдено.

— Къ хозяину, Осипу Абрамовичу,

Петька продолжалъ не понимать, хотя дѣло было ясно, какъ Божій день. Но во рту у него пересохло, и языкъ двигался съ трудомъ, когда онъ спросилъ:

— А какъ же завтра рыбу ловить? Удочка, вонъ она...

— Что же подѣлаешь!.. Требуется. Прокопій, говорить, заболѣлъ, въ больницу свезли. Народу, говорить, нѣту. Ты не плачь: гляди, опять отпустить,—онъ добрый, Осипъ Абрамовичъ.

Но Петька и не думалъ плакать и все не понималъ.

Съ одной стороны былъ фактъ—удочка, съ другой призракъ—Осипъ Абрамовичъ. Но постепенно мысли Петъ-кины стали проясняться, и произошло странное пере-мѣщеніе: фактомъ сталъ Осипъ Абрамовичъ, а удочка, еще не успѣвшая высохнуть, превратилась въ призракъ. И тогда Петъка удивилъ мать, растроилъ барыню и барина и удивился бы самъ, если бы былъ способенъ къ самоанализу: онъ не просто заплакалъ, какъ плачутъ городскія дѣти, худыя и истощенныя,—онъ закричалъ громче самаго горластаго мужика и началъ кататься по землѣ, какъ тѣ пьяныя женщины на бульварѣ. Худая ручонка его сжималась въ кулакъ и била по рукъ матери, по землѣ, по чемъ попало, чувствуя боль отъ острыхъ камешковъ и песчинокъ, но какъ-будто стараясь еще усилить ее.

Своевременно Петъка успокоился, и баринъ говорилъ барынѣ, которая стояла передъ зеркаломъ и вкалывала въ волосы бѣлую розу:

— Вотъ видишь, пересталъ,—дѣтское горе непродолжительно.

— Но мнѣ все-таки очень жаль этого бѣднаго маль-чика.

— Правда, они живутъ въ ужасныхъ условіяхъ, но есть люди, которымъ живется и хуже. Ты готова?

И они пошли въ садъ Дигмана, гдѣ въ этотъ вечеръ были назначены танцы, и уже играла военная музыка.

На другой день, съ семичасовымъ утреннимъ поѣздомъ, Петъка уже ѣхалъ въ Москву. Опять передъ нимъ мелькали зеленныя поля, сѣдныя отъ ночной росы, но только убѣгали не въ ту сторону, что раньше, а въ противоположную. Поддержанная гимназическая курточка облекала его худенькое тѣло, изъ-за ворота ея выставлялся кончикъ бѣлаго бумажнаго воротничка. Петъка не вертѣлся и почти не смотрѣлъ въ окно, а сидѣлъ такой тихонькій и скромный, и ручонки его были благопрравно сложены на колѣняхъ. Глаза были сонливы и

апатичны, тонкія морщинки, какъ у стараго человѣка, ютились около глазъ и подъ носомъ. Вотъ замелькали у окна столбы и стропила платформы, и поѣздъ остановился.

Толкаясь среди торопившихся пассажировъ, они вышли на грохочущую улицу, и большой жадный городъ равнодушно поглотилъ свою маленькую жертву.

— Ты удочку спрячь!—сказалъ Петька, когда мать довела его до порога парикмахерской.

— Спрячу, сынокъ, спрячу! Можетъ, еще прїѣдешь.

И снова въ грязной и душной парикмахерской звучалъ отрывистый: „Мальчикъ, воды“, и посѣтителъ видѣлъ, какъ къ подзеркальнику протягивалась маленькая грязная рука и слышалъ неопредѣленно угрожающій шопотъ: „Вотъ, погоди!“ Это значило, что сонливый мальчикъ разлилъ воду или перепуталъ приказанія. А по ночамъ, въ томъ мѣстѣ, гдѣ спали рядомъ Николка и Петька, звенѣлъ и волновался тихій голосокъ и рассказывалъ о дачѣ и говорилъ о томъ, чего не бываетъ, чего никто не видѣлъ никогда и не слышалъ. Въ наступавшемъ молчаніи слышалось неровное дыханіе дѣтскихъ грудей, и другой голосъ, не по-дѣтски грубый и энергичный, произносилъ:

— Вотъ черти! Чтобъ имъ повылазило!

— Кто черти?

— Да такъ... Всѣ.

Мимо проѣзжалъ обозъ и своимъ мощнымъ громыханіемъ заглушалъ голоса мальчиковъ и тотъ отдаленный жалобный крикъ, который давно уже доносился съ бульвара: тамъ пьяный мужчина билъ такую же пьяную женщину.

Сентябрь 1899 г.



## У О К Н А .

Андрей Николаевич снялъ съ подоконника горшокъ съ засохшей геранью и сталъ смотрѣть на улицу. Всю ночь и утро сѣялъ частый осенній дождь, и деревянные домики, насквозь промокшіе, стояли сѣрыми и печальными. Одинокія деревья гнулись отъ вѣтра, и ихъ почернѣвшія листья то льнули другъ къ другу, шепча и жалуясь, то, разметавшись въ разныя стороны, тоскливо трепетали и бились на тонкихъ вѣтвяхъ. Наискосокъ, въ потемнѣвшемъ кривомъ домикѣ отвязалась ставня и съ тупымъ упорствомъ захлопывала половинку окна, таща за собой мокрую веревку, и снова со стукомъ ударялась о гнилыя бревна. И остававшаяся открытой другая половинка, со стоявшей на ней бутылкой желтаго масла и сапожной колодкой, смотрѣла на улицу хмуро и недовольно, какъ человѣкъ съ больнымъ и подвязаннымъ глазомъ.

За досчатою перегородкой, отдѣлявшей комнатку Андрея Николаевича отъ хозяйскаго помѣщенія, послышался голосъ, глухо и неторопливо бурчавшій:

— Дѣло вотъ въ чемъ—двѣ копейки потерялъ.

— Да брось ты ихъ, Федоръ Ивановичъ,—умолялъ женскій голосъ.

— Не могу.

Подъ тяжелыми шагами заскрипѣли половицы, и стукнула упавшая табуретка. Хозяинъ Андрея Николаевича, пекарь, когда бывалъ пьянъ, постоянно терять что-нибудь и не успокаивался, пока не находилъ. Чаше

всего онъ терялъ какія-то двѣ копейки, и Андрей Николаевичъ сомнѣвался, были ли онѣ когда-нибудь въ дѣйствительности. Жена давала ему свои двѣ копейки, говоря, что это потерянные, но Федоръ Ивановичъ не вѣрилъ, и приходилось перерывать всю комнату.

Вдохнувъ при мысли о глупости человѣческой, Андрей Николаевичъ снова обратился къ улицѣ. Прямо противъ окна, на противоположной сторонѣ, высился красивый барскій домъ. Деревянная вычурная рѣзба покрывала будто кружевомъ весь фасадъ, начинаясь отъ высокаго, темно-краснаго фундамента и доходя до конька желѣзной крыши, съ стоящимъ на ней такимъ же вычурнымъ шпилемъ. Даже въ эту погоду, когда все кругомъ стояло безжизненнымъ и грустнымъ, зеркальныя стекла дома сіяли, и тропическія растенія, отчетливо видныя, казались молодыми, свѣжими и радостными, точно для нихъ никогда не умирала весна, и сами они обладали тайной вѣчно-зеленой жизни. Андрей Николаевичъ любилъ смотрѣть на этотъ домъ и воображать, какъ живутъ тамъ. Смѣющіеся, красивые люди неслышно скользятъ по паркетнымъ поламъ, тонутъ ногой въ пушистыхъ коврахъ и свободно раскидываются на мягкой мебели, принимающей форму тѣла. За зелеными цвѣтами не видно улицы съ ея грязью, и все тамъ такъ красиво, уютно и чисто.

Въ пять или шесть часовъ пріѣзжаетъ обыкновенно со службы самъ владѣлецъ богатаго дома, красивый, высокій брюнетъ съ энергичнымъ выраженіемъ лица и бѣлыми зубами, дѣлающими его улыбку яркой и самоувѣренно-веселой. Съ нимъ часто пріѣзжаетъ какой-нибудь гость. Быстрыми и твердыми шагами всходятъ они на каменные ступени крыльца и, смѣясь, скрываются за дубовой дверью, а толстый и сердитый кучеръ дѣлаетъ крутой поворотъ и вѣзжаетъ на мощный дворъ, въ отдаленномъ концѣ котораго видны капитальныя службы и за ними высокія деревья стараго сада. И Андрей Ни-

колаевичъ представляетъ себѣ, какъ теперь встрѣчаетъ ихъ молодая хозяйка, какъ они садятся за столъ, украшенный зеленѣющимъ хрусталемъ и всѣмъ, чего Андрей Николаевичъ никогда не видалъ, ѣдятъ и смѣются. Однажды онъ встрѣтилъ обладателя бѣлыхъ зубовъ, когда тотъ ѣхалъ по улицѣ, разбрасывая резиновыми шинами мелкій щебень. Андрей Николаевичъ поклонился, и онъ весело и любезно отвѣтилъ, но лицо его не выразило ни малѣйшаго удивленія по поводу того, что ему кланяется какой-то желтоватый и худой господинъ въ фуражкѣ съ бархатнымъ околышемъ и кокардой, и онъ не задумался о причинѣ этого. Но причины не зналъ и самъ Андрей Николаевичъ.

— Вотъ въ чемъ дѣло,—говорилъ за перегородкой хозяинъ, раздумчиво и вразумительно,—это не тѣ двѣ копейки. Тѣ двѣ копейки щербатя.

— Господи, да когда же ты приберешь меня?

Андрей Николаевичъ сидѣлъ у окна, смотрѣлъ и слушалъ. Онъ хотѣлъ бы, чтобы вѣчно былъ праздникъ, и онъ могъ смотрѣть, какъ живутъ другіе, и не испытывать того страха, который идетъ вмѣстѣ съ жизнью. Время застывало для него въ эти минуты, и его зіяющая, прозрачная бездна оставалась недвижимой. Такъ могли пронестись года, и ни одного чувства, ни одной мысли не прибавилось бы въ омертвѣвшей душѣ.

Вотъ распахнулись ворота богатаго дома, выѣхалъ кучеръ и остановился у крыльца, расправляя на рукахъ возжи. „Это барыня сейчасъ поѣдетъ“,—подумалъ Андрей Николаевичъ. Въ дверяхъ показалась молодая, нарядно одѣтая женщина и съ нею сынъ, семилѣтній пузырь, съ лицомъ такимъ же смуглымъ, какъ у отца, и съ выраженіемъ суроваго спокойствія и достоинства. Заложивъ руки въ карманы длиннаго драповаго пальто, маленькій человѣчекъ благосклонно смотрѣлъ на вороного жеребца, горячо и нетерпѣливо перебиравшаго тонкими ногами, и съ тѣмъ же видомъ величаваго покоя



и всеобъемлющей снисходительности, не вынимая рукъ изъ кармановъ, позволилъ горничной поднять себя и посадить въ пролетку. Этого мальчика Андрей Николаевичъ называлъ про себя „вашимъ превосходительствомъ“ и искренно недоумѣвалъ, неужели такія дѣти какъ онъ, съ врожденными погонами на плечахъ, родятся тѣмъ же простымъ способомъ, какъ и другія дѣти? И когда обѣ женщины размѣялись на маленькаго генерала, съ задумчивымъ удивленіемъ посмотрѣвшаго на ихъ непонятную веселость, худенькій чиновникъ притаившійся у своего окна, невольно и съ почтеніемъ улыбнулся. Лошадь рванула съ мѣста и ровной, крупной рысью понесла подпрыгивающій экипажъ. Спрятавъ подъ передникъ красныя руки, горничная повертѣлась на крыльцѣ, сдѣлала гримасу и скрылась за дверь. Снова опустѣла и затихла мокрая улица, и только отвязавшаяся ставня хлопала съ такимъ безнадежнымъ видомъ, точно просила, чтобы кто-нибудь вышелъ и привязалъ ее. Но покривившійся домикъ точно вымеръ. Разъ только за его окномъ мелькнуло блѣдное женское лицо, но и оно не было похоже на лицо живого человѣка.

Андрей Николаевичъ никогда не завидовалъ этимъ людямъ и не хотѣлъ бы имѣть столько денегъ, какъ они. Давно уже, цѣлыхъ шесть лѣтъ, онъ слѣдилъ за красивымъ домомъ, и такъ сжилъ съ нимъ, что сгорѣ домъ—онъ не зналъ бы, что ему дѣлать. Онъ изучилъ всѣ привычки его обитателей, и когда въ прошломъ году, весной, пришли плотники и маляры и стали работать, Андрей Николаевичъ все свое свободное время проводилъ у окна и сильно тревожился. Ему казалось, что неуклюжіе маляры, тонкими голосками поющіе какія-то глупыя пѣсенки, обязательно испортятъ домъ. И хотя онъ вовсе не былъ испорченъ и еще ярче засіялъ, обмытый и помолодѣвшій, Андрею Николаевичу было жалъ стараго дома, въ которомъ онъ зналъ всякую трещину. Тамъ, гдѣ откосъ крыши сходилъ со стѣнами,

въ треугольничкѣ находилось мѣсто, которое онъ особенно любилъ за его уютность, и ему сдѣлалось особенно тяжело, когда плотники оторвали старую рѣзбу и уютный уголокъ, обнаженный, сверкающій бѣлымъ тесомъ отъ свѣжихъ ранъ, выступилъ на свѣтъ, и вся улица могла смотрѣть на него. И только разъ или два Андрею Николаевичу приходила мысль о томъ, что и онъ могъ бы быть человѣкомъ, который умѣетъ зарабатывать много денегъ, и у него тогда былъ бы домъ съ сияющими стеклами и красивая жена. И отъ этого предположенія ему становилось страшно. Теперь онъ тихо сидѣлъ въ своей комнаткѣ, и стѣны и потолокъ, до котораго легко достать рукой, обнимали его и защищали отъ жизни и людей. Никто не придетъ къ нему и не заговорить съ нимъ и не будетъ требовать отъ него отвѣта. Никто не знаетъ и не думаетъ о немъ, и онъ такъ спокоенъ, какъ будто онъ лежитъ на илистомъ днѣ глубокаго моря, и тяжелая, темно-зеленая масса воды отдѣляетъ его отъ поверхности съ ея бурями. И вдругъ бы у него богатство и власть, и онъ точно стоитъ на широкой равнинѣ, на виду у всѣхъ. Всѣ смотрятъ на него, говорятъ о немъ и трогаютъ его. Онъ долженъ говорить съ людьми, которые непрестанно приходятъ къ нему, и самъ онъ ходитъ въ дома съ высокими потолками и множествомъ оконъ, несущихъ яркій, бѣлый свѣтъ. И, ничѣмъ не защищенный, стоитъ онъ посрединѣ, словно на площади, по которой онъ такъ не любить ходить. Онъ обязанъ думать о деньгахъ, о томъ, чтобы онѣ не пропали и ихъ было больше, о женѣ, о фабрикѣ и о множествѣ странныхъ вещей. У него есть подчиненные, и необходимо давать приказанія, а если они не послушаются и станутъ спорить, то кричать и топтать ногами. Надо быть страшнымъ для другихъ и сильнымъ, очень сильнымъ,—и при этой мысли Андрей Николаевичъ чувствуетъ, что все тѣло его, руки, ноги становятся мягкими, точно изъ нихъ вынуты всѣ му-

скулы и кости. Это чувство является у него всякій разъ, когда ему приходится дѣлать что-нибудь свое, неприкрытое и неприказанное.

Въ своей канцеляріи онъ чувствуетъ себя хорошо. Столъ его, все одинъ и тотъ же за пятнадцать лѣтъ,—крытый клеенкой столъ притиснуть въ самый уголъ, и когда приходитъ совѣтникъ, онъ не видитъ Андрея Николаевича за другими чиновниками. Все же въ эти минуты ему жутко, и лишь послѣ того, какъ совѣтникъ пройдетъ, и согнутыя спины распрямятся, словно колосья ржи послѣ промчавшагося вѣтра, Андрей Николаевичъ сознаетъ себя въ полной безопасности. И только помощникъ секретаря, который беретъ у него переписанныя бумаги и даетъ новыя, знаетъ, что существуетъ на свѣтѣ очень исполнительный и скромный чиновникъ, пишущій „д“ съ большимъ росчеркомъ и „р“, похожее на скрипичный знакъ, и что зовутъ его Андреемъ Николаевичемъ, товарищи дразнятъ его „Сусли-Мысли“, а фамилія извѣстна одному казначею. Въ свою очередь, чиновникъ этотъ знаетъ, что онъ будетъ дѣлать завтра и всю жизнь, и ничто новое и страшное не встрѣтится на пути. Пять лѣтъ тому назадъ его назначили старшимъ чиновникомъ—и что это за страшные были дни!

Надвинулась туча, и въ комнаткѣ Андрея Николаевича потемнѣло. Онъ смотрѣлъ въ окно, какъ вѣтеръ пригибаетъ къ крышѣ ракиту, безсильную въ своемъ трепетномъ сопротивленіи, и старался думать о томъ, переломится ли дерево, или нѣтъ, и чувствуются ли вѣтеръ этотъ и туча въ богатомъ домѣ. Но размышленія шли вяло, и картина жизни въ богатомъ домѣ оставалась тусклой. Въ созданной Андреемъ Николаевичемъ крѣпости, гдѣ онъ отсиживался отъ жизни, есть слабое мѣсто, и только онъ одинъ знаетъ ту потаенную калиточку, откуда неожиданно появляются непріатели. Онъ безопасенъ отъ вторженія людей, но до сихъ поръ онъ ничего не могъ подѣлать съ мыслями. И онъ приходятъ, раз-

двигаютъ стѣны, снимаютъ потолокъ и бросаютъ Андрея Николаевича подъ хмурое небо, на середину той безконечной, открытой отовсюду площади, гдѣ онъ является какъ бы центромъ мірозданія, и гдѣ ему такъ нехорошо и жутко. Вотъ сейчасъ, когда онъ только что обрадовался неслышному движенію времени, незамѣтно подкрались враги, и онъ уже не въ силахъ бороться съ ними. Стѣны уже нѣтъ и нѣтъ его комнаты. Онъ опять стоитъ передъ совѣтникомъ, чувствуетъ, какъ обмякли его ноги и руки, и, словно привороженный, смотритъ на сіяющій бликъ его лысины. Такъ медленно проползаетъ секунда, двѣ. Подошвы совсѣмъ прилипли къ полу, и сдвинуть Андрея Николаевича не могла бы дюжина лошадей.

— Ну, что еще?—замѣчаетъ его совѣтникъ, уже отдавшій всѣ необходимыя приказанія. Голосъ его гремитъ, какъ труба на страшномъ судѣ, и ноги Андрея Николаевича сейчасъ же сдвигаются, но не идутъ къ двери, гдѣ спасеніе, а танцуютъ на одномъ мѣстѣ. Языкъ, однако, еще не отклеился, и оторвать его можно только щипцами.

— Н-ну?—протянула труба.

— А... если Агаповъ къ двумъ часамъ не перепишетъ?

— Да...—задумался начальникъ.—Ну, дайте тогда на домъ. Что еще? Ясно?

— Ясно,—отвѣчаетъ Андрей Николаевичъ въ тонъ вопросу, рѣзко и отрывисто. Онъ плохо понимаетъ, что ему говорятъ, потому что новый и страшный вопросъ возникаетъ въ его мозгу.

— Такъ... чего же вамъ еще?—рычитъ труба.

— А... если у него есть другая спѣшная работа?

Это была правда. У Агапова могла быть другая спѣшная работа, и совѣтникъ объ этомъ не подумалъ. Снова, съ неудовольствіемъ оторвавшись отъ бумаги, онъ обратилъ на Андрея Николаевича нетерпѣливый взглядъ и ничего не могъ придумать.

— Ну, дайте кому-нибудь еще.

— А если...

— Что-съ?—рванулъ совѣтникъ. Глаза его стали огромные и круглые, какъ кегельные шары. Андрей Николаевичъ обомлѣлъ отъ страха.

— Нѣтъ, нѣтъ, не то,—скороговоркой проговорилъ онъ и изъ невольнаго подражанія закричалъ на начальника такъ же громко, какъ и тотъ на него,—похоже было на разговоръ людей, раздѣленныхъ широкимъ оврагомъ: я вамъ говорю, если мы на сегодняшнюю почту опоздаемъ, тогда что?

Остальное представляется Андрею Николаевичу въ видѣ одного звука: ф-фа! Черезъ недѣлю совѣтникъ говорилъ секретарю:

— Откуда вы достали этого господина, который по горло заряженъ всякими „если“? Все, что онъ предполагаетъ, можетъ случиться, хотя мнѣ это и въ голову не приходило. Но вѣдь и домъ этотъ можетъ провалиться!—вдругъ разсердился онъ.—Вѣдь можетъ?

— Казенной постройки, — пошутилъ секретарь и серьезно добавилъ: — никакъ не полагалъ: онъ такой исполнительный...

— Дерзкій еще такой, кричитъ. Уберите его на старое мѣсто.

И Андрея Николаевича убрали, а у него цѣлую еще недѣлю руки и ноги были мягкими, какъ у дешевой куклы, набитой отрубями.

На улицѣ слышались гнусавые и рѣзкіе звуки гармоники. По противоположной сторонѣ шли четверо пьяныхъ, одѣтыхъ въ длиннополье сюртуки, высокіе узкіе сапоги и картузы, у которыхъ поля были острые, какъ ножи. Всѣ четверо были молоды и шли съ совершенно серьезными и даже печальными лицами. Одинъ, высоко держа гармонику, наигрывалъ однообразный трескучій мотивъ, отъ котораго въ глазахъ желтѣло.

Когда уличные ребяташки, подражая взрослымъ, играли въ пьяныхъ и, вмѣсто гармоникъ, держали въ рукахъ чурки, они изображали этотъ мотивъ такъ:

— Ган-на-нидаръ, ган-на-нидаръ — ган-на-нидаръ, най-на.

Противъ красиваго дома на мостовой было единственно сравнительно сухое мѣсто на всей улицѣ, и одинъ изъ пьяныхъ выдѣлился впередъ и сталъ плясать, пристукивая каблуками и изгибаясь всѣмъ тѣломъ. Лицо его, молодое, дерзкое, съ небольшими свѣтлыми усиками, осталось такимъ же серьезнымъ и даже печальнымъ, какъ будто давнымъ-давно ему наскучило быть пьянымъ и плясать на грязной мостовой подъ этотъ трескучій, невеселый мотивъ. Остальные смотрѣли на него такъ же равнодушно и вяло, не выражая ни одобренія, ни порицанія, и чѣмъ-то безпросвѣтно тоскливымъ вѣяло отъ этого страннаго веселья подъ хмурымъ осеннимъ небомъ среди сѣрыхъ покосившихся домишекъ.

„Ванька Гусаренокъ! — подумаль Андрей Николаевичъ. — Пляшетъ—значить будетъ сегодня жену бить“.

Когда пьяные прошли, и уныло-задорные звуки гармоникъ стихли, изъ покосившагося домика съ хлопающей ставней вышла женщина, жена Гусаренка, и остановилась на крылечкѣ, глядя вслѣдъ за прошедшимъ. На ней была красная ситцевая блуза, запачканная сажей и лоснившаяся на томъ мѣстѣ, гдѣ округло выступала молодая, почти дѣвическая грудь. Вѣтеръ трепаль грязное платье и оббиваль его вокругъ ногъ, обрисовывая ихъ контуры, и вся она, съ босыхъ маленькихъ ножекъ до гордо повернутой головки, походила на античную статую, жестокой волей судьбы брошенную въ грязь провинціального захолустья. Правильное, красивое лицо съ крутымъ подбородкомъ было блѣдно, и синіе круги увеличивали и безъ того большіе черные глаза. Въ нихъ странно сочетался гнѣвъ и боязнь, тоска и пре-

зрѣніе. Долго еще стояла на крылечкѣ Наташа и такъ пристально смотрѣла вслѣдъ мужу, идущему изъ одного кабака въ другой, точно всей своей силой воли хотѣла вернуть его обратно. Рука, которой она держалась за косякъ двери, замерла; волосы отъ вѣтра шевелились на головѣ, а давно отвязавшаяся ставня упорно продолжала хлопать, съ каждымъ разомъ повторяя: нѣтъ, нѣтъ, нѣтъ.

„Вотъ баба-то! — ужаснулся Андрей Николаевичъ, когда Наташа ушла, не бросивъ взгляда на окно, за которымъ онъ прятался. — И слава Богу, что я на ней не женился“.

Андрей Николаевичъ даже разсмѣялся отъ удовольствія, но оно было непродолжительно. Еще не разглядились морщинки, образовавшіяся отъ смѣха, какъ въ потаенную калиточку ворвались враги. Образъ Наташи, еще не сошедшій съ сѣтчатки его глаза, выросъ передъ нимъ яркій и живой, а рядомъ выступила другая картинка, безъ всякаго предупрежденія, внезапно. Стѣны раздвинулись и исчезли, на него пахнуло полемъ и запахомъ скошеннаго сѣна. Надъ чернымъ краемъ земли неподвижно висѣлъ багрово-красный дискъ луны, и все кругомъ было такъ загадочно, тихо и странно.

„Господи,—сказалъ Андрей Николаевичъ съ мольбой,—развѣ мало того, что это было когда-то, нужно еще, чтобы оно постоянно являлось. Миѣ совсѣмъ этого не нужно, я не хочу этого“.

Желтыми отъ табаку пальцами онъ оторвалъ кусокъ толстой папиросной бумаги, похожей на оберточную, досталъ изъ жестянки щепотку мелкаго табаку и свернулъ папироску, склеивая концы бумаги языкомъ. За перегородкой, задыхаясь и сопя, храпѣлъ Федоръ Ивановичъ. Обезсиленный волкой и поисками двухъ копеекъ, онъ заснулъ и проснется только вечеромъ, когда стемнѣетъ. Воздухъ изнутри съ силой поднимался къ горлу спящаго, бурлилъ, ища себѣ выхода, и съ легкимъ ши-

пѣніемъ выходилъ наружу, отравляя комнату запахомъ перегорѣлой водки. Проснувшись, Ѳедоръ Ивановичъ будетъ долго и мучительно кашлять выворачивающимъ всѣ внутренности кашлемъ, выпьетъ квасу и потомъ водки, и снова начнутся мученія его жены. Такъ бывало каждый праздникъ. Андрею Николаевичу стало досадно на этого толстаго, рыхлаго человѣка, который всю недѣлю томится отъ жара у раскаленной печи, а въ праздникъ задыхается отъ водки.

Онъ обратился къ улицѣ. Изъ-за разорванныхъ тучъ выглянуло на мигъ солнце и скучнымъ, желтымъ свѣтомъ озарило мокрую и печальную улицу. Только противоположный домъ стоялъ все такимъ же гордымъ и веселымъ, и окна его сіяли. Но Андрей Николаевичъ не видѣлъ его. Онъ видѣлъ то, что было когда-то и что такъ упорно продолжало являться на зло всѣмъ стѣнамъ и заборамъ.

Наташа никогда не была веселой, даже и въ то время, когда она была еще дѣвушкой, красивой и свободной, и любви ея добивались многіе. При первой встрѣчѣ съ ней Андрей Николаевичъ испыталъ непріятное чувство стѣсненія и робости. Онъ съ тревогой слѣдилъ за ея рѣзкими и неожиданными движеніями, и ему казалось, что сейчасъ Наташа скажетъ или сдѣлаетъ что-нибудь такое, отъ чего всѣмъ присутствующимъ на вечеринкѣ станетъ совѣстно. Вмѣстѣ съ другими дѣвушками она пѣла пѣсни, но не старалась кричать вмѣстѣ съ ними какъ можно выше и громче, а шла въ одиночку съ своимъ низкимъ и нѣсколько грубоватымъ контральто, и какъ будто пѣла для одной себя. Когда Гусаренокъ, также бывшій на этой вечеринкѣ, и, по обыкновенію, нѣсколько пьяный, игриво обнялъ ее за талію, она грубо оттолкнула его и, покраснѣвъ, сказала что-то, отъ чего его свѣтлые усики запрыгали, и глаза стали жесткими и вызывающими. Съ дерзкимъ смѣхомъ, не оборачиваясь, онъ показалъ пальцемъ на Андрея Николаевича,—



Наташа молча повернула голову, и ея черные глаза устремились на него, не то спрашивая, не то приказывая сдѣлать что-то, сейчасъ, немедленно. И онъ хотѣлъ отвести отъ нихъ свои глаза и не могъ, и испытывалъ то же состояніе безволія, порабощенія, какъ и въ ту минуту, когда онъ глядѣлъ, не отрываясь, на блестящую лысину начальника. Лица Наташи видно не было, и только ея глаза, страшно большіе и страшно черные, сверкали передъ нимъ, какъ черные алмазы. И все продолжая смотрѣть на него, Наташа поднялась съ мѣста, быстрой, увѣренной походкой прошла комнату и сѣла съ нимъ рядомъ такъ просто и свободно, точно онъ звалъ ее, и заговорила, какъ старая знакомая.

— Мы вамъ попомнимъ это, Наталья Антоновна,—сказалъ, проходя, Гусаренокъ. На Андрея Николаевича онъ не взглянулъ, но въ его вздрагивающихъ усикахъ чувствовалась угроза.

— Счастливо оставаться, вѣкъ не разставаться,—проговорилъ Гусаренокъ, не получая отъ Наташи отвѣта, и вышелъ, заливчато заломивъ картузь. Черезъ секунду подъ окнами послышалась гармоника и высокій, пріятный теноръ:

Она, моя милая,  
Сердце мое вынула,  
Сердце мое вынула,  
Въ окно съ соромъ кинула...

— Онъ васъ побьетъ, вы берегитесь,—сказала Наташа.

— Не смѣть, я чиновникъ,—возразилъ Андрей Николаевичъ и, дѣйствительно, нисколько не боялся. На него точно просвѣтлѣніе какое нашло. Онъ не только отвѣчалъ на вопросы Наташи, но говорилъ и самъ и даже спрашивалъ ее, и не удивлялся, что говорить такъ складно и хорошо, какъ будто всю жизнь только этимъ дѣломъ и занимается. И думая и говоря, онъ въ то же время съ особенной отчетливостью видѣлъ все окружающее. и грязный полъ, усыпанный шелухой отъ

подсолнуховъ, и хихикающихъ дѣвушекъ, и небольшую прихотливую морщину на низкомъ лбу Наташи.

Но какъ только Наташа отошла отъ него, имъ овладѣло чувство величайшаго страха, что она снова подойдетъ и снова заговорить. И Гусаренка онъ сталъ бояться и долго находился въ нерѣшимости, что ему дѣлать: идти ли домой, чтобы спастись отъ Наташи, или оставаться здѣсь, пока Гусаренка не заберутъ въ участокъ, о чемъ извѣстно будетъ по свисткамъ.

Весь слѣдующій день Андрей Николаевичъ томился страхомъ, что придетъ Наташа, и ноги его нѣсколько разъ обмякали при воспоминаніи о томъ, какъ онъ, Андрей Николаевичъ, былъ отчаянно смѣлъ вчера. Но когда за перегородкой, у хозяйки, онъ услышалъ низкій голосъ Наташи, онъ, подхваченный невѣдомой силой, сорвался съ мѣста и развязно вошелъ въ комнату. Такъ во время сраженія впереди батальона бѣжить молоденькій солдатикъ, размахиваетъ руками и кричить „ура!“... Подумаешь, что это самый храбрый изъ всѣхъ, а у него холодный потъ льетъ по блѣдному лицу, и сердце разрывается отъ ужаса. Но едва Андрею Николаевичу метнулись въ глаза два черные алмаза, страхъ тотчасъ же пропалъ, и стало легко и спокойно.

Промчалось невидныхъ два мѣсяца, и вышло такъ, что Наташа и Андрей Николаевичъ любятъ другъ друга. Это видно было изъ того, что онъ цѣловалъ Наташу и въ щеки, и въ эти черные страшные глаза, щекотавшіе губы своими рѣсницами. При этомъ Наташа подтверждала существованіе любви, говоря:

— Не нужно цѣловать въ глаза, — примѣта нехорошая.

— Какая же такая примѣта?—смѣялся Андрей Николаевичъ и чувствовалъ, насколько онъ, человекъ образованный, прошедшій два класса реального училища, выше этой темной дѣвушки, вѣрящей во всякія примѣты.

— Такая. Разлюбите меня, вотъ что.

Разъ есть возможность разлюбить—значить, любовь существуетъ. Но откуда же она взялась? И куда она дѣвалась на то время, когда Андрей Николаевичъ не видѣлъ Наташи? Тогда дѣвушка эта казалась ему совершенно чуждой и далекой отъ него, и въ поцѣлуи ея такъ же трудно вѣрилось, какъ если бы онъ сталъ думать о поцѣлуяхъ той богатой барыни, что живетъ напротивъ. Въ самомъ словѣ „Наташа“ звучало для него что-то странное, чужое, точно онъ до сихъ поръ не слыхалъ этого имени и не встрѣчалъ подобнаго сочетанія звуковъ. Наташа... Онъ ничего не зналъ о Наташѣ и о ея прошлой жизни, о которой она не любила говорить.

— Жила, какъ и люди жпвуть,—говорила она.—Вы лучше о себѣ расскажите.

Эта просьба всегда затрудняла Андрея Николаевича, потому что рассказывать было не о чемъ. Ему тридцать четыре года, а въ памяти отъ этихъ лѣтъ нѣтъ ничего, такъ, сѣренькій туманъ какой-то, да та особенная жуть, которая охватываетъ человѣка въ туманѣ, когда передъ самыми глазами стоитъ сѣрая, непроницаемая стѣна. Былъ у него отецъ, маленькій, рыженькій чиновникъ въ большихъ калошахъ и съ огромнымъ сверткомъ бумагъ подъ мышкой; была мать, худая, длинная и рано умершая вмѣстѣ со вторымъ ребенкомъ. Потомъ, съ 16 лѣтъ, Андрей Николаевичъ сталъ также чиновникомъ и ходилъ вмѣстѣ съ отцомъ на службу, и подъ мышкой у него былъ также большой свертокъ бумагъ, а на ногахъ старыя отцовскія калоши. Отецъ умеръ отъ холеры, и онъ сталъ ходить на службу одинъ. Въ молодости онъ очень любилъ играть на билліардѣ, игралъ на гитарѣ и ухаживалъ за барышнями. Пытался онъ тогда перемѣнить свою участь, бросить казенную службу, но какъ-то все не удавалось. Разъ уже ему обѣщали хорошее мѣсто, да пришелъ кто-то другой и сѣлъ на это мѣсто.

такъ онъ не приче́мъ и остался. Да можетъ быть, это и къ лучшему было, потому что тотъ, похититель, и года не просидѣлъ на своемъ мѣстѣ, а онъ вотъ до сихъ поръ ничего, служить.

— И только?—спрашивала съ недовѣріемъ Наташа.

— И только. Чего же еще?

— А я не такъ думала. Я думала, у васъ другая жизнь, не такъ, какъ у насъ. Книжки читаете и все говорите такъ тихо, благородно, и все о хорошемъ, чувствительномъ.

— Читалъ я и книжки, да что въ нихъ толку? Все выдумка одна.

— А божественное?

— Кто же теперь читаетъ божественное? Купцы одни, какъ нахапаютъ побольше, такъ божественное читаютъ. А у насъ и безъ того грѣховъ мало.

— И не скучно вамъ такъ-то, все одному да одному?

— Чего же скучать? Сытъ, одѣтъ, обутъ, у начальства на хорошемъ счету. Секретарь прямо говоритъ: примѣрный вы, говоритъ, чиновникъ, Андрей Николаевичъ. Кто губернатору доклады переписываетъ—я не бойсь!

— Да вамъ же скучно безъ людей?

— Да что въ нихъ, въ людяхъ? Свара одна, да неприятности. Не такъ скажешь, не такъ сядешь. Одинъ-то я самъ себѣ господинъ, а съ ними надо... А то пьянство, картежъ, да еще начальству донесутъ, а я люблю, чтобы все было тихо, скромно. Тоже вѣдь не кто-нибудь я, а коллежскій секретарь—вонъ какая птица, тебѣ и не выговорить. Другіе вонъ и благодарность принимаютъ, а я не могу. Еще попадешься грѣшнымъ дѣломъ.

Но Наташа не удовлетворялась. Она хотѣла знать, какъ живутъ у нихъ, у чиновниковъ, жены, дочери и дѣти. Пьютъ-ли мужья водку, а если пьютъ, то что дѣлаютъ пьяные и не бьютъ ли женъ, и что дѣлаютъ,

послѣднія, когда мужья бываютъ на службѣ. И по мѣрѣ того, какъ Андрей Николаевичъ рассказывалъ, лицо Наташи застывало, и только прихотливая морщинка на низкомъ лбу двигалась съ выраженіемъ упорной мысли и тяжелаго недоумѣнія.

— Прощайте,—тихо говорила Наташа и уходила. А онъ, поцѣловавъ ея холодную, неподвижную щеку, думалъ: „Чего ей надо? Только тоску на людей нагоняетъ“.

Разъ лѣтомъ, они долго сидѣли въ хозяйскомъ саду и потомъ вышли на берегъ. Солнце зашло въ облакахъ и только узкая багрово-красная полоска горѣла на горизонтѣ, обѣщая на завтра вѣтеръ. Вода была неподвижна, и имъ сверху казалось, что они смотрятъ не въ рѣку, а въ небо. На томъ берегу на много верстъ тянулись бакши, и соломенный шалашъ сторожа чуть бѣлѣлъ на землѣ, казавшейся черной отъ контраста съ свѣтлымъ небомъ. Недалеко отъ шалаша горѣлъ костеръ, и пламя его поднималось вверхъ прямымъ и тонкимъ лезвіемъ, какъ отъ восковой свѣчи. Со стороны садовъ пахло лежалыми яблоками и свѣже-скопленнымъ сѣномъ. На улицѣ ударилъ въ колтушку сторожъ, вышедшій на ночное дежурство, и галки, облѣпившія высокія ракиты, зашумѣли листьями и подняли долгій, несмолкающій крикъ. И снова настала тишина.

— Въ какомъ ухѣ звенить? — спросила Наташа и наклонила голову, боясь потерять этотъ тоненькій, звенящій голосокъ.

— Въ лѣвомъ, — невнимательно отвѣтилъ Андрей Николаевичъ и не угадалъ. Но онъ и не старался объ этомъ,—тихий вечеръ расположилъ его къ такой же тихой грусти и размышленіямъ о жизни. Слѣдя прищуренными глазами за костромъ, онъ ошущью досталъ портсигаръ и закурилъ, и дымъ легкими колечками поднимался и таялъ въ воздухѣ, полномъ прозрачной мглы. Не торопясь, прерывая себя долгими минутами

молчанія, Андрей Николаевичъ сталъ говорить о томъ, какая это и странная, и ужасная вещь жизнь, въ которой такъ много всего неожиданнаго и непонятнаго. Живутъ люди и умираютъ и не знаютъ нынче о томъ, что завтра умрутъ. Шелъ чиновникъ въ погребокъ за пивомъ, а на него сзади карета наѣхала и задавила, и вмѣсто пива къ ожидавшимъ пріятелямъ принесли еще неостывшій трупъ. Получилъ чиновникъ награду, пошла его жена Бога благодарить, а въ церкви деньги у нея и вытащили. И куда ни сунься, все люди грубые, шумные, смѣлые, такъ и прутъ впередъ и все побольше захватить хотятъ. Жестокосердые, неумолимые, они идутъ на-проломъ со свистомъ и гоготомъ и топчутъ другихъ, слабыхъ людей. Пискъ одинъ несется отъ растоптанныхъ, да никто и слышать его не желаетъ. Туда имъ и дорога!

Въ голосѣ Андрея Николаевича звучалъ ужасъ, и весь онъ казался такимъ маленькимъ и придавленнымъ. Спина согнулась, выставивъ острые лопатки, тонкіе худые пальцы, не знающіе грубаго труда, безсильно лежали на колѣняхъ. Точно всѣ груды бумагъ, переписанныхъ на своемъ вѣку, и имъ, и его отцомъ, легли на него и давили своей многопудовой тяжестью.

— Такъ вотъ всю жизнь и проживешь,—сказалъ онъ послѣ долгой паузы, продолжая какую-то свою мысль.

— Вы бы... ушли куда-нибудь.

— Куда идти-то?

Наташа помолчала и вдругъ обхватила рукой шею Андрея Николаевича и прижала его голову къ своей груди.

— Голубчикъ ты мой!

Первый разъ говорила она Андрею Николаевичу „ты“. При порывистомъ движеніи Наташи, фуражка съ бархатнымъ околышемъ свалилась съ головы и теперь катилась внизъ, подскакивая на неровностяхъ обрыва.

Твердая рука Наташи крѣпко прижимала голову Андрея Николаевича къ упругой груди, и ему было тепло и ничего не страшно, только до боли жаль себя. Онъ хотѣлъ сказать что-нибудь сильное, хорошее и такое жалостливое, чтобы Наташа заплакала, но такихъ словъ не находилось на его языкѣ, и онъ молчалъ. Согнутой шеѣ становилось больно отъ неудобнаго положенія, и Андрей Николаевичъ попытался высвободить свою голову, но твердая рука только сильнѣе прижала ее къ горячей груди. Вдыхая запахъ молодого, здороваго тѣла, онъ скосилъ глаза и изъ-подъ руки Наташи увидѣлъ очистившееся и потемнѣвшее небо со слабо мерцавшими звѣздами. Немного ниже, тамъ гдѣ черныи край земли сливался съ смутно-чернымъ небомъ, неподвижно висѣлъ красный дискъ луны, казавшійся близкимъ и страшнымъ. Безмолвный, угрюмый, онъ не издавалъ лучей и висѣлъ надъ землею, какъ исполинская угроза какимъ-то близкимъ, но невѣдомымъ бѣдствіемъ. Въ нѣмомъ ужасѣ застыла рѣка и болтливый тростникъ, и черная даль. Костеръ на томъ берегу давно уже потухъ, и ни одинъ звукъ не нарушалъ грозной тишины.

Наташа вздрогнула и выпустила голову Андрея Николаевича.

— Ну, пойдемте.

Охваченный свѣжимъ воздухомъ, онъ поднялся и, сдѣлавъ шагъ къ Наташѣ, приготовился сказать ей то важное и значительное, для чего у него не находилось словъ.

— Наташа...—началъ онъ нерѣшительно, приподнявъ брови и выпятивъ губы. Гладко прилизанная голова его была на этотъ разъ всклокочена, и рѣдкіе желтые волосики стояли, какъ у дикообраза.

— Ну?

— Наташа...—повторилъ онъ, забывъ, что хотѣлъ сказать.—Наташа, дѣло вотъ въ чемъ...

— Двѣ копейки потеряли? Какоѣ вы смѣшной!—и Наташа разсмѣялась. Смѣялась она непріятно, какимъ-то чужимъ и неестественнымъ голосомъ.

Андрей Николаевичъ обидѣлся и молча досталъ фуражку, а дорогой домоѣ выговаривалъ Наташѣ за ея смѣхъ и упрекалъ за неумѣнье держаться въ приличномъ обществѣ.

Андрей Николаевичъ сидѣлъ у окна и настойчиво смотрѣлъ на улицу, но она была все также безлюдна и хмура, и въ покосившемся домикѣ продолжала ударять о стѣну отвязавшаяся ставня, точно загоняя гвозди въ чей-то свѣжіѣ гробъ. „Привязать не можетъ!“—подумалъ Андрей Николаевичъ съ гнѣвомъ на Наташу и, взглянувъ на часы, убѣдился, что ему время обѣдать и даже прошло уже лишнихъ пять минутъ. Послѣ обѣда онъ легъ отдохнуть, но сонъ долго не приходилъ, и, вообще, праздникъ былъ испорченъ. А за перегородкой, точно на зло, храпѣлъ Федоръ Ивановичъ, и воздухъ бурлилъ въ его горлѣ и съ шипѣніемъ выходилъ наружу.

Послѣ вечера на берегу, на другоѣ же день, пачался разладъ и былъ такъ же мало понятенъ, какъ и начало любви. У Андрея Николаевича давно уже явилась весьма непріятная догадка и къ этому времени перешла въ увѣренность: Наташа хочетъ выйти замужъ и именно за чиновника. Она женщина неграмотная, говоритъ „теперича“, „поѣмши“; она по ремеслу папиросница, и часто, когда она дѣлаетъ папиросы на дому, ей приходится терпѣть наглую любезности и заигрыванія. И вотъ она ищетъ мужа съ положеніемъ, образованнаго, который могъ бы быть ей покровителемъ и защитникомъ, а такихъ на всей улицѣ только одинъ и есть—онъ, Андрей Николаевичъ Николаевъ. Какъ женщина умная и хитрая, она скрываетъ свои плапы и дѣлаетъ видъ, что любитъ безкорыстно. А такъ какъ до сихъ поръ эта тактика ни къ чему не привела, и Андрей Николаевичъ оста-



вался твердъ, какъ гранитъ, Наташа начала прибѣгать къ другому средству, которымъ опытнаго человѣка, въ молодости ухаживавшаго за барышнями, никакъ не проведешь: дѣлаетъ видъ, что ни на грошъ не любитъ Андрея Николаевича и нарочно расхваливаетъ Гусаренку за его силу и молодечество. А этого Гусаренка на-дняхъ вели въ участокъ; рубашка его была разорвана съ верху до низу, и по бѣлому, какъ мѣль, лицу текла красная струйка крови. Сзади бѣжали и улюлюкали мальчишки, а одинъ изъ городскихъ, такой же блѣдный, какъ и Гусаренко, методически ударялъ его кулакомъ, и бѣлая голова откачивалась. И такого-то она можетъ полюбить!

Для Андрея Николаевича начались страшныя терзанія, и появились вопросы, отъ которыхъ онъ обмякалъ по нѣскольку разъ въ день. Когда онъ смотрѣлъ на Наташу и прикасался къ ней, ему хотѣлось жениться, и эта женитьба казалась легкой, но въ остальное время мысль о бракѣ нагоняла страхъ. Онъ былъ человѣкомъ, который заболѣваетъ отъ перемѣны квартиры, а тутъ являлось столько новаго, что онъ могъ умереть. Идти къ священнику, искать шаферовъ, которые могутъ не явиться, и тогда за ними надо ѣхать, а съ извозчикомъ торговаться; потомъ идти или ѣхать въ церковь, которая можетъ быть заперта, а сторожъ потерялъ ключъ, и народъ смѣется. А тамъ нужно искать новую квартиру и переходить въ нее, и все пойдетъ по новому. И обо всемъ необходимо думать, заботиться, говорить. А если дѣти пойдутъ? И притомъ, не дай Богъ, двоешки, и все дѣвочки, которымъ нужно приданое. А если новая квартира будетъ сырая и угарная? И Андрей Николаевичъ отчаяннымъ жестомъ ворошилъ волосы и готовъ былъ завтра же сказать Наташѣ все, если бы не боязнь, что она убьетъ себя или пожалуется дикарю Гусаренку, и тотъ изувѣчитъ Андрея Николаевича или просто посмотритъ на него такъ, что хуже всякаго увѣчья. Люди,

которые женятся, начали казаться Андрею Николаевичу героями, и онъ съ уваженіемъ смотрѣлъ на Федора Ивановича и хозяйку, которые сумѣли жениться и остались живы. Разъ даже онъ написалъ Наташѣ:

„Милостивая государыня,

Наталя Антоніевна!

Симъ письмомъ отъ 22 августа текущаго года имѣю честь поставить васъ, милостивая государыня, въ извѣстность о томъ, что по слабости здоровья, изнеможенного трудами и бдѣніемъ на пользу престола и отечества, будучи чиновникомъ тринадцатаго класса и похоронивъ родителей, папеньку Николая Андреевича и маменьку Дарью Прохоровну, во блаженномъ успѣшномъ вѣчный покой...”

Но такъ какъ Наташа была безграмотна, то онъ письма не послалъ, но нѣсколько разъ перебѣлялъ его для себя и прибавлялъ новые пункты. По счастью, никакихъ объясненій не понадобилось: Наташа перехватила самое себя. Сперва не позволила себя цѣловать—Андрей Николаевичъ ни гу-гу. Потомъ раза два не пришла на свиданіе. Андрею Николаевичу было обидно, но онъ даже и виду не показалъ, а держался развязно, съ достоинствомъ и только слегка далъ ей понять о неприличіи ея поведенія. Потомъ совсѣмъ перестала ходить, и однажды хозяйка принесла радостную вѣсть, что Наташа выходитъ замужъ за Гусаренка.

— Этакого гуся выбрала!—негодовала хозяйка и сочувственно смотрѣла на Андрея Николаевича, думая: „Вишь гордецъ какой: нарочно веселость изъ себя изображаетъ“. А чиновники, глупые люди, смотрѣли на него въ этотъ день съ изумленіемъ; думали, что онъ женится, поздравляли его и говорили:

— Ай да „Сусли-Мысли“: какую штуку выкинулъ!

А онъ именнѣе не женился!

На красной горкѣ была Наташина свадьба. Это былъ

второй радостный день, когда Андрей Николаевич сидѣлъ, по обыкновенію, у окна и видѣлъ, какъ трясется отъ топота пляшущихъ покосившійся домикъ и слушаль доносившійся оттуда веселый гомонъ и визгъ гармоник. Подумать только, что онъ могъ быть центромъ этого буйнаго сборища! И съ особенной радостью онъ услышалъ, уже поздно ночью, какъ въ покосившемся домикѣ зазвѣпѣли разбиваемыя стекла, понеслись дикіе крики и визгливые женскіе вопли. Мимо его окна, громко топоча ногами, пробѣжалъ кто-то, и вслѣдъ за этимъ послышались звуки борьбы, тяжелое дыханіе и паденіе тѣла.

— Стой, не уйдешь!—хрипѣлъ съ натугой голосъ, чередуясь со шлепками ударами по чему-то мягкому и мокрому. И чуть ли голосъ этотъ не принадлежалъ герою торжества—Гусаренку.

— Караул!

Точно проснувшись, испуганно затрещала колотушка сторожа, и еѣ заворилъ журчащій свистокъ городского Баргамота. Словно эхомъ отвѣтили ему вдали другіе свистки.

„Вотъ такъ первая ночь повобрачнаго—въ участкѣ“,— съ злорадствомъ усмѣхнулся Андрей Николаевичъ, не торопясь, съ лѣнливымъ комфортомъ повернулся въ своей одинокой и свободной кровати на другой бокъ и заключилъ такъ:

„Вы тамъ себѣ деритесь, а я—засну!“

И это „засну“, ехидное, шипящее, вырвалось изъ его груди, какъ крикъ побѣднаго торжества, и было послѣднимъ гвоздемъ, который вбилъ онъ въ крышку своего гроба. Улица продолжала шумѣть, и Андрей Николаевичъ накрылъ голову подушкой. Стало тихо, какъ въ могилѣ.

На слѣдующій день Андрей Николаевичъ узналъ причину ссоры на свадьбѣ Наташи: Сергѣй Козюля, когда напился пыпъ, сказалъ, что Наташа имѣла лю-

бовника,—Андрея Николаевича, который получилъ съ нея, что нужно, и потомъ бросилъ ее. За эти слова Гусаренокъ побилъ Козюлю и другихъ вступившихся за него, потомъ былъ побитъ самъ и, дѣйствительно, почеваль въ участкѣ. Узнавъ все это, Андрей Николаевичъ обрадовался, что его, въ какой бы то ни было формѣ, но вспомнили, и что Наташа будетъ теперь знать, какъ отказываться отъ любящаго человѣка ради одного женскаго вѣроломства; къ этому времени со-всѣмъ какъ-то забылось, что не Наташа, а онъ, главнымъ образомъ, хотѣлъ разрыва.

Андрей Николаевичъ ворочался на кровати и думалъ:

„Какъ нехорошо это устроено, что не можетъ человѣкъ думать о томъ, о чемъ онъ хочетъ, а приходятъ къ нему мысли ненужныя, глупыя и весьма досадныя. Прошло четыре года съ того вечера, какъ я сидѣлъ съ Наташей на берегу, а я объ этомъ вечерѣ думаю, и мнѣ непріятно, и особенно непріятно оттого, что я вполнѣ явственно вижу красную луну. Причемъ здѣсь эта луна? А если бы я сталъ думать о томъ, сколько „баринъ“ получаетъ денегъ въ годъ, потомъ въ часъ и минуту, мнѣ стало бы хорошо, и я бы заснулъ, но я не могу“.

Но вскорѣ вѣки начали тяжелѣть, и красная луна внезапно превратилась въ красную рожу швейцара Егора. „Въ какомъ ухѣ звенить?“—спрашиваетъ онъ, наклоняясь и нагло тараща выпуклые глаза. Андрей Николаевичъ хотѣлъ дать ему гривенникъ, но деньги не находились, и это доставляло особенное удовольствіе Гусаренку, который сидѣлъ тутъ же, заложивъ ногу за ногу, и игралъ на гармоникѣ. „Ты, Егоръ, подожди, мы лучше зарѣжемъ его, какъ поросенка“,—сказалъ онъ и вытащилъ изъ кармана большой, блестящій и острый, какъ бритва, ножъ. Андрей Николаевичъ бросился бѣжать. Ему нужно было пробѣжать всѣ комнаты пра-

вленія, и этихъ комнатъ было ужасно много, и всѣ онѣ были пусты, такъ какъ чиновники ушли и всѣ столы вынесли. Хотя Андрею Николаевичу бѣжать было легко, и ноги его скользили по полу, но онъ задыхался. А сзади, за нѣсколько комнатъ, гнался, не отставая, Гусаренокъ и шаги его, ровные, тяжелые, гулко отдавались подъ сводами. Внезапно полъ подъ Андреемъ Николаевичемъ провалился, и онъ летѣлъ, все приближаясь къ своей постели, и, наконецъ, проснулся на ней. Сердце билось сильно и неровно.

Въ комнаткѣ было темно и только неясно желтѣлъ четверугольникъ окна, въ которое падалъ свѣтъ отъ фонаря, стоявшаго у богатаго дома. На хозяйской половинѣ также горѣлъ огонь, такъ какъ отъ узенькой щели въ перегородкѣ на полъ ложилась свѣтлая полоса, опоясывая кончикъ стоптанной туфли. Успокоившись отъ страшнаго сна, Андрей Николаевичъ услыхалъ за стѣной тихій шопотъ и узналъ голосъ хозяйки. Въ немъ сквозило состраданіе и боязнь, что ее услышитъ тотъ, о комъ она говорила, хотя онъ былъ отдѣленъ отъ нея разстояніемъ улицы и толстыми стѣнами.

— Ахъ, кровопивецъ, ахъ, аспидъ!—шептала хозяйка.—Ушла бы ты отъ него совсѣмъ, ну его къ ляду!

Наташа отвѣтила и ея низкій голосъ звучалъ громко и размѣренно, и слабое трепетаніе въ немъ не было замѣчено ни хозяйкой, ни притихшимъ за перегородкой жильцомъ.

— Куда уйти-то?

„Ага, нашла коса на камень!—подумалъ Андрей Николаевичъ, вспоминая свой сонъ.—Онъ тебѣ спуску не дастъ, не то что я“.

— И вправду, куда идти?—съ готовностью согласилась хозяйка.—Вотъ и мой тоже. Пропasti нѣтъ на эту водку.

Хозяйка оборвала рѣчь, и въ жутко молчащую комнату съ двумя блѣдными женщинами какъ будто вползло

что-то безформенное, чудовищное и страшное и повѣяло безуміемъ и смертью. И это страшное была водка, господствующая надъ бѣдными людьми, и не видно было границъ ея ужасной власти.

— Отравлю его,—сказала Наташа также громко и размѣренно.

— Что ты, что ты!—забормотала хозяйка.— Не для себя терпишь, а для ребенка,—его-то куда дѣнешь? Ты оставайся ночевать у насъ, я тебѣ въ кухнѣ постелю, а то мой опять будетъ колобродить. А къ глазу, нѣ вотъ, ты пятакъ приложи—ишь, вѣдь какъ изуродовалъ разбойникъ... Постою, кажись, жилецъ проснулся...

— Это кикимора-то?—спросила Наташа громко, точно желая, чтобъ ее слышали за перегородкой.

— И впрямь кикимора,—шопотомъ согласилась хозяйка.— Пойду самоваръ ставить, я тебѣ въ чайничкѣ заварю. Ахъ, разбойникъ, что надѣлалъ-то!

„То Сусли-Мысли, то кикимора—вотъ дурачье-то,—разсердился Андрей Николаевичъ.— Вотъ, какъ пожалуюсь Ѳедору Ивановичу, онъ тебѣ покажетъ кикимору. Дура полосатая!“

Онъ подошелъ къ окну и открылъ половинику. Въ комнату ворвался теплый вѣтеръ, пахнуцій сыростью и гніющими листьями и зашелестѣлъ бумагой на столѣ. Слышно стало, какъ скрипитъ дерево о желѣзную крышу, и шуршитъ мокрая зелень. Къ богатому дому подѣзжали одинъ за другимъ экипажи, и изъ нихъ выходили мужчины въ цилиндрахъ и дамы въ широкихъ ротондахъ и съ бѣлыми платками на головахъ. Подбирая шумящее платье, онѣ входили на крыльцо. Массивная дверь широко распахивалась и выпускала на улицу столбъ бѣлаго свѣта, зажигавашаго блестки на металлическихъ частяхъ экипажа и упряжи. Домъ стоялъ безмолвный и темный, но чудилось, какъ сквозь тяжелыя ставни, закрывающія высокія окна, сіяютъ зеркальныя стекла, и вѣчно живые цвѣты радуются свѣту, дви-

женію и жпзпп. Нѣсколько экипажей остались ждать господъ, и кучера, раскормленные, важные, съ презрѣніемъ смотрѣли съ высоты своихъ козелъ на темные, покосившіеся домишки.

Напившись чаю и четкимъ, красивымъ почеркомъ переписавъ казенную бумагу, Андрей Николаевичъ началъ готовиться къ новому сну, для чего перестлалъ постель и взбилъ подушки. За перегородкой Федоръ Ивановичъ бурчалъ сокрушенно и раздумчиво:

— Дѣло вотъ въ чемъ: двухъ копеекъ я такъ-таки и не разыскалъ.

— О, Господи!..

Нужно было закрыть ставню и Андрей Николаевичъ прошелъ на улицу. Экипажи еще стояли, и кучера грузными и сонными массаами темнѣли на козлахъ. Въ большомъ домѣ глухо рокотали ритмическіе звуки рояля и минутами стихали, относимыя порывомъ вѣтра. И этотъ же вѣтеръ приносилъ на крыльяхъ своихъ новые звуки, явственно слышныя, когда переставало скрипѣть дерево. То были печальные и странные мелодическіе звуки, и не руками живыхъ людей вызывались они въ эту черную ночь. Легкіе, какъ само дуновеніе вѣтра, они то нѣжно молили и плакали, и умолкали съ жалобнымъ стономъ, то, гнѣвно ропчущіе, поднимались къ небу съ угрозой и гнѣвомъ.—Словно чья-то страдающая душа молила о спасеніи и жизни и гнѣвно роптала.

„Противная штука!“—разсердился Андрей Николаевичъ. Въ одномъ этомъ отношеніи онъ не раздѣлялъ вкусовъ владѣльца большого дома, и когда тотъ поставилъ на крышу арфу, и вѣтеръ началъ играть свои печальныя пѣсни, онъ никакъ не могъ понять,—зачѣмъ нужны эти пѣсни человѣку съ бѣлыми зубами и яркой улыбкой?

„Ужасно противная штука!“—повторилъ Андрей Николаевичъ и, понизивъ голосъ, добавилъ:—чего только полиція смотритъ“.

Съ чувствомъ челоѣка, спасающагося отъ погони, онъ съ силой захлопнулъ за собой дверь кухни и увидѣлъ Наташу, неподвижно сидѣвшую на широкой лавкѣ, въ ногахъ у своего сынишки, который по самое горло былъ укутанъ рваной шубкой, и только его большіе и черные, какъ и у матери, глаза съ безпокойствомъ таращились на нее. Голова ея была опущена, и сквозь располозованную красную кофту бѣлѣла высокая грудь, но Наташа точно не чувствовала стыда и не закрывала ее, хотя глаза ея были обращены прямо на вошедшаго.

— Сколько лѣтъ, сколько зимъ!—проговорилъ Андрей Николаевичъ, бѣгая глазами по комнатѣ и совершенно размякнувъ, точно изъ него вынули всѣ мускулы и кости.—Какъ поживаете?

Наташа молчала и смотрѣла на него.

— Я ничего, слава Богу.

Наташа молчала. Андрей Николаевичъ хотѣлъ передать поклонъ супругу, къ чему его обязывало чувство вѣжливости, но сейчасъ это было неудобно. Наташа, очевидно, нуждалась въ утѣшеніи и потому онъ сказалъ:

— Какой у васъ хорошенѣкій мальчикъ. Ваня, кажется? Иванъ Ивановичъ, значить. У насъ тоже есть чиновникъ, котораго зовутъ Иванъ Ивановичъ. И, вообще, знаете-ли, милые ссорятся, только тѣшатся, а перемелется, все мука будетъ.

Наташа молчала, а мальчикъ, смотря съ недовѣріемъ на неловкую фигуру чиновника, затаилъ ноющимъ голосомъ:

— Мамка-а, боюсь.

— Убирайтесь вонъ! — сказала Андрею Николаевичу Наташа, и, когда онъ быстро прошмыгнулъ, подбирая полы халата, добавила вслѣдъ: — тоже лѣзетъ, кикимора!

„Почему пменно кикимора? — размышлялъ Андрей Николаевичъ, располагаясь спать и опуская огонь въ



лампѣ. — Этакое глупое слово, — ничего не обозначаетъ. И какъ непостоянны женщины: то милый, неощененный, а то — кикимора! Да, съ норовомъ баба, не даромъ учить ее Гусаренокъ. Спокойной ночи, маркиза Прю-Фрю“.

Такъ развеселялъ онъ себя и иронически кривилъ безкровныя губы. Но лишь только мигнула въ послѣдній разъ лампа, и комната окунулась въ густой мракъ, невидимой силой раздвинуло стѣны, сорвало потолокъ и бросило Андрея Николаевича въ чистое поле. Огненные, искрящіеся круги прорѣзывали темноту; свѣтлые, веселые огоньки вспыхивали и плясали, и всюду, то далеко, то совсѣмъ надвигаясь на него, показывались и блѣдное лицо Гусаренка съ красной полоской крови, и страшный дискъ мѣсяца, и лицо Наташи, прежнее милое лицо. Жалость къ себѣ и обида охватили Андрея Николаевича.

„Какъ нехорошо все это устроено, — стоналъ онъ. — Не нужно мнѣ Наташи, ну ее къ чорту эту Наташу! Такъ и знайте — къ чорту!“

Энергичнымъ жестомъ Андрей Николаевичъ надвинулъ на голову толстую подушку и почти сразу успокоился. И образы, и звуки исчезли, и стало тихо, какъ въ могилѣ.

Съ улицы проникалъ слабый свѣтъ фонаря. Экипажи еще стояли, и сонные кучера съ презрѣніемъ смотрѣли съ высоты своихъ козелъ на низкіе, покосившіеся домишки и лѣнливо зѣвали, двигая бородами. Непривязанная ставня продолжала хлопать, и въ минуты, когда переставало скрипѣть дерево, неслись жалобные звуки и роптали, и плакали, и молили о жизни.

8 іюня 1899 г.



## ЖИЛИ - БЫЛИ.

Богатый и одинокий купецъ Лаврентій Петровичъ Кошевѣровъ пріѣхалъ въ Москву лѣчиться, и такъ какъ болѣзнь у него была интересная, его приняли въ университетскую клинику. Свой чемоданъ съ вещами и шубу онъ оставилъ внизу, въ швейцарской, а вверху, гдѣ находилась палата, съ него сняли черную суконную пару и бѣлье и дали въ обмѣнъ казенный сѣрый халатъ, чистое бѣлье съ черной мѣткой „палата № 8“ и туфли. Рубашка оказалась для Лаврентія Петровича мала, и нянька пошла искать новую.

— Уже очень вы велики!—сказала она, выходя изъ ванной, въ которой производилось переодѣваніе больныхъ.

Полуобнаженный Лаврентій Петровичъ терпѣливо и покорно ожидалъ и, наклонивъ большую лысую голову, сосредоточенно разсматривалъ свою высокую, отвислую, какъ у старой женщины, грудь и припухшій животъ, лежавшій на колѣняхъ. Каждую субботу Лаврентій Петровичъ бывалъ въ банѣ и видѣлъ тамъ свое тѣло, но теперь, покрывшееся отъ холода мурашками, блѣдное, оно показалось ему новымъ и при всей своей видимой силѣ очень жалкимъ и больнымъ. И весь онъ казался не принадлежащимъ себѣ съ той минуты, когда съ него сняли его привычное платье и готовъ былъ дѣлать все, что прикажутъ. Вернулася же бѣльемъ нянька, и хотя силы у Лаврентія Петровича оставалось еще настолько.

что онъ могъ пришибить няньку однимъ пальцемъ, онъ послушно позволилъ ей одѣть себя и неловко просунулъ голову въ рубашку, собранную въ видѣ хомута. Съ тою же покорною неловкостью онъ ждалъ, закинувъ голову, пока нянька завязывала у ворота тесемки, и затѣмъ пошелъ вслѣдъ за нею въ палату. И ступалъ онъ своими медвѣжьими вывернутыми ногами такъ нерѣшительно и осторожно, какъ дѣлаютъ это дѣти, которыхъ неизвѣстно куда ведутъ старшіе,—можетъ быть, для наказанія. Рубашка все же оказалась ему узка, тянула при ходьбѣ плечи и трещала, но онъ не рѣшился заявить объ этомъ нянькѣ, хотя дома, въ Саратовѣ, одинъ его суровый взглядъ заставлялъ судорожно метаться десятки людей.

— Вотъ ваше мѣсто,—указала нянька на высокую, чистую постель и стоявшій воалѣ нея небольшой столикъ. Это было очень маленькое мѣсто, только уголъ палаты, но именно поэтому оно понравилось измученному жизнью человѣку. Торопливо, точно спасаясь отъ погони, Лаврентій Петровичъ снялъ халатъ, туфли и легъ. И съ этого момента все, что еще только утромъ гнѣвило и мучило его, отошло отъ него, стало чужимъ и неважнымъ. Память его быстро, въ одной молніезарной картинѣ, воспроизвела всю его жизнь за послѣдніе годы: неумолимую болѣзнь, день за днемъ пожиравшую силы; одиночество среди массы алчныхъ родственниковъ, въ атмосферѣ лжи, ненависти и страха; бѣгство сюда, въ Москву,—и также внезапно потушила эту картину, оставивъ на душѣ одну тупую, замирающую боль. И безъ мыслей, съ пріятнымъ ощущеніемъ чистаго бѣлья и покоя, Лаврентій Петровичъ погрузился въ тяжелый и крѣпкій сонъ. Послѣдними мелькнули въ его полужакрытыхъ глазахъ снѣжно бѣлыя стѣны, лучъ солнца на одной стѣнѣ, и потомъ наступили часы долгаго и полного забвенія.

На другой день надъ головою Лаврентія Петровича появилась надпись на черной дощечкѣ: „Купецъ Лаврен-

тій Кошевѣровъ 52 л., поступилъ 25 февраля“. Такія же дощечки и надписи были у двухъ другихъ больныхъ, находившихся въ восьмой палатѣ; на одной стояло „Діаконъ Филиппъ Сперанскій, 50 л.“, на другой—„Студентъ Константинъ Торбецкій, 23 лѣтъ“. Бѣлыя мѣловыя буквы красиво, но мрачно выдѣлялись на черномъ фонѣ, и когда больной лежалъ навзничъ, закрывъ глаза, бѣлая надпись продолжала что-то говорить о немъ и приобѣтала сходство съ надмогильными оповѣщаніями, что вотъ тутъ, въ этой сырой или мерзлой землѣ, зарытъ человекъ. Въ тотъ же день Лаврентія Петровича свѣшали, — оказалось въ немъ шесть пудовъ двадцать четыре фунта. Сказавъ эту цифру, фельдшеръ, слегка улыбнулся и пошутилъ:

— Вы самый тяжелый человекъ на всѣхъ клиникахъ.

Фельдшеръ былъ молодой человекъ, говорившій и поступавшій, какъ докторъ, такъ какъ только случайно онъ не получилъ высшаго образованія. Онъ ожидалъ, что въ отвѣтъ на шутку больной улыбнется, какъ улыбались всѣ, даже самые тяжелые больные на ободрительныя шутки докторовъ, но Лаврентій Петровичъ не улыбнулся и не сказалъ ни слова. Глубоко запавшіе глаза смотрѣли внизъ, и массивныя скулы, поросшія рѣдкой сѣдовой бородой, были стиснуты, какъ желѣзные. И ожидавшему отвѣта фельдшеру сдѣлалось неловко и непріятно: онъ уже давно, между прочимъ, занимался фізіогномикой и по обширной матовой лысинѣ причислилъ купца къ отдѣлу добродушныхъ; теперь приходилось перемѣстить его въ отдѣлъ злыхъ. Все еще не довѣряя своимъ наблюденіямъ, фельдшеръ — звали его Иваномъ Ивановичемъ—рѣшилъ современемъ попросить у купца какую-нибудь его собственноручную записку, чтобы по характеру почерка сдѣлать болѣе точное опредѣленіе его душевныхъ свойствъ.

Вскорѣ послѣ взвѣшиванія Лаврентія Петровича впервые осматривали доктора; оцѣты они были въ бѣлые ба-

лахоны и оттого казались особенно важными и серьезными. И затѣмъ каждыйдневно они осматривали его по разу, по два, иногда одни, а чаще въ сопровожденіи студентовъ. По требованію докторовъ, Лаврентій Петровичъ снималъ рубашку и все такъ же покорно ложился на постель; возвышаясь на ней огромной мясистою грудой. Доктора стукали по его груди молоточкомъ, прикладывали трубку и слушали, перекидываясь другъ съ другомъ замѣчаніями и обращая вниманіе студентовъ на тѣ или инныя особенности. Часто они начинали расспрашивать Лаврентія Петровича о томъ, какъ онъ жилъ раньше, и онъ неохотно, но покорно отвѣчалъ. Выходило изъ его отрывочныхъ отвѣтовъ, что онъ много ѣлъ, много пилъ, много любилъ женщинъ и много работалъ; и при каждомъ новомъ „много“ Лаврентій Петровичъ все менѣе узнавалъ себя въ томъ человѣкѣ, который рисовался по его словамъ. Странно было думать, что это дѣйствительно онъ, купецъ Кошевъровъ, поступалъ такъ нехорошо и вредно для себя. И всѣ старыя слова: водка, жизнь, здоровье—становились полны новаго и глубокаго содержанія.

Вслушивали и выстукивали его студенты. Они часто являлись въ отсутствіе докторовъ, и одни коротко и прямо, другіе съ робкою нерѣшительностью просили его раздѣться, и снова начиналось внимательное и полное интереса разсматриваніе его тѣла. Съ сознаніемъ важности производимаго ими дѣла они вели дневникъ его болѣзни, и Лаврентію Петровичу думалось, что весь онъ перенесенъ теперь на страницы записей. Съ каждымъ днемъ онъ все менѣе принадлежалъ себѣ, и въ теченіе цѣлаго почти дня тѣло его было раскрыто для всѣхъ и всѣмъ подчинено. По приказанію нянекъ, онъ тяжело носилъ это тѣло въ ванную или сажалъ его за столъ, гдѣ обѣдали и пили чай всѣ могущіе двигаться больные. Люди ощупывали его со всѣхъ сторонъ, занимались имъ такъ, какъ никто въ прежней жизни, и при

всемъ томъ въ продолженіе цѣлаго дня его не покидало смутное чувство глубокаго одиночества. Похоже было на то, что Лаврентій Петровичъ куда-то очень далеко ѣдетъ, и все вокругъ него носило характеръ временности, неприспособленности для долгаго житія. Отъ бѣлыхъ стѣнъ, не имѣвшихъ ни одного пятна, и высокихъ потолоковъ вѣяло холодной отчужденностью; полы были всегда слишкомъ блестящи и чисты, воздухъ слишкомъ ровень,—въ самыхъ даже чистыхъ домахъ воздухъ всегда пахнетъ чѣмъ-то особеннымъ, тѣмъ, что принадлежитъ только этому дому и этимъ людямъ. Здѣсь же онъ былъ безразличенъ и не имѣлъ запаха. Доктора и студенты были всегда внимательны и предупредительны: шутили, похлопывали по плечу, утѣшали, но когда они уходили отъ Лаврентія Петровича, у него являлась мысль, что это были возлѣ него служащіе, кондуктора на этой невѣдомой дорогѣ. Уже тысячи людей перевезли они и каждый день перевозятъ, и ихъ разговоры и разспросы были только вопросами о билетѣ. И чѣмъ больше занимались они тѣломъ, тѣмъ глубже и страшнѣе становилось одиночество души.

— Когда у васъ бываютъ пріемные дни?—спросилъ Лаврентій Петровичъ няньку. Онъ говорилъ коротко, не глядя на того, къ кому были обращены слова.

— По воскресеньямъ и четвергамъ. Но если попросить доктора, то можно и въ другіе дни,—словоохотливо отвѣтила нянька.

— А можно сдѣлать такъ, чтобы совсѣмъ ко мнѣ не пускали?

Нянька удивилась, но отвѣтила, что можно, и этотъ отвѣтъ, видимо, обрадовалъ угрюмаго больного. И весь этотъ день онъ былъ немного веселѣе и хотя не сталъ разговорчивѣе, но уже не съ такимъ хмурымъ видомъ слушалъ все, что весело, громко и обильно болталъ ему больной діаконъ.

Пріѣхалъ діаконъ изъ Тамбовской губерніи, и въ кли-

нику поступилъ на одинъ день раньше Лаврентія Петровича, но былъ уже хорошо знакомъ съ обитателями всѣхъ пяти палатъ, помѣщавшихся наверху. Онъ былъ невысокъ ростомъ и такъ худъ, что при раздѣваніи у него каждое ребро вытѣплялось, а животъ втягивался, и все его слабосильное тѣло, бѣлое и чистое, походило на тѣло десятилѣтняго несложившагося мальчика. Волоса у него были густые, длинные, изсѣра-сѣдые и на концахъ желтѣли и закручивались. Какъ изъ большой, не по рисунку рамки выглядывало изъ нихъ маленькое, темное лицо съ правильными, но миниатюрными чертами. По сходству его съ темными и сухими лицами древнихъ образовъ, фельдшеръ Иванъ Ивановичъ причислилъ діакона къ отдѣлу людей суровыхъ и нетерпимыхъ, но послѣ перваго же разговора измѣнилъ свой взглядъ и даже на нѣкоторое время разочаровался въ значеніи науки физиогномики. Отецъ діаконъ, какъ всѣ его называли, охотно и откровенно рассказывалъ о себѣ, о своей семьѣ и о своихъ знакомыхъ, и такъ любознательно и наивно расспрашивалъ о томъ же другихъ, что никто не могъ сердиться, и всѣ такъ же откровенно рассказывали. Когда кто-нибудь чихалъ, о. діаконъ издалека кричалъ веселымъ голосомъ:

— Исполненіе желаній! За милую душу!—и кланялся.

Къ нему никто не приходилъ, и онъ былъ тяжело боленъ, но онъ не чувствовалъ себя одинокимъ, такъ какъ познакомился не только со всѣми больными, но и съ ихъ посѣтителями, и не скучалъ. Больнымъ онъ ежедневно по нѣскольку разъ желалъ выздоровѣть, здоровымъ желалъ, чтобы они въ весельи и благополучіи проводили время, и всѣмъ находилъ сказать что-нибудь доброе и пріятное. Каждое утро онъ всѣхъ поздравлялъ: въ четвергъ—съ четвергомъ, въ пятницу—съ пятницей, и что бы ни творилось на воздухѣ, котораго онъ не видалъ, онъ постоянно утверждалъ, что погода сегодня пріятная на рѣдкость. При этомъ онъ по-

стоянно и радостно смѣялся продолжительнымъ и слышнымъ смѣхомъ, прижималъ руки ко впалому животу, хлопалъ руками по колѣнямъ, а иногда даже билъ въ ладоши. И всѣхъ благодарилъ,—иногда трудно было рѣшить за что. Такъ, послѣ чая онъ благодарилъ угрюмаго Лаврентія Петровича за компанію.

— Такъ это мы съ вами хорошо чайку попили,—по небесному! Вѣрно, отецъ, а?—говорилъ онъ, хотя Лаврентій Петровичъ пилъ чай отдѣльно и никому компаніи составить не могъ.

Онъ очень гордился своимъ діаконскимъ саномъ, который получилъ только три года тому назадъ, а раньше былъ псаломщикомъ. И у всѣхъ — и у больныхъ, и у приходящихъ—онъ спрашивалъ, какого роста ихъ жены.

— А у меня жена очень высокая,—съ гордостью говорилъ онъ послѣ того или иного отвѣта.—И дѣти всѣ въ нее. Гренадеры, за милую душу!

Все въ клиникахъ—чистота, дешевизна, любезность докторовъ, цвѣты въ коридорѣ—вызывало его восторгъ и умиленіе. То смѣясь, то крестясь на икону, онъ изливалъ свои чувства передъ молчащимъ Лаврептіемъ Петровичемъ и, когда словъ не хватало, восклицалъ:

— За милую душу! Вотъ какъ передъ Богомъ, за милую душу!

Третьимъ больнымъ въ восьмой палатѣ былъ черный бородатый студентъ Торбецкій. Онъ почти не вставалъ съ постели, и каждый день къ нему приходила высокая дѣвушка со скромно опущенными глазами и легкими, увѣренными движеніями. Стройная и изящная въ своемъ черномъ платьѣ, она быстро проходила коридоръ, садилась у изголовья больного студента и просиживала отъ двухъ ровно до четырехъ часовъ, когда, по правиламъ, кончался пріемъ посѣтителей, и няньки подавали больнымъ чай. Иногда они много и оживленно говорили, улыбаясь и понижая голосъ, но случайно вырывались отдѣльныя громкія слова, какъ разъ тѣ, которыя



нужно было сказать шопотомъ: „радость моя!“—„я люблю тебя“; иногда они по-долгу молчали и только глядѣли другъ на друга загадочнымъ, затуманеннымъ взглядомъ. Тогда о. діаконъ кашлялъ и со строгимъ дѣловымъ видомъ выходилъ изъ палаты, а Лаврентій Петровичъ, притворявшійся спящимъ, видѣлъ сквозь прищуренные глаза, какъ они цѣловались. И въ сердцѣ у него загоралась боль, и биться оно начинало неровно и сильно, а массивныя скулы выдавались буграми и двигались. И съ тою же холодною отчужденностью смотрѣли бѣлыя стѣны, и въ ихъ безупречной бѣлизнѣ была странная и грустная насмѣшка.

## II.

День въ палатѣ начинался рано, когда еще только мутно сѣрѣло отъ первыхъ лучей разсвѣта, и былъ длинный, свѣтлый и пустой. Въ шесть часовъ больнымъ подавали утренній чай, и они медленно пили его, а потомъ ставили градусникъ, измѣряя температуру. Многие, какъ о. діаконъ, впервые узнали о существованіи у нихъ температуры, и она представлялась чѣмъ-то загадочнымъ, и измѣреніе ея—дѣломъ очень важнымъ. Небольшая стеклянная палочка, со своими черными и красными черточками становилась показателемъ жизни, и одна десятая градуса выше или ниже дѣлала больного веселымъ или печальнымъ. Даже вѣчно веселый о. діаконъ впадалъ въ минутное уныніе и недоумѣнно качалъ головой, если температура его тѣла оказывалась ниже той, которую ему называли нормальной.

— Вотъ, отецъ, штука-то. Азъ и фертъ,—говорилъ онъ Лаврентію Петровичу, держа въ рукѣ градусникъ и съ неодобреніемъ разсматривая его.

— А ты поддержи еще, поторгуйся,—насмѣшливо отвѣчалъ Лаврентій Петровичъ.

И о. діаконъ торговался и, если ему удавалось до-  
быть еще одну десятую градуса, становился веселъ и  
горячо благодарилъ Лаврентія Петровича за науку. Измѣ-  
реніе настраивало мысли на цѣлый день на вопросы о  
здоровьѣ, и все, что рекомендовалось докторами, выпол-  
нялось пунктуально и съ нѣкоторой торжественностью.  
Особенную торжественность въ свои дѣйствія вносилъ  
о. діаконъ и, держа градусникъ, глотая лѣкарство или вы-  
полняя какое-нибудь отправленіе, дѣлалъ лицо важнымъ  
и строгимъ, такимъ, какъ при разговорѣ о посвященіи  
его въ санъ. Ему дали, для надобностей анализа, нѣ-  
сколько стаканчиковъ, и онъ въ строгомъ порядкѣ раз-  
ставилъ ихъ, а номера—первый, второй, третій...—по-  
просилъ надписать студента, такъ какъ самъ писалъ не-  
достаточно красиво. На тѣхъ больныхъ, которые не ис-  
полняли предписаній докторовъ, онъ сердился и посто-  
янно со строгостью увѣщевалъ толстяка Минаева, лежав-  
шаго въ десятой палатѣ: Минаеву доктора не велѣли  
ѣсть мяса, а онъ потихоньку таскалъ его у сосѣдей по  
объденному столу и, не жуя, глоталъ.

Съ семи часовъ палату заливалъ яркій дневной  
свѣтъ, проходившій въ громадныя окна, и становилось  
такъ свѣтло, какъ въ полѣ, и бѣлыя стѣны, постели,  
начищенные мѣдные тазы и полы—все блестѣло и свер-  
кало въ этомъ свѣтѣ. Къ самымъ окнамъ рѣдко кто-  
нибудь подходилъ: улица и весь міръ, бывшій за стѣ-  
нами клиники, потеряли свой интересъ. Тамъ люди  
жили; тамъ, полная народа, пробѣгала конка, проходилъ  
сѣрый отрядъ солдатъ, пробѣжали блестящіе пожарные,  
открывались и закрывались двери магазиновъ,—здѣсь  
больные люди лежали въ постеляхъ, едва имѣя силы  
поверотить къ свѣту ослабѣвшую голову; одѣтые въ  
сѣрые халаты, вяло бродили по гладкимъ поламъ; здѣсь  
они болѣли и умирали. Студентъ получалъ газету, но ни  
онъ самъ, ни другіе почти не заглядывали въ нее, и ка-  
кая-нибудь неправильность въ отправленіи желудка у со-

сѣда волновала и трогала больше, чѣмъ война и тѣ событія, которыя потомъ получаютъ названіе міровыхъ. Около одиннадцати часовъ приходили доктора и студенты и опять начинался внимательный осмотръ, длившійся часами. Лаврентій Петровичъ лежалъ всегда спокойно и смотрѣлъ въ потолокъ, отвѣчая односложно и хмуро; о. діаконъ волновался и говорилъ такъ много и такъ невразумительно, съ такимъ желаніемъ всѣмъ доставить удовольствіе и всѣмъ оказать уваженіе, что его трудно бывало понять. О себѣ онъ говорилъ:

— Когда я пожаловалъ въ клинику...

О нянѣкъ передавалъ:

— Онѣ изволили поставить мнѣ клизму...

Онъ всегда въ точности зналъ въ какомъ часу и въ какую минуту была у него изжога или тошнота, въ какомъ часу ночи онъ просыпался и сколько разъ. По уходѣ докторовъ онъ становился веселѣе, благодарилъ, умилялся и бывалъ очень доволенъ собою, если ему удавалось при прощаніи сдѣлать не одинъ общій поклонъ всѣмъ докторамъ, а каждому порознь.

— Такъ это чинно,—радовался онъ,—по-небесному!

И еще разъ показывалъ молчащему Лаврентію Петровичу и улыбающемуся студенту, какъ онъ сдѣлалъ поклонъ сперва доктору Александру Ивановичу и потомъ доктору Семену Николаевичу.

Онъ былъ боленъ неизлѣчимо, и дни его были сочтены, но онъ этого не зналъ, съ восторгомъ говорилъ о путешествіи въ Троицко-Сергіевскую лавру, которое онъ совершить по выздоровленіи, и о яблонѣ въ своемъ саду, которая называлась „бѣлый наливъ“, и съ которой нынѣшнимъ лѣтомъ онъ ожидалъ плодовъ. И въ хорошій день, когда стѣны и паркетный полъ палаты щедро заливались солнечными лучами, ни съ чѣмъ несравнимыми въ своей могучей силѣ и красотѣ, когда тѣни на снѣжномъ бѣлѣ постелей становились прозрачно-

синими, совсѣмъ лѣтними,—о. діаконъ громко напѣвалъ трогательную пѣснь:

„Высшую небесъ и чистѣйшую свѣтлостей солнечныхъ, избавляющую насъ отъ клятвы, Владычицу міра пѣснями почитимъ!..“

Голосъ его, слабый и нѣжный теноръ, начиналъ дрожать, и въ волненіи, которое онъ старался скрыть отъ окружающихъ, о. діаконъ подносилъ къ глазамъ платокъ и улыбался. Потомъ, пройдясь по комнатѣ, онъ вплотную подходилъ къ окну и вскидывалъ глаза къ голубому, безоблачному небу: просторное, далекое отъ земли, безмятежно красивое, оно само казалось величавою божественною пѣснью. И къ ея торжественнымъ звукамъ робко присоединялся дрожащій человѣческій голосъ, полный трепетной и страстной мольбы:

„Отъ многихъ моихъ грѣховъ немощствуетъ тѣло, немощствуетъ и душа моя: къ тебѣ прибѣгаю, Благодатнѣй, надеждѣ ненадежныхъ, Ты мнѣ помози!..“

Въ опредѣленный часъ подавался обѣдъ, снова чай и ужинъ, а въ девять часовъ электрическая лампочка задерживалась синимъ матерчатымъ абажуромъ, и начиналась такая же длинная и пустая ночь.

Клиники затихали.

Только въ освѣщенномъ коридорѣ, куда выходили постоянно открытыя двери палатъ, вязали чулки сидѣлки и тихо шептались и переругивались, да изрѣдка, громко стуча ногами, проходилъ кто-нибудь изъ служителей, и каждый его шагъ выдѣлялся отчетливо и замиралъ въ строгой постепенности. Къ одиннадцати часамъ замирали и эти послѣдніе отголоски минувшаго дня, и звонкая, словно стеклянная, тишина, чутко сторожившая каждый легкій звукъ, передавала изъ палаты въ палату сонное дыханіе выздоравливающихъ, кашель и слабые стоны тяжелыхъ больныхъ. Легки и обманчивы были эти ночные звуки, и часто въ нихъ таилась страшная загадка: хрипитъ-ли больной, или

же сама смерть уже бродить среди бѣлыхъ постелей и холодныхъ стѣнъ.

Кромѣ первой ночи, въ которую Лаврентій Петровичъ забылся крѣпкимъ сномъ, всѣ остальные ночи онъ не спалъ, и онъ полны были новыхъ и жуткихъ мыслей. Закинувъ волосатые руки за голову, не шевелясь, онъ пристально смотрѣлъ на свѣтившуюся сквозь синій абажуръ изогнутую проволоку и думалъ о своей жизни. Онъ не вѣрилъ въ Бога, не хотѣлъ жизни и не боялся смерти. Все, что было въ немъ силы и жизни, все было растрчено и изжито безъ нужды, безъ пользы, безъ радости. Когда онъ былъ молодъ, и волосы его кучерявились на головѣ, онъ воровалъ у хозяина; его ловили и жестоко безъ пощады били, и онъ ненавидѣлъ тѣхъ, кто его билъ. Въ среднихъ годахъ онъ душилъ своимъ капиталомъ маленькихъ людей и презиралъ тѣхъ, кто попадался въ его руки, а они платили ему жгучей ненавистью и страхомъ. Пришла старость, пришла болѣзнь—и стали обкрадывать его самого, и онъ ловилъ неосторожныхъ и жестоко, безъ пощады билъ ихъ... Такъ прошла вся его жизнь, и была она одною горькою обидой и ненавистью, въ которой быстро гасли летучіе огоньки любви и только холодную золу да пепелъ оставляли на душѣ. Теперь онъ хотѣлъ уйти отъ жизни, позабыть, но тихая ночь была жестока и безжалостна, и онъ то смѣялся надъ людскою глупостью и глупостью своей, то судорожно стискивалъ желѣзные скулы, подавляя долгій стонъ. Съ недоумѣніемъ къ тому, что кто-нибудь можетъ любить жизнь, онъ поворачивалъ голову къ сосѣдней постели, гдѣ спалъ діаконъ. Долго и внимательно онъ разсматривалъ бѣлый, неопредѣленный въ своихъ очертаніяхъ, бугорокъ и темное пятно лица и бороды и злорадно шепталъ:

— Ду-рракъ!

Потомъ онъ глядѣлъ на спящаго студента, котораго

днемъ цѣловала дѣвушка, и еще съ большимъ злорадствомъ поправлялся:

— Дура-ки!

А днемъ душа его замирала, и тѣло послушно исполняло все, что прикажутъ, принимало лѣкарство и ворочалось. Но съ каждымъ днемъ оно слабѣло и скоро было оставлено почти въ полномъ покоѣ, неподвижное, громадное, и въ этой обманчивой громадности кажущееся здоровымъ и сильнымъ.

Слабѣлъ и о. діаконъ: меньше ходилъ по палатамъ, рѣже смѣялся, но когда въ палату заглядывало солнце, онъ начиналъ болтать весело и обильно, благодарилъ всѣхъ—и солнце, и докторовъ—и вспоминалъ все чаще о яблонѣ „бѣлый наливъ“. Потомъ онъ пѣлъ „Выспую небесъ“, и темное осунувшееся лицо его становилось болѣе свѣтлымъ, но также и болѣе важнымъ: сразу видно было, что это поетъ діаконъ, а не псаломщикъ. Кончивъ пѣснь, онъ подходилъ къ Лаврентію Петровичу и рассказывалъ, какую бумагу ему дали при посвященіи.

— Вотъ этакая огромная,—показывалъ онъ руками,—и по всей буквы, буквы. Какія черныя, какія съ золотой тѣнью. Рѣдкость, ей-Богу!

Онъ крестился на икону и съ уваженіемъ къ себѣ добавлялъ:

— А внизу печать архіерейская. Огромная, ей-Богу,—чистоватрушка. Одно слово, за милую душу! Вѣрно, отецъ?

И онъ закатисто смѣялся, скрывая свѣтлѣющіе глаза въ сѣти тоненькихъ морщинокъ. Но солнце пряталось за сѣрой снѣжной тучей, въ палатѣ тусклѣло, и, вадыхая, о. діаконъ ложился въ постель.

### III.

Въ полѣ и садахъ еще лежалъ снѣгъ, но улицы давно были чисты отъ него, сухи и въ мѣстахъ боль-

шой вѣды даже пыльны. Только изъ палисадниковъ, обнесенныхъ желѣзными рѣшетками, да со дворовъ выбѣгали тоненькія струйки воды и расплывались лужей по ровному асфальту; и отъ каждой такой лужи въ обѣ стороны тянулись слѣды мокрыхъ ногъ, вначалѣ темные и частые, но дальше рѣдкіе и мало замѣтные,—какъ будто проходившая здѣсь толпа разомъ была подхвачена на воздухъ и опущена только у слѣдующей лужи. Солнце лило въ палату цѣлые потоки свѣта и такъ пригрѣвало, что приходилось отъ него прятаться, какъ лѣтѣмъ, и не вѣрилось, что за тонкими стеклами оконъ воздухъ холоднѣе, свѣжѣе и сыръ. Сама палата, съ ея высокими потолками, казалась при этомъ свѣтлѣе узкимъ и душнымъ закоулкомъ, въ которомъ нельзя протянуть руки, чтобы не наткнуться на стѣну. Голосъ улицы не проникалъ въ клинику сквозь двойныя рамы, но когда по утрамъ въ палатѣ открывали большую откидную фортку—внезапно, безъ переходовъ, врвался въ нее пьяно-веселый и шумный крикъ воробьевъ. Всѣ остальные звуки затихали передъ нимъ, скромные и какъ будто обиженные, а онъ торжествующе разносился по коридорамъ, подымался по лѣстницамъ, дерзко врвался въ лабораторію, звонко перебѣгая по стекляннымъ колбочкамъ. Удаленные въ коридоръ больные улыбались наивному, мальчишески дерзкому крику, а о. діаконъ закрывалъ глаза, протягивалъ впередъ руки и шепталъ: — Воробей! За милую душу, воробей!

Фортка закрывалась, звонкій воробьиный крикъ умиралъ такъ же внезапно, какъ и родился, но больные точно еще надѣялись найти спрятанные отголоски его, торопливо входили въ палату, беспокойно оглядывали ее и жадно дышали расплывающимися волнами свѣжаго воздуха.

Теперь больные чаще подходили къ окнамъ и по-долгу простаивали у нихъ, протирая пальцами и безъ того чистыя стекла; неохотно, съ ворчаніемъ ставили гра-

дусники и говорили только о будущемъ. И у всѣхъ будущее это представлялось свѣтлымъ и хорошимъ, даже у того мальчика изъ одиннадцатой палаты, который однажды утромъ былъ перенесенъ сторожами въ отдѣльный номеръ, а затѣмъ невѣдомо куда исчезъ,— „выписался“, какъ говорили няньки. Многіе изъ больныхъ видѣли, когда его переносили вмѣстѣ съ постелью въ отдѣльный номеръ; несли его головою впередъ, и онъ былъ неподвиженъ, только темные впавшіе глаза переходили съ предмета на предметъ, и было въ нихъ что-то такое безропотно-печальное и жуткое, что никто изъ больныхъ не выдерживалъ ихъ взгляда—и отворачивался. И всѣ догадались потомъ, что мальчикъ умеръ, но никого эта смерть не взволновала и не испугала: здѣсь она была тѣмъ обыкновеннымъ и простымъ, чѣмъ кажется она, вѣроятно, на войнѣ. Умеръ за это время и другой больной изъ той же одиннадцатой палаты. Это былъ низенькій и на видъ довольно еще свѣжій старичокъ, разбитый параличомъ; ходилъ онъ, переваливаясь, однимъ плечомъ впередъ и всѣмъ больнымъ рассказывалъ одну и ту же исторію: о крещеніи Руси при Владимірѣ Святѣмъ. Что трогало его въ этой исторіи, такъ и осталось неизвѣстнымъ, такъ какъ говорилъ онъ очень тихо и непонятно, закругляя слова и скрадывая окончания, но самъ онъ, видимо, былъ въ восторгѣ, размахивалъ правой рукой и вращалъ правымъ глазомъ,— лѣвая сторона тѣла была у него парализована. Если настроеніе его было хорошее, онъ заканчивалъ рассказъ неожиданно громкимъ и побѣднымъ возгласомъ: „Съ нами Богъ!“ послѣ чего торопливо уходилъ, сконфуженно смѣясь и наивно закрывая рукою лицо. Но чаще онъ бывалъ печаленъ и жаловался, что ему не даютъ теплой ванны, отъ которой онъ обязательно долженъ поправиться. За нѣсколько дней до смерти ему назначили вечеромъ теплую ванну, и онъ весь тотъ день восклицалъ: „Съ нами Богъ!“ и смѣялся; когда онъ уже сидѣлъ въ ваннѣ,



проходившіе мимо больные слышали торопливое и полное блаженства воркованіе: это старичокъ въ послѣдній разъ передавалъ наблюдавшему за нимъ сторожу исторію о крещеніи Руси при Владимірѣ Святѣмъ. Въ положеніи больныхъ восьмой палаты замѣтныхъ перемѣнъ не произошло: студентъ Торбецкій поправлялся, а Лаврентій Петровичъ и о. діаконъ съ каждымъ днемъ слабѣли; жизнь и сила выходили изъ нихъ съ такой зловѣщей безшумностью, что они и сами почти не догадывались объ этомъ, и казалось, что никогда они и не ходили по палатѣ, а все такъ же спокойно лежали въ постеляхъ.

И все такъ же регулярно приходили доктора въ своихъ бѣлыхъ балахонахъ и студенты, выслушивали и выстукивали, и говорили между собою.

Въ пятницу на пятой недѣлѣ великаго поста о. діаконъ водили на лекцію, и вернулся онъ изъ аудиторіи возбужденный и разговорчивый. Онъ закатисто смѣялся, какъ и въ первое время, крестился и благодарилъ, и по временамъ подносилъ къ глазамъ платокъ, послѣ чего глаза становились красными.

— Чего это вы плачете, о. діаконъ?—спросилъ студентъ.

— Ахъ, отецъ, и не говорите:—съ умиленіемъ отзывался діаконъ,—такъ это хорошо, за милую душу! Посадили меня Семенъ Николаичъ въ кресло, сами стали рядомъ и говорятъ студентамъ: „Вотъ, говорятъ, діаконъ..“

Здѣсь о. діаконъ сдѣлалъ важное лицо, нахмурился, но слезы снова навернулись на его глазахъ, и стыдливо отвернувшись, онъ пояснилъ:

— Ужъ очень трогательно читаютъ Семенъ Николаевичъ! Такъ трогательно, что вся душа перевертывается. Жилъ, говорятъ, былъ діаконъ...

О. діаконъ всхлипнулъ.

— Жилъ-былъ діаконъ...

Дальше отъ слезъ о. діаконъ продолжать не могъ,

но уже улегшись въ постель, изъ-подъ одѣяла, шепнулъ сдавленнымъ голосомъ:

— Всю жизнь рассказали. Какъ это я былъ псаломщикомъ, не дождакъ. Про жену тоже, спасибо имъ, упомянули. Такъ трогательно, такъ трогательно: будто померъ ты, и надъ тобою читають. Жиль, говорятъ... былъ, говорятъ... діаконъ.

И пока о. діаконъ говорилъ, всѣмъ стало видно, что этотъ человѣкъ умереть, стало видно съ такою непереложною и страшною ясностью, какъ будто сама смерть стояла здѣсь, между ними. Невидимымъ страшнымъ холодомъ и тьмою повѣяло отъ веселаго діакона, и когда съ новымъ всхлипываніемъ онъ скрылся подъ одѣяломъ, Торбецкій нервно потеръ похолодѣвшія руки, а Лаврентій Петровичъ грубо разсмѣялся и закашлялся.

Послѣдніе дни Лаврентій Петровичъ сильно волновался и непрестанно повертывалъ голову по направленію къ сіявшему сквозь окно голубому небу; измѣнивъ своей неподвижности, онъ судорожно ворочался на постели, кряхтѣлъ и сердился на нянекъ. Съ тѣмъ же волненіемъ онъ встрѣчалъ доктора при ежедневномъ осмотрѣ, и тотъ подъ конецъ замѣтилъ это. Былъ онъ добрый и хорошій человѣкъ и участливо спросилъ:

— Что съ вами?

— Скучно,—сказалъ Лаврентій Петровичъ. И сказалъ онъ это такимъ голосомъ, какимъ говорятъ страдающіе дѣти, и закрылъ глаза, чтобы скрыть слезы. А въ его „дневникѣ“, среди замѣтокъ о томъ, каковы у больного пульсъ и дыханіе, и сколько разъ его слабило, появилась новая отмѣтка: „больной жалуется на скуку“.

Къ студенту по-прежнему приходила дѣвушка, которую онъ любилъ, и щеки ея отъ свѣжаго воздуха горѣли такой живой и нѣжной краской, что было пріятно и почему-то немного грустно смотрѣть на нихъ. Наклонясь къ самому лицу Торбецкаго, она говорила:

— Посмотри, какія горячія щеки.

И онъ смотрѣлъ, но не глазами, а губами, и смотрѣлъ долго и очень крѣпко, такъ какъ сталъ выздоравливать, и силы у него прибавилось. Теперь они не стѣснялись другихъ больныхъ и цѣловались открыто; діаконъ при этомъ деликатно отвертывался, а Лаврентій Петровичъ, не притворяясь уже спящимъ, съ вызовомъ и насмѣшкою смотрѣлъ на нихъ. И они любили о. діакона и не любили Лаврентія Петровича.

Въ субботу о. діаконъ получилъ изъ дому письмо. Онъ ждалъ его уже цѣлую недѣлю, и всѣ въ клиникѣ знали, что о. діаконъ ждетъ письма, и беспокоились вмѣстѣ съ нимъ. Приободрившійся и веселый, онъ всталъ съ постели и медленно бродилъ по палатамъ, всюду показывая письмо, принимая поздравленія, кланаясь и благодаря. Всѣмъ давно уже было извѣстно объ очень высокомъ ростѣ его жены, а теперь онъ сообщилъ о ней новую подробность:

— Здорово она у меня храпитъ. Когда ляжетъ въ кровать, такъ ты ее хоть оглоблей бей,—не подымеешь. Храпитъ да и все тутъ. Молодецъ, ей-Богу!

Потомъ о. діаконъ илутовато подмаргивалъ и вослицалъ:

— А этакую штуку видѣлъ? Отецъ, а отецъ?

И онъ показывалъ четвертую страницу письма, на которой неумѣлыми, дрожащими линіями былъ обведенъ контуръ растопыренной дѣтской руки, и посерединѣ, какъ разъ на ладони, было написано: „Тосикъ руку приложилъ“. Передъ тѣмъ, какъ приложить руку, Тосикъ, повидимому, былъ занятъ какимъ-нибудь дѣломъ, связаннымъ съ употребленіемъ воды и грязи, такъ какъ на тѣхъ мѣстахъ, что приходились противъ выпуклостей ладони и пальцевъ, бумага сохраняла явные слѣды пятенъ.

— Внукъ-то, хорошъ? Четыре года всего, а уменъ, такъ уменъ, что не могу я вамъ этого выразить. Руку приложилъ, а?—въ восторгѣ отъ остроумной штуки

о. діаконъ хлопалъ себя руками по колѣнямъ и сгибался отъ приступа неудержимаго, тихаго смѣха. И лицо его, давно не видѣвшее воздуха, изжелта-блѣдное, стало на минуту лицомъ здороваго человѣка, дни котораго еще не сочтены. И голосъ его дѣлался крѣпкимъ и звонкимъ, и бодростью дышали звуки трогательной пѣсни:

„Высшую небесъ и чистѣйшую свѣтлостей солнечныхъ, избавльшую насъ отъ клятвы, Владычицу міра пѣснями почитимъ!..“

Въ этотъ же день водили на лекцію Лаврентія Петровича. Пришелъ онъ оттуда взволнованный, съ дрожащими руками и кривой усмѣшкой, сердито оттолкнулъ няньку, помогавшую ему лечь въ постель, и тотчасъ же закрылъ глаза. Но о. діаконъ, самъ пережившій лекцію, дождался момента, когда глаза Лаврентія Петровича пріоткрылись, и съ участливымъ любопытствомъ началъ допрашивать о подробностяхъ осмотра.

— Какъ, отецъ, трогательно, а? Тоже, не бойсь, и про тебя говорили: жилъ, говорятъ, былъ купецъ...

Лицо Лаврентія Петровича гнѣвно передернулось, обжегши діакона взглядомъ, онъ повернулся къ нему спиной и снова рѣшительно закрылъ глаза.

— Ничего, отецъ, ты не безпокойся. Выздоровѣешь, да еще какъ откалывать-то начнешь,—по-небесному!—продолжалъ о. діаконъ. Онъ лежалъ на спинѣ и мечтательно глядѣлъ въ потолокъ, на которомъ игралъ невѣдомо откуда отраженный солнечный лучъ. Студентъ ушелъ курить, и въ минуты молчанія слышалось только тяжелое и короткое дыханіе Лаврентія Петровича.

— Да, отецъ,—медленно, съ спокойной радостью говорилъ о. діаконъ,—если будешь въ нашихъ краяхъ, ко мнѣ заѣзжай. Отъ станціи пять верстъ,—тебя всякій мужикъ довезетъ. Ей-Богу, пріѣзжай, угощу тебя за милую душу. Квасъ у меня—такъ это выразить я тебѣ не могу, до чего сладостенъ!

О. діаконъ вздохнулъ и, помолчавъ, продолжалъ:

— Къ „Троицѣ“ я вотъ тоже схожу. И за твое имя просфору выну. Потомъ соборы осматрю. Въ баню пойду. Какъ онѣ, отецъ, прозываются: торговья, что ли?

Лаврентій Петровичъ не отвѣтилъ, и о. діаконъ рѣшилъ самъ:

— Торговья. А тамъ, за милую душу—домой!

Діаконъ блаженно умолкъ, и въ наступившей тишинѣ короткое и прерывистое дыханіе Лаврентія Петровича напоминало гнѣвное сопѣніе паровика, удерживаемаго на запасномъ пути. И еще не разсѣялась передъ глазами діакона вызванная имъ картина близкаго счастья, когда въ ухо его вошли непонятныя и ужасныя слова. Ужасъ былъ въ одномъ ихъ звукѣ; ужасъ былъ въ грубомъ и злобномъ голосѣ, одно за однимъ ронявшимъ безсмысленныя, жестокія слова.

— На Ваганьково кладбище пойдешь,—вотъ куда!

— Что ты говоришь, отецъ?—не понималъ діаконъ.

— На Ваганьково, на Ваганьково, говорю, пора,—отвѣтилъ Лаврентій Петровичъ. Онъ повернулся лицомъ къ о. діакону и даже голову спустилъ съ подушки, чтобы ни одно слово не миновало того, въ кого оно было направлено.—А то въ анатомическій тебя сволокутъ и такъ тамъ тебя варѣжугъ,—за милую душу!

Лаврентій Петровичъ разсмѣялся.

— Что ты, что ты, Богъ съ тобой!—бормоталъ о. діаконъ.

— Со мною-то ничего, а вотъ какъ тутъ покойниковъ хоронять, такъ это потѣха. Сперва руку отрѣжутъ,—руку похоронять. Потомъ ногу отрѣжутъ, ногу похоронять. Такъ много-то незадачливаго покойника цѣлый годъ таскаютъ, перетаскать не могутъ.

Діаконъ молчалъ и остановившимся взглядомъ смотрѣлъ на Лаврентія Петровича, а тотъ продолжалъ говорить. И было что-то отвратительное и жалкое въ безстыдной прямотѣ его рѣчи.

— Смотрю я на тебя, о. діаконъ, и думаю: старый ты человѣкъ, а глупъ, прямо сказать, до святости. Ну, и чего ты ерепенишься: къ „Троицъ“ поѣду, въ баню пойду. Или вотъ тоже про яблоню „бѣлый наливъ“. Жить тебѣ всего недѣлю, а ты...

— Недѣля?

— Ну да, недѣля. Не я говорю, — доктора говорятъ. Лежалъ я намедни, быдто спалъ, а тебя въ палатѣ не было, — вотъ студенты и говорятъ: а скоро, говорятъ, нашему діакону и того. Недѣльку протянешь.

— Про-тя-не-ть?

— А ты думаешь, она помилуется?—Слово „она“ Лаврентій Петровичъ выговорилъ съ страшной выразительностью. Затѣмъ онъ поднялъ кверху свой огромный бугроватый кулакъ и, печально полюбовавшись его массивными очертаніями, продолжалъ. — Вотъ, глянь-ка! Приложу кого, такъ тутъ ему азъ и хвертъ и будетъ. А тоже... Ну да, тоже. Эхъ, діаконъ пустоголовый: къ „Троицъ“, въ баню пойду. Получше тебя люди жили, да и тѣ помирали.

Лицо о. діакона было желто, какъ шафранъ; ни говорить, ни плакать онъ не могъ, ни даже стонать. Молча и медленно онъ опустилсѣ на подушку и старательно, убѣгая отъ свѣта и отъ словъ Лаврентія Петровича, завернулся въ одѣяло и притихъ. Но тотъ не могъ не говорить: каждымъ словомъ, которымъ онъ поражалъ діакона, онъ приносилъ себѣ ограду, и облегченіе. И съ притворнымъ добродушіемъ онъ повторялъ:

— Такъ-то, отче. Черезъ недѣльку. Какъ ты говоришь: азъ и хвертъ? Вотъ тебѣ азъ и хвертъ. А ты въ баню, — чудасія! Развѣ вотъ на томъ свѣтѣ насъ съ тобой горячими вѣниками попарять, — это отчего же, очень возможно.

Но тутъ вошелъ студентъ, и Лаврентій Петровичъ неохотно умолкъ. Онъ попробовалъ закрыться одѣяломъ, какъ и о. діаконъ, но скоро высунулъ голову изъ тьмы и насмѣшливо поглядѣлъ на студента.

— А сестрица-то ваша сегодня, вижу, опять не придутъ?—спросилъ онъ студента съ тѣмъ же притворнымъ добродушіемъ и нехорошей улыбкой.

— Да, нездорова, — коротко отъ окна бросилъ студентъ хмурый отвѣтъ.

— Какая жалость! — покачалъ головой Лаврентій Петровичъ. — Что же такое съ ними?

Но студентъ не отвѣтилъ: кажется, онъ не слыхалъ вопроса. Уже три раза дѣвушка, которую онъ любилъ, пропускала часы свиданій; не придетъ она и сегодня. Торбецкій дѣлалъ видъ, что смотритъ въ окно на улицу такъ, отъ бездѣлья, но въ дѣйствительности старался заглянуть влѣво, гдѣ находился невидимый подъездъ, и прижимался лбомъ къ самому стеклу. И такъ между окномъ и часами, глядя то на одно, то на другое, провелъ онъ время обычнаго приѣма посѣтителей отъ двухъ до четырехъ часовъ. Усталый и поблѣднѣвшій, онъ неохотно выпилъ стаканъ чаю и легъ въ постель, не замѣтивъ ни странной молчаливости о. діакона, ни такой же странной разговорчивости Лаврентія Петровича.

— Не пришли сестрица!—говорилъ Лаврентій Петровичъ и улыбался нехорошей улыбкой.

#### IV.

Въ эту ночь, томительно долгую и пустую, такъ же горѣла лампочка подъ синимъ абажуромъ, и звонкая тишина вздрагивала и пугалась, разнося по палатамъ тихіе стоны, храпъ и сонное дыханіе больныхъ. Гдѣ-то упала на камень чайная ложка, и звукъ получился чистый, какъ отъ колокольчика, и долго еще жилъ въ тихомъ и неподвижномъ воздухѣ. Въ палатѣ № 8 никто не спалъ въ эту ночь, но всѣ лежали тихо и походили на спящихъ. Одинъ Торбецкій, не думавшій о присутствіи въ палатѣ постороннихъ людей, спокойно

ворочался, ложась то на спину, то ницъ, густо вздыхалъ и поправлялъ сползавшее одѣяло. Раза два онъ ходилъ курить и, наконецъ, заснулъ, такъ какъ изнуренный организмъ бралъ свое. И сонъ его былъ крѣпокъ, и грудь подымалась ровно и легко. Должно быть, и сны пришли къ нему хорошіе: на губахъ у него появилась улыбка и долго не сходила, странная и трогательная при глубокой неподвижности тѣла и закрытыхъ глазахъ.

Далеко, въ темной и пустынной аудиторіи, пробило три часа, когда въ ухо начавшаго дремать Лаврентія Петровича вошелъ тихій, дрожащій и загадочный звукъ. Онъ родился тотчасъ за музыкальнымъ боемъ часовъ и въ первую секунду показался нѣжнымъ и красивымъ, какъ далекая печальная пѣсня. Лаврентій Петровичъ прислушался: звукъ ширился и росъ, и, все такой же мелодичный, походилъ теперь на тихій плачъ ребенка, котораго заперли въ темную комнату, и онъ боится тьмы и боится тѣхъ, кто его заперъ, и сдерживаетъ бьющіяся въ груди рыданія и вздохи. Въ слѣдующую секунду Лаврентій Петровичъ проснулся совсѣмъ и разомъ понялъ загадку: плакалъ кто-то взрослый, плакалъ некрасиво, даваясь слезами, задыхаясь.

— Кто это?—испуганно спросилъ Лаврентій Петровичъ, но не получилъ отвѣта. Плачъ замеръ, и отъ этого въ палатѣ стало еще печальнѣе и тоскливѣе. Бѣлыя стѣны были неподвижны и холодны, и не было никого живого, кому можно было бы пожаловаться на одиночество и страхъ и просить защиты.

— Кто это плачетъ? — повторилъ Лаврентій Петровичъ.—Дьяконъ, это ты?

Рыданіе словно пряталось гдѣ-то тутъ же, возлѣ Лаврентія Петровича, и теперь, ничѣмъ не сдерживаемое, вырвалось на свободу. Одѣяло, укрывавшее о. діакона, заколыхалось, и металлическая дощечка дребезжащимъ стукомъ ударилась объ желѣзку.



— Что ты! Что ты! — бормоталъ Лаврентій Петровичъ.— Не плачь.

Но о. діаконъ плакалъ, и все чаще ударялась дощечка, сотрясаемая рыдающимъ и бьющимся тѣломъ. Лаврентій Петровичъ сѣлъ на постель, задумался и потомъ медленно спустилъ на полъ затекшія ноги. Когда онъ всталъ на нихъ, въ голову ему ударило чѣмъ-то теплымъ и шумящимъ, — словно цѣлый десятокъ жернововъ завертѣлся и загрохоталъ въ его мозгу, — дыханіе прервалось, и потолокъ быстро поплылъ куда-то внизъ. Съ трудомъ удержавшись на погахъ отъ приступа головокруженія, ощущая толчки сердца такъ ясно, какъ будто изнутри груди кто-то билъ молоткомъ, Лаврентій Петровичъ отдышался и рѣшительно перешагнулъ пространство, отдѣлявшее его отъ постели о. діакона, — полтора шага. Здѣсь ему снова пришлось передохнуть. Прерывисто и тяжело сопя носомъ, онъ положилъ руку на вздрагивавшій бугорокъ, подвинувшійся, чтобы дать ему мѣсто на постели, и просительно сказалъ:

— Не плачь. Ну, чего плакать?! Боишься умирать?

О. діаконъ порывисто сдернулъ одѣяло съ головы и жалобно вскрикнулъ:

— Ахъ, отецъ!

— Ну, что? Боишься?

— Нѣтъ, отецъ, не боюсь, — тѣмъ же жалобно поющимъ голосомъ отвѣтилъ діаконъ и энергично покачалъ головой. — Нѣтъ, не боюсь, — повторилъ онъ и, снова повернувшись на бокъ, застоналъ и дрогнулъ отъ рыданій.

— Ты на меня не сердись, что я тебѣ давеча сказалъ, — попросилъ Лаврентій Петровичъ. — Глупо, братъ, сердиться.

— Да я не сержусь. Чего я буду сердиться? Развѣ это ты смерть накликалъ? Сама приходитъ... — и о. діаконъ вздохнулъ высокимъ, все подымающимся звукомъ.

— Чего же ты плачешь? — все также медленно и недоумѣнно спрашивалъ Лаврентій Петровичъ. Жалость къ о. діакону начала проходить и смѣнялась мучительнымъ недоумѣніемъ. Онъ вопросительно переводилъ глаза съ темнаго діаконова лица на его сѣденькую бороденку, чувствовалъ подъ рукою безсильное трепыханіе худенькаго тѣльца и недоумѣвалъ.

— Чего же ты реवेशь? — настойчиво спрашивалъ онъ.

О. діаконъ схватилъ руками лицо и, раскачивая головой, произнесъ высокимъ, поющимъ голосомъ:

— Ахъ, отецъ, отецъ! Солнушка жалко. Кабы ты зналъ... какъ оно у насъ... въ Тамбовской губерніи, свѣтить. За ми... За милую душу!

Какое солнце? — Лаврентій Петровичъ не понялъ и рассердился на діакона. Но тутъ же онъ вспомнилъ тотъ потокъ горячаго свѣта, что днемъ вливался въ окно и золотилъ полъ, вспомнилъ, какъ свѣтило солнце въ Саратовской губерніи на Волгу, на лѣсъ, на пыльную тропинку въ полѣ, — и всплеснулъ руками, и ударилъ ими себя въ грудь, и съ хриплымъ рыданіемъ упалъ лицомъ внизъ на подушку, бокъ-о-бокъ съ головой діакона. Такъ плакали они оба. Плакали о солнцѣ, котораго больше не увидятъ, о яблонѣ „бѣлый наливъ“, которая безъ нихъ дастъ свои плоды, о тѣмъ, которая охватитъ ихъ, о милой жизни и жестокой смерти. Звонкая тишина подхватывала ихъ рыданія и вздохи и разносила по палатамъ, смѣшивая ихъ съ здоровымъ храпомъ сидѣлокъ, утомленныхъ за день, со стонами и кашлемъ тяжелыхъ больныхъ и легкимъ дыханіемъ выздоравливающихъ. Студентъ спалъ, но улыбка исчезла съ его устъ, и синія мертвенныя тѣни лежали на его лицѣ неподвижномъ и, въ неподвижности своей, грустномъ и страдающемъ. Немигающимъ, безжизненнымъ свѣтомъ горѣла электрическая лампочка, и бѣлыя высокія стѣны смотрѣли равнодушно и тупо.

Умеръ Лаврентій Петровичъ въ слѣдующую ночь, въ пять часовъ утра. Съ вечера онъ крѣпко уснулъ, проснулся съ сознаниемъ, что онъ умираетъ, и что ему нужно что-то сдѣлать: позвать на помощь, крикнуть или перекреститься,—и потерялъ сознание. Высоко поднялась и опустилась грудь, дрогнули и разошлись ноги, свисла съ подушки отяжелѣвшая голова, и размашисто скатился съ груди массивный кулакъ. О. діаконъ услышалъ сквозь сонъ скрипъ постели и, не открывая глазъ, спросилъ:

— Ты что, отецъ?

Но никто не отвѣтилъ ему, и онъ снова уснулъ. Днемъ доктора увѣрили его, что онъ будетъ жить, и онъ повѣрилъ имъ и былъ счастливъ: кланялся съ постели одной головой, благодарилъ и поздравлялъ всѣхъ съ праздникомъ.

Счастливъ былъ и студентъ и спалъ крѣпко, какъ здоровый. Въ этотъ день дѣвушка приходила къ нему, горячо цѣловала его и просидѣла дольше назначеннаго часа ровно на двадцать минутъ.

Солнце всходило.

5—16 февраля 1901 г.



## СТѢНА.

Я и другой прокаженный, мы осторожно подползли къ самой стѣнѣ и посмотрѣли вверхъ. Отсюда гребня стѣны не было видно; она поднималась, прямая и гладкая, и точно разрѣзала небо на двѣ половины. И наша половина неба была буро-черная, а къ горизонту темно-синяя, такъ что нельзя было понять, гдѣ кончается черная земля и начинается небо. И сдвленная землей и небомъ задыхалась черная ночь, и глухо и тяжело стонала и съ каждымъ вздохомъ выплевывала изъ нѣдръ своихъ острый и жгучій песокъ, отъ котораго мучительно горѣли наши язы.

— Попробуемъ перелѣзть,—сказалъ мнѣ прокаженный, и голосъ его былъ гнусавый и зловонный, такой же, какъ у меня. И онъ подставилъ спину, а я сталъ на нее, но стѣна была все такъ же высока. Какъ и небо, разсѣкала она землю, лежала на ней, какъ толстая сытая змѣя, спадала въ пропасть, поднималась на горы, а голову и хвостъ прятала за горизонтомъ.

— Ну, тогда сломаемъ ее!—предложилъ прокаженный.

— Сломаемъ!—согласился я.

Мы ударились грудями о стѣну, и она окрасилась кровью нашихъ ранъ, но осталась глухой и неподвижной. И мы впали въ отчаяніе.

— Убейте насъ! Убейте насъ!—стонали мы и ползли, по всѣмъ лицамъ съ гадливостью отворачивались отъ насъ,

и мы видѣли однѣ спины, содрогавшіяся отъ глубокаго отвращенія. Такъ мы поползли до голоднаго. Онъ сидѣлъ, прислонившись къ камню, и, казалось, самому граниту было больно отъ его острыхъ колючихъ лопатокъ. У него совсѣмъ не было мяса, и кости стучали при движеніи, и сухая кожа шуршала. Нижняя челюсть его отвисла, и изъ темнаго отверстія рта шелъ сухой першавый голосъ:

— Я го-ло-день.

И мы засмѣялись и поползли быстрѣе, пока не нагнулись на четырехъ, которые танцовали. Они сходились, расходились, обнимали другъ друга и кружились, и лица у нихъ были блѣдныя, измученныя, безъ улыбки. Одинъ заплакалъ, потому что усталъ отъ безконечнаго танца и просилъ перестать, но другой молча обнялъ его и закружилъ, и снова сталъ онъ сходитьсь и расходиться, и при каждомъ его шагѣ капала большая мутная слеза.

— Я хочу танцевать,—прогнусавилъ мой товарищъ, но я увлекъ его дальше. Опять передъ нами была стѣна, а около нея двое сидѣли на корточкахъ. Одинъ черезъ извѣстные промежутки времени ударялъ объ стѣну лбомъ и падалъ, потерявъ сознаніе, а другой серьезно смотрѣлъ на него, щупалъ рукой его голову, а потомъ стѣну, и когда тотъ приходилъ въ сознаніе, говорилъ:

— Нужно еще; теперь немного осталось.

И прокаженный засмѣялся.

— Это дураки,—сказалъ онъ, весело надувая щеки.— Это дураки. Они думаютъ, что тамъ свѣтло. А тамъ тоже темно, и тоже ползаютъ прокаженные и просятъ: убейте насъ.

— А старикъ?—спросилъ я.

— Ну что старикъ?—возразилъ прокаженный. Старикъ глупый, слѣпой и ничего не слышитъ. Кто видѣлъ дырочку, которую онъ проковырялъ въ стѣнѣ? Ты видѣлъ? Я видѣлъ?

И я разсердился и больно ударилъ товарища по пузырямъ, вдувавшимся на его черепъ, и закричалъ:

— А зачѣмъ ты самъ лазилъ?

Онъ заплакалъ, и мы оба заплакали и поползли дальше, прося:

— Убейте насъ! Убейте насъ!

Но съ содроганіемъ отворачивались лица, и никто не хотѣлъ убивать насъ. Красивыхъ и сильныхъ они убивали, а насъ боялись тронуть. Такіе подлые!

## II

У насъ не было времени, и не было ни вчера, ни сегодня, ни завтра. Ночь никогда не уходила отъ насъ и не отдыхала за горами, чтобы придти оттуда крѣпкой, ясно черной и спокойной. Оттого она была всегда такая усталая, задыхающаяся и угрюмая. Злая она была. Случалось такъ, что невыносимо ей дѣлалось слушать наши вопли и стоны, видѣть наши язвы, горе и злобу, и тогда бурной яростью вскипала ея черная, глухо работающая грудь. Она рычала на насъ, какъ плѣненный звѣрь, разумъ котораго помутился, и гнѣвно мигала огненными страшными глазами, озарявшими черныя, бездонныя пропасти, мрачную, гордо спокойную стѣну и жалкую кучку дрожащихъ людей. Какъ къ другу, прижимались они къ стѣнѣ и просили у нея защиты, а она всегда была нашъ врагъ, всегда. И ночь возмущалась нашимъ малодушіемъ и трусостью, и начинала грозно хохотать, покачивая своимъ сѣрымъ пятнистымъ брюхомъ, и старыя лысыя горы подхватывали этотъ сатанинскій хохотъ. Гулко вторила ему мрачно развеселившаяся стѣна, шаловливо роняла на насъ камни, а они дробили наши головы и расплющивали тѣла. Такъ веселились они, эти великаны, и перекликались, и вѣтеръ насвистывалъ имъ дикую мелодію, а мы лежали

ницъ и съ ужасомъ прислушивались, какъ въ нѣдрахъ земли ворчается что-то громадное и глухо ворчить. стуча и просясь на свободу. Тогда всѣ мы молили:

— Убейте насъ!

Но, умирая каждую секунду, мы были бессмертны, какъ боги.

Проходилъ порывъ безумнаго гнѣва и веселья, и почъ плакала слезами раскаянія и тяжело вздыхала, харкая на насъ мокрымъ пескомъ, какъ больная. Мы съ радостью прощали ее, смѣялись надъ нею, истощенной и слабой, и становились веселы, какъ дѣти. Сладкимъ пѣніемъ казался намъ вопль голоднаго, и съ веселой завистью смотрѣли мы на тѣхъ четырехъ, которые сходились, расходились и плавно кружились въ безконечномъ танцѣ.

И пара за парой начинали кружиться и мы, и я, прокаженный, находилъ себѣ временную подругу. И это было такъ весело, такъ пріятно! Я обнималъ ее, а она смѣялась, и зубки у нея были бѣленькіе, бѣленькіе, и щечки розовенькія, розовенькія. Это было такъ пріятно!

И нельзя понять, какъ это случалось, но радостно оскаленные зубы начинали шелкать, поцѣлуи становились укусомъ, и съ визгомъ, въ которомъ еще не исчезла радость, мы начинали грызть другъ друга и убивать. И она, бѣленькіе зубки, тоже была меня по моей больной слабой головѣ и острыми коготками впивалась въ мою грудь, добираясь до самаго сердца—была меня, прокаженного, бѣднаго, такого бѣднаго. И это было страшнѣе, чѣмъ гнѣвъ самой ночи и бездушный хохотъ стѣны. И я, прокаженный, плакалъ и дрожалъ отъ страха, и потихоньку, тайно отъ всѣхъ цѣловалъ гнусныя ноги стѣны и просилъ ее меня, только меня одного, пропустить въ тотъ міръ, гдѣ нѣтъ безумныхъ, убивающихъ другъ друга. Но, такая подлая, стѣна не пропускала меня, и тогда я плевалъ на нее, билъ ее кулаками и кричалъ:

— Смотрите на эту убійцу! Она смѣется надъ вами. Но голосъ мой былъ гнусавъ, и дыханіе смрадно, и никто не хотѣлъ слушать меня, прокаженнаго.

### III.

И опять ползли мы, я и другой прокаженный, и опять кругомъ стало шумно, и опять безмолвно кружились тѣ, четверо, отряхая пыль со своихъ платьевъ и зализывая кровавыя раны. Но мы устали, намъ было больно, и жизнь тяготила насъ. Мой спутникъ сѣлъ и, равномерно ударяя по землѣ опухшей рукой, гнусавилъ быстрой скороговоркой:

— Убейте насъ. Убейте насъ.

Рѣзкимъ движеніемъ мы вскочили на ноги и бросились въ толпу, но она разступилась, и мы увидѣли однѣ спины. И мы кланялись спинамъ и просили:

— Убейте насъ.

Но неподвижны и глухи были спины, какъ вторая стѣна. Это было такъ страшно, когда не видишь лица людей, а однѣ ихъ спины, неподвижныя и глухія.

Но вотъ мой спутникъ покинулъ меня. Онъ увидѣлъ лицо, первое лицо, и оно было такое-же, какъ у него, изъязвленное и ужасное. Но то было лицо женщины. И онъ сталъ улыбаться, и ходилъ вокругъ нея, выгибая шею и распространяя смрадъ, а она также улыбалась ему провалившимся ртомъ и потупляла глаза, лишенные рѣсницъ.

И они жепились. И на мигъ всѣ лица обернулись къ нимъ, и широкій, раскатистый хохотъ потрясъ здоровыя тѣла: такъ они были смѣшны, любезничая другъ съ другомъ. Смѣялся и я, прокаженный: вѣдь глупо жениться, когда ты такъ некрасивъ и боленъ.

— Дуракъ,—сказалъ я насмѣшливо.—Что ты будешь съ ней дѣлать?



Прокаженный напыщенно улынулся и отвѣтилъ:

— Мы будемъ торговать камнями, которые падаютъ со стѣны.

— А дѣти?

— А дѣтей мы будемъ убивать.

Какъ глупо: родить дѣтей, чтобы убивать ихъ. А потомъ она скоро измѣнить ему — у нея такіе лукавые глаза.

#### IV.

Они кончили свою работу—тотъ, что ударялся лбомъ, и другой, помогавшій ему, и когда я подползъ, одинъ висѣлъ на крюкѣ, вбитомъ въ стѣну, и былъ еще теплый, а другой тихонько пѣлъ веселую пѣсенку.

— Ступай, скажи голодному,—приказалъ я ему, и онъ послушно пошелъ, напѣвая. И я видѣлъ, какъ голодный откачнулся отъ своего камня. Шатаясь, падая, за дѣвая всѣхъ колючими локтями, то на четверенкахъ, то ползкомъ онъ пробирался къ стѣнѣ, гдѣ качался повѣшенный, и щелкалъ зубами и смѣялся, радостно, какъ ребенокъ. Только кусочекъ ноги! Но онъ опоздалъ, и другіе, сильные, опередили его. Напирая одинъ на другого, царапаясь и кусаясь, они облѣпили трупъ повѣшеннаго и грызли его ноги и аппетитно чавкали и трещали разгрызаемыми костями. И его не пустили. Онъ сѣлъ на корточки, смотрѣлъ, какъ ѣдятъ другіе, и облизывался шершавымъ языкомъ, и продолжительный вой неся изъ его большого, пустого рта:

— Я го-ло-день.

Вотъ было смѣшно: тотъ умеръ за голоднаго, а голодному даже куска отъ ноги не досталось. И я смѣялся, и другой прокаженный смѣялся, и жена его тутъ же смѣшливо открывала и закрывала свои лукавые глаза: щурить ихъ она не могла, такъ какъ у нея не было рѣсницъ.

А онъ вылъ все яростнѣе и громче:

— Я го-ло-день.

И хрипъ исчезъ изъ его голоса, и чистымъ металлическимъ звукомъ, пронзительнымъ и яснымъ, поднимался онъ вверхъ, ударялся о стѣну и, отскочивъ отъ нея, летѣлъ надъ темными пропастями и сѣдыми вершинами горъ.

И скоро завывли всѣ, находившіеся у стѣны, а ихъ было такъ много, какъ саранчи, и жадны и голодны они были, какъ саранча, и казалось, что въ нестерпимыхъ мукахъ взвыла сама сожженная земля, широко раскрывъ свой каменный зѣвъ. Словно лѣсъ сухихъ деревьевъ, склоненныхъ въ одну сторону бушующимъ вѣтромъ, поднимались и протягивались къ стѣнѣ судорожно выпрямленныя руки, тощія, жалкія, молящія, и было столько въ нихъ отчаянія, что содрогались камни, и трусливо убѣгали сѣдые и синія тучи. Но неподвижна и высока была стѣна и равнодушно отражала она вой, пластами рѣзавшій и пронзавшій густой зловонный воздухъ.

И всѣ глаза обратились къ стѣнѣ и огнистые лучи струили они изъ себя. Они вѣрили и ждали, что сейчасъ падетъ она и откроетъ новый міръ, и въ ослѣпленіи вѣры уже видѣли, какъ колеблются камни, какъ съ основанія до вершины дрожитъ каменная змѣя, упитанная кровью и человѣческими мозгами. Быть можетъ, то слезы дрожали въ нашихъ глазахъ, а мы думали, что сама стѣна, и еще пронзительнѣе сталъ нашъ вой.

Гнѣвъ и ликованіе близкой побѣды зазвучали въ немъ.

## V.

И вотъ что случилось тогда. Высоко на камень встала худая, старая женщина съ провалившимися сухими щеками и длинными нечесанными волосами, похо-

жими на сѣдую гриву стараго голоднаго волка. Одежда ея была разорвана, обнажая желтыя, костлявыя плечи и тощія отвислыя груди, давшія жизнь многимъ и истощенныя материнствомъ. Она протянула руки къ стѣнѣ—и всѣ взоры послѣдовали за ними; она заговорила, и въ голосъ ея было столько муки, что стыдливо замеръ отчаянный вой голоднаго.

— Отдай мнѣ мое дитя!—сказала женщина.

И всѣ мы молчали и яростно улыбались и ждали, что отвѣтитъ стѣна. Кроваво-сѣрымъ пятномъ выступали на стѣнѣ мозги того, кого эта женщина называла „мое дитя“, и мы ждали нетерпѣливо, грозно, что отвѣтитъ подлая убійца. И такъ тихо было, что мы слышали шорохъ тучъ, двигавшихся надъ нашими головами, и сама черная ночь замкнула стоны въ своей груди, и лишь съ легкимъ свистомъ выплевывала жгучій мелкій песокъ, разѣдавшій наши раны. И снова зазвѣнѣло суровое и горькое требованіе:

— Жестокая, отдай мнѣ мое дитя!

Все грознѣе и яростнѣе становилась наша улыбка, но подлая стѣна молчала. И тогда изъ безмолвной толпы вышелъ красивый и суровый старикъ и сталъ рядомъ съ женщиной.

— Отдай мнѣ моего сына!—сказалъ онъ.

Такъ страшно было и весело! Спина моя ежилась отъ холода, и мышцы сокращались отъ прилива невѣдомой и грозной силы, а мой спутникъ толкалъ меня въ бокъ, ласкалъ зубами, и смрадное дыханіе шипящей широкой волной выходило изъ гнѣющаго рта.

И вотъ вышелъ изъ толпы еще человѣкъ и сказалъ:

— Отдай мнѣ моего брата!

И еще вышелъ человѣкъ и сказалъ:

— Отдай мнѣ мою дочь!

И вотъ стали выходить мужчины и женщины, старые и молодые, и простирали руки, и неумолимо звучало ихъ горькое требованіе:

— Отдай мнѣ мое дитя!

Тогда и я, прокаженный, ощутилъ въ себѣ силу и смѣлость. и вышелъ впередъ, и крикнулъ громко и грозно:

— Убійца! Отдай мнѣ самого меня!

А она,—она молчала. Такая лживая и подлая, она притворялась, что не слышитъ, и злобный смѣхъ сотрясъ мои изъязвленные щеки, и безумная ярость наполнила наши изболѣвшіяся сердца. А она все молчала, равнодушно и тупо, и тогда женщина гнѣвно потрясла тощими, желтыми руками и бросила неумолимо:

— Такъ будь же проклята, ты, убившая мое дитя!

Красивый, суровый старикъ повторилъ:

— Будь проклята!

И звенящимъ тысячеголосымъ стономъ повторила вся земля:

• — Будь проклята! Проклята! Проклята!

## VI.

И глубоко вздохнула черная ночь, и, словно море, подхваченное ураганомъ и всей своей тяжелой ревущей громадой брошенное на скалы, всколыхнулся весь видимый міръ и тысячью напряженныхъ и яростныхъ грудей ударилъ о стѣну. Высоко, до самыхъ тяжело вращавшихся тучъ брызнула кровавая пѣна и окрасила ихъ, и стали онѣ огненные и страшные, и красный свѣтъ бросили внизъ, туда, гдѣ гремяло, рокотало и выло что-то мелкое, но чудовищно многочисленное, черное и свирѣпое. Съ замирающимъ стономъ, полнымъ несказанной боли, отхлынуло оно—и непоколебимо стояла стѣна и молчала. Но не робко и не стыдливо молчала она—сумраченъ и грозно покоенъ былъ взглядъ ея безформенныхъ очей и гордо, какъ царица, спускала она съ плечъ своихъ пурпуровую мантию быстро сбѣгающей

крови, и концы ея терялись среди изуродованных труповъ.

Но, умирая каждую секунду, мы были бессмертны, какъ боги. И снова взревѣлъ мощный потокъ человѣческихъ тѣлъ и всей своей силой ударилъ о стѣну. И снова отхлынулъ, и такъ много, много разъ, пока не наступила усталость, и мертвый сонъ и тишина. А я, прокаженный, былъ у самой стѣны и видѣлъ, что начинаетъ шататься она, гордая царица, и ужасъ паденія судорогой пробѣгаетъ по ея камнямъ.

— Она падаетъ!—закричалъ я.—Братъ, она падаетъ!

Ты ошибаешься, прокаженный!,—отвѣтили мнѣ братья.

И тогда я сталъ просить ихъ:

— Пусть стоитъ она, но развѣ каждый трупъ не есть ступень къ вершинѣ? Насъ много, и жизнь наша тягостна. Устелемъ трупами землю; на трупы набросимъ новые трупы и такъ дойдемъ до вершины. И если останется только одинъ,—онъ увидитъ новый мѣръ.

И съ веселой надеждой оглянувшись я—и однѣ спины увидѣлъ, равнодушныя, жирныя, усталыя. Въ безконечномъ танцѣ кружились тѣ четверо, сходились и расходились, и черная ночь выплевывала мокрый песокъ, какъ больная, и несокрушимой громадой стояла стѣна.

— Братъ!—просилъ я.—Братъ!

Но голосъ мой былъ гнусавъ, и дыханіе смрадно, и никто не хотѣлъ слушать меня, прокаженного

Горе!.. Горе!.. Горе!..

Сентябрь 1901 г.



## ВЪ ТЕМНУЮ ДАЛЬ.

Уже четыре недѣли жилъ онъ въ домѣ—и четыре недѣли въ домѣ царили страхъ и безпокойство. Всѣ старались говорить и поступать такъ, какъ они всегда поступали и говорили, и не замѣчали того, что рѣчи ихъ звучать глуше, что глаза ихъ смотрять виновато и тревожно и часто оборочиваются въ ту сторону, гдѣ находится отведенная ему комната. Въ противоположномъ отъ нея концѣ дома они ступали ногами неестественно громко и такъ же неестественно громко смѣялись, по когда имъ случалось проходить мимо бѣлыхъ дверей, которыя весь день были заперты изнутри и такъ глухи, точно за ними не было ничего живого, они умѣряли шагъ, а все тѣло ихъ подавалось въ сторону, словно въ ожиданіи удара. И хотя проходившіе становились на полъ всеѣ ногой, но шагъ ихъ былъ болѣе легокъ и болѣе беззвученъ, чѣмъ если бы они шли на цыпочкахъ. И никто не называлъ его по имени, а просто словомъ „онъ“, и такъ какъ всѣ каждую минуту думали о немъ, то это неопредѣленное названіе представлялось болѣе яснымъ, чѣмъ полное имя, и никогда не заставляло переспрашивать. Почему-то казалось непочтительнымъ и фамиллярнымъ звать его, какъ зовутъ другихъ; слово же „онъ“ точно и рѣзко выражало страхъ, который внушала его высокая, сумрачная фигура. И только одна старая бабушка, которая жила наверху, звала его Колей, но и она испытывала напря-

женное состояніе страха и ожиданія бѣды, охватившее весь домъ и часто плакала. Однажды она спросила горличную Катю, почему барышня не играетъ сегодня на фортепіано, но Катя удивленно взглянула на нее и не отвѣтила, а, уходя, покачала головой, точно не одобряла самого вопроса.

Пришелъ онъ въ сѣрый ноябрьскій полдень, когда всѣ были дома и сидѣли за чаемъ, кромѣ Пети, давно уже ушедшаго въ гимназію. На дворѣ было холодно, и низко нависшія плотныя тучи сѣяли дождь, такъ что, несмотря на большія окна, въ высокихъ комнатахъ было темно, а въ нѣкоторыхъ горѣлъ даже огонь. Звонокъ его былъ рѣзкій и властный, и самъ Александръ Антоновичъ вздрогнулъ; онъ подумалъ, что явился кто-нибудь изъ важныхъ посѣтителей, и медленно пошелъ навстрѣчу, сдѣлавъ на своемъ полномъ и серьезномъ лицѣ привѣтно-ласковую улыбку. Но она тотчасъ исчезла, когда въ полутьмѣ прихожей онъ увидѣлъ бѣдно и грязно одѣтаго человѣка, передъ которымъ въ смущеніи стояла горничная, робко загораживая ему путь. Вѣроятно, съ вокзала онъ шелъ пѣшкомъ и только мѣстами ѣхалъ на конкѣ, потому что коротенькое потертое пальто его было мокро, а брюки внизу забрызганы и стояли коломъ отъ воды и грязи. И голосъ его былъ хриплый, грубый, не то отъ сырости и простуды, не то отъ долгаго молчанія въ тряскомъ вагонѣ.

— Чего молчите? Дома, спрашиваю васъ, Александръ Антоновичъ Барсуковъ?—повторилъ вошедшій свой вопросъ.

Но отозвался Александръ Антоновичъ. Не входя въ переднюю, онъ въ полъ-оборота взглянулъ на человѣка, котораго счелъ за одного изъ безчисленныхъ просителей, и строго сказалъ:

— Вамъ что здѣсь нужно?

— Не узналъ, отецъ?—немного насмѣшливо, но съ дрожью въ голосѣ, спросилъ вошедшій.—А вѣдь я Николай, по отчеству Александръ.

— Какой... Николай?—отступилъ на шагъ Александръ Антоновичъ.

Но спрашивая, онъ уже зналъ какой Николай стоитъ передъ нимъ. Важность исчезла съ его лица, и оно стало блѣдно страшной старческой блѣдностью, похожей на смерть, и руки поднялись къ груди, откуда внезапно вышелъ весь воздухъ. Слѣдующимъ порывистымъ движеніемъ обѣ руки обняли Николая, и сѣдая холодная борода прикоснулась къ черной мокрой бородачѣ, и старческія, отвыкшія цѣловать, губы, искали молодыхъ свѣжихъ губъ и съ ненасытной жадностью впивались въ нихъ.

— Погоди, отецъ, дай раздѣться,—мягко говорилъ Николай.

— Простилъ? Простилъ?—дрожалъ всеѣмъ тѣломъ Александръ Антоновичъ.

— Ну, что за глупости!—сурово и строго сказалъ Николай, отстраняя отца.—Какое еще тамъ прощенье?

Когда они входили въ столовую, Александру Антоновичу было стыдно своего порыва, которому съ такой неудержимой силой отдалось его доброе сердце. Но радость отъ свиданія, хотя и отравленная, бурлила въ груди и искала выхода, и видъ сына, который пропадалъ невѣдомо гдѣ въ теченіе цѣлыхъ семи лѣтъ, дѣлалъ его походку быстрой и молодой и движенія порывистыми и несолидными. И онъ искренне разсмѣялся, когда Николай остановился передъ сестрой и, потирая озябшія руки, спросилъ:

— А эта барышня—сестрица, что-ли?

Ниночка, семнадцатилѣтняя дѣвушка, блѣдненькая и худенькая, стояла у своего мѣста и смущенно перебирала по столу пальцами, устремивъ на брата большіе испуганные глаза. Она догадалась, что это Николай, котораго она помнила больше, чѣмъ самъ отецъ, и теперь не знала, что дѣлать. И когда Николай, вмѣсто поцѣлуя, пожалъ ей руку, она отвѣтила крѣпкимъ пожатіемъ и чуть, по институтски, не присѣла.



— А это господинъ студентъ, Андрей Егорычъ— Петькинъ репетиторъ,—знакомилъ Александръ Антоновичъ.

— Петька?—удивился Николай,—да онъ уже учится! Важно!

Потомъ его познакомили съ остролицей дамой, которая налижала чай, и которую называли просто Анной Ивановной, и потомъ всѣ стали жадно разсматривать его, пока онъ въ свою очередь оглядывалъ комнату, желая узнать, все ли такъ, какъ было семь лѣтъ тому назадъ. Было въ немъ что-то странное, не поддающееся опредѣленію. Высокимъ ростомъ, гордымъ поворотомъ головы, пронзительнымъ взглядомъ черныхъ глазъ изъ подъ крутыхъ выпуклыхъ бровей, онъ напоминалъ молодого орла. Дикостью и свободой вѣяло отъ его прихотливо разметававшихся волосъ; трепетной граціей хищника, выпускающаго когти, дышали всѣ его движенія, увѣренныя, легкія, безшумныя, и руки безъ колебаній находили и брали то, что имъ нужно. Словно не сознавая неловкости своего положенія, онъ смотрѣлъ въ глаза каждому глубоко и спокойно, но даже и въ ту минуту, когда взглядъ былъ ласковъ, въ немъ чудилось что-то затаенное и опасное, что видится всегда въ глазахъ ласкающагося хищника. И говорилъ онъ повелительно и просто, видимо, не обдумывая своихъ словъ, точно это были не ошибающіеся, невольно лгушіе звуки чело-вѣческой рѣчи, а непосредственно звучала сама мысль. Чувство раскаянія не могло имѣть мѣста въ душѣ такого человѣка.

Но если это былъ орелъ, то перья его были сильно помяты въ схваткѣ, изъ которой онъ едва ли ушелъ побѣдителемъ. Объ этомъ говорило платье, носившее на себѣ слѣды ночевокъ, грязное, непригнанное къ тѣлу; и было въ этомъ платьѣ что-то неуловимо хищное, тревожное, заставляющее всѣхъ хорошо одѣтыхъ людей испытывать смутное чувство опасенія. И минутами по

всему статному и сильному тѣлу пробѣгала мгновенная дрожь странной боязни; тогда все тѣло какъ будто становилось меньше, и казалось, что волосы на затылкѣ поднимаются, какъ у оцетинившагося звѣря; и глаза быстро и злобно обѣгали всѣхъ присутствующихъ. Пилъ и ѣлъ онъ съ жадностью, какъ человѣкъ, которому долго пришлось голодать, или который все время не доѣдаетъ и поэтому готовъ бываетъ ѣсть каждую минуту и все, что подано на столъ. И, кончивъ, онъ сказалъ:

— Важно!—и погладилъ себя немного насмѣшливо по животу. Отказавшись отъ отцовской сигары, онъ взялъ у студента папиросу—у самого у него и папиросъ не было—и приказалъ:

— Рассказывайте.

Рассказывать стала Ниночка, именно о томъ, какъ она окончила институтъ, и какъ ей жилось тамъ. Сперва она робѣла, но такъ какъ рассказывать ей приходилось то, что она уже нѣсколько разъ передавала, то она легко вспомнила всѣ остроумныя слова и была очень довольна собой. Николай не то слушалъ, не то нѣтъ; онъ улыбался, но не всегда въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ были остроумныя слова и все время водилъ по комнатѣ своими выпуклыми глазами. Иногда онъ перебивалъ рѣчь не идущими къ мѣсту вопросами.

— Что отдалъ за картину?—спросилъ онъ у молчавшаго и также нѣсколько насмѣшливо улыбаващагося отца.

— Не помню.

— Двѣ тысячи—съ почтеніемъ къ деньгамъ отозвалась до сихъ поръ молчавшая Анна Ивановна и боязливо взглянула на Александра Антоновича.

И оба улыбнулись—отецъ и Николай, и въ улыбкѣ проскользнуло что-то враждебное. Теперь Александръ Антоновичъ уже не суетился и оттого сталъ строгимъ и важнымъ.

— Дѣла какъ?—также коротко спросилъ Николай у отца.

— Ничего. Идутъ.

— Новый домъ купили. На Итальянской. Трехэтажный. И заводъ еще купили,—почти шопотомъ сказала Анна Ивановна. Она боялась Александра Антоновича, но не могла удержаться, такъ какъ всегда была занята тѣмъ, что сравнивала свой капиталецъ въ 556 рублей, находившійся въ сберегательной кассѣ, съ капиталомъ Барсукова, у котораго были дома, заводы и акціи.

— Ну, Ниночка, продолжай,—сказалъ Николай.

Но Ниночкѣ давно уже стало скучно. У нея опять закололо въ боку, и она сидѣла худенькая, блѣдная, почти прозрачная, но странно красивая и трогательная, какъ начавшій увядать цвѣтокъ. И пахло отъ нея какими-то странными легкими духами, напоминавшими желтѣющую осень и красивое умираніе. Застѣнчивый, рябой студентъ внимательно наблюдалъ за ней, и тоже, казалось, блѣднѣлъ по мѣрѣ того, какъ исчезала краска съ лица Ниночки. Онъ былъ медикъ и, кромѣ того, любилъ Ниночку первой любовью.

Но тутъ явился Феногенъ Ивановичъ, старый лакей. Рожа его выглянула изъ двери, какъ восходящая луна, и была такъ же широка, красна и безволоса. Онъ былъ въ банѣ, послѣ бани немного выпилъ и, придя домой, узналъ отъ горничной о приѣздѣ барчука, съ которымъ во дни оны игралъ въ лошадки. Немного плача, то ли отъ водки, то ли отъ любви, онъ напялилъ фракъ, надушилъ лысину, какъ это дѣлалъ баринъ, и степенно пошелъ въ столовую. За дверьми онъ немного постоялъ и съ торжественно надутыми щеками, какъ при приѣздѣ самого губернатора, явился къ Николаю.

— Феногешка!—весело крикнулъ Николай, и голосъ его прозвучалъ, какъ у ребенка.

— Барчукъ!—взвизгнулъ Феногенъ и, опрокидывая стулья, кинулся къ Николаю. Онъ хотѣлъ сперва поцѣ-

ловать его въ плечо, но такъ какъ Николай, вмѣсто того, пожалъ его руку, то Феногенъ важно откинулся назадъ и отвѣтилъ крѣпкимъ, до боли, пожатіемъ. Онъ позволялъ себѣ думать, что онъ—не слуга, а другъ Николая, и радъ былъ публичному признанію его въ этомъ достоинствѣ. Но поцѣловаться все же нужно было.

— И вдобавокъ пьянъ!—съ веселымъ изумленіемъ къ постоянству Феногеновыхъ привычекъ сказалъ Николай, ощутивъ запахъ водки.

— Развѣ?—строго отозвался Александръ Антоновичъ.

Мотая отрицательно головой, Феногенъ Иванычъ благовоспитанно отступалъ задомъ и косилъ глаза, чтобы узнать гдѣ дверь, но все-таки сперва попалъ въ простѣнокъ и оттуда уже, наощупъ, добрался до двери. Все это заняло довольно много времени. Въ передней Феногенъ Иванычъ приостановился, съ нѣжностью осмотрѣлъ руку, которую пожалъ Николай, и, неся ее впереди себя, какъ нѣчто совершенно ему постороннее, хрупкое и цѣнное, тронулся въ людскую. Вообще, онъ уважалъ себя, но въ данный моментъ самой уважаемой частью его тѣла была правая рука.

Въ этотъ день Александръ Антоновичъ не поѣхалъ въ правленіе и послѣ обѣда, за которымъ онъ выпилъ много вина, пришелъ въ свѣтлое и мягкое настроеніе. Обнявъ Николая за талію, онъ повелъ его въ бібліотеку, закурилъ сигару и, приготовившись къ долгому слушанію, добродушно сказалъ:

— Ну, теперь рассказывай: гдѣ былъ, что дѣлалъ?

Николай отвѣтилъ не сразу. По тѣлу его снова пробѣжала та же странная дрожь испуга, и глаза м тнули взоръ къ двери, но голосъ оставался спокойнымъ и серьезнымъ.

— Нѣтъ, отецъ. Я прошу тебя оставить разговоръ о моихъ приключеніяхъ.

— Я видѣлъ у тебя кошелекъ заграничной работы. Ты былъ за границей?

— Былъ,—коротко отвѣтилъ Николай.—Но довольно, отецъ.

Александръ Антоновичъ нахмурилъ брови и всталъ съ дивана. Заложивъ руки за спину, подъ сюртукъ, онъ прошелся по комнатѣ и, не глядя на сына, спросилъ:

— Ты все такой же?

— Какъ видишь. А ты отецъ?

— Какъ видишь. Ступай, мнѣ надо заниматься.

Когда Николай вышелъ, Александръ Антоновичъ заперъ за нимъ дверь, оглянулся и, подойдя къ камину, молча, но съ силой ударилъ по бѣлой, блестящей кафлѣ. Потомъ вытеръ платкомъ руку, къ которой пристала бѣлая полоска извести, и сѣлъ заниматься. И опять лицо его бѣлѣло той страшной блѣдностью, которая напоминаетъ смерть.

Никто не видѣлъ свиданія Николая съ бабушкой, но вышелъ онъ отъ нея хмурымъ и какъ будто немного расстроганнымъ. И на минутку всѣ почувствовали облегченіе, когда за Николаемъ захлопнулись бѣлыя двери его комнаты, но съ того момента онъ пересталъ быть гостемъ, и съ этого же момента появилась та странная тревога, которая, разростаясь, скоро захватила весь домъ. Какъ будто вошелъ въ домъ и навсегда запылъ въ немъ мѣсто кто-то загадочно опасный, болѣе чужой, чѣмъ любой человѣкъ съ улицы, и болѣе страшный, чѣмъ притаившійся грабитель. И только одинъ Феногенъ Ивановичъ не почувствовалъ этого, такъ какъ съ радости выпилъ еще и теперь спалъ на поваровой постели, и во снѣ сохраняя видъ полнаго самоуваженія и немного откидывая правую руку.

А въ гостиной Ниночка тихо рассказывала студенту о томъ, что было семь лѣтъ тому назадъ. Тогда Николай за одну исторію былъ уволенъ съ нѣсколькими товарищами изъ технологическаго института, и только связн отца спасли его отъ большаго наказанія. При горячемъ объясненіи съ сыномъ вспыльчивый Александръ Анто-

повичъ ударилъ его, и въ тотъ же вечеръ Николай ушелъ изъ дому и вернулся только сегодня. И оба—и рассказчица, и слушатель—качали головами и понижали голосъ, и студентъ для ободренія Ниночки даже взялъ ея руку въ свою и гладилъ.

## II.

Николай никому не мѣшалъ; самъ говорилъ мало, и другихъ слушалъ не то чтобы неохотно, а съ какимъ-то высокомернымъ равнодушіемъ, какъ будто впередъ звалъ, что ему могутъ рассказать. На серединѣ рассказа онъ иногда уходилъ, и все время лицо его имѣло такое выраженіе, точно онъ прислушивается къ чему-то далекому, важному и одному ему слышному. Онъ ни надъ кѣмъ не смѣялся и никого не упрекалъ, но когда онъ выходилъ изъ библіотеки, гдѣ просиживалъ большую часть дня, и разсѣянно блуждалъ по всему дому, заходя въ людскую, и къ сестрѣ, и къ студенту—онъ разосилъ холодъ по всему своему пути и заставлялъ людей думать о себѣ такъ, точно они сейчасъ только совершили что-то очень нехорошее и даже преступное, и ихъ будутъ судить и наказывать. Теперь онъ былъ одѣтъ очень хорошо, но и въ изысканномъ платьѣ онъ не сливался съ пышнымъ великолѣпіемъ комнатъ, а стоялъ особнякомъ, какъ что-то чужое и враждебное. И если бы всѣ эти дорогія вещи могли чувствовать и говорить, онѣ сказали бы, что умираютъ отъ страха, когда онъ приближается или беретъ одну изъ нихъ въ руки и разсматриваетъ съ страннымъ любопытствомъ. Онъ никогда ничего не ронялъ и ставилъ вещь на мѣсто, какъ разъ такъ, какъ она стояла, но какъ будто прикосновеніе его руки отнимало у изящной статуэтки всю ея цѣнность, и послѣ его ухода она стояла пустой и ни на что ненужной. Ея душа, созданная искусствомъ, таяла въ его

рукахъ, и оставался только ненужный кусокъ бронзы или глины.

Разъ Николай пришелъ къ Ниночкѣ во время ея урока рисованія, когда она очень похоже и хорошо копировала съ чьей-то картины фигуру нищаго, просящаго милостыню.

— Рисуи, Нина. Я не буду тебѣ мѣшать,—сказаль онъ, садясь возлѣ, на низенькой софѣ. Ниночка робко улыбнулась и нѣкоторое время продолжала водить кистью, беря не тѣ краски, какія нужно. Потомъ бросила и сказала:

— Я устала. Тебѣ нравится?

— Да, хорошо. Ты и играешь хорошо.

Отъ этой холодной похвалы впечатлительной Ниночкѣ стало скучно. Она, критически наклонивъ голову на бокъ, осмотрѣла свой рисунокъ, вздохнула и сказала:

— Бѣдный нищій. Мнѣ такъ жаль его. Тебѣ тоже?

— Да, тоже.

— Я въ двухъ попечительствахъ о бѣдныхъ участвую. Ужасно много работы,—горячо сказала она.

— Что же вы тамъ дѣлаете?—равнодушно спросилъ Николай.

Ниночка начала рассказывать подробно, потомъ короче, потомъ остановилась совсѣмъ. Николай молчалъ и перелистывалъ альбомъ, въ которомъ знакомые Ниночки записывали стихи.

— Я на курсы хотѣла, но папа не позволяетъ,—внезапно сказала Ниночка, словно ища пути къ вниманію брата.

— Дѣло хорошее. Ну, и что же?

— Не позволяетъ папа. Но я добьюсь своего.

Николай ушелъ, и въ груди Ниночки стало пусто и тоскливо. Она отбросила альбомъ, печально посмотрѣла на начатую картину, которая ей показалась отвратительной и никому ненужной мазней. Не умѣя сдерживать своихъ порывовъ, Ниночка взяла кисть и крестъ

на крестъ перечертила полотно синей краской и отхватила при этомъ у нищаго полголовы. Съ перваго дня, когда Николай пожалъ ей руку, она полюбила его, а онъ ни разу не поцѣловалъ ее. Если бы онъ поцѣловалъ ее, Ниночка открыла бы ему все свое маленькое, но уже изболѣвшееся сердце, въ которомъ то пѣли маленькія, веселыя птички, то каркали черныя вороны, какъ писала она въ своемъ дневникѣ. И дневникъ бы свой она отдала ему,—а въ дневникѣ на каждой страницѣ рассказывается о томъ, какая она никому ненужная и несчастная.

Онъ думалъ, что она довольна и рисованіемъ своимъ, и музыкой, и попечительствомъ, и ошибается: ей не нужны ни рисованіе, ни музыка, ни попечительство.

Смѣялся Николай только на урокахъ студента съ Петькой, и Петька ненавидѣлъ его за смѣхъ. Въ его присутствіи онъ нарочно еще выше задиралъ колѣна, такъ что едва не заваливался со стуломъ на спину, щурилъ пренебрежительно глаза, ковырялъ въ носу, хотя прекрасно зналъ, что этого не нужно дѣлать, и хладнокровно говорилъ студенту невыносимыя дерзости. Рябое лицо репетитора наливалось кровью и потѣло; онъ чуть не плакалъ и по уходѣ Петьки жаловался, что мальчишка совсѣмъ не хочетъ учиться.

— Не знаю, что изъ него выйдетъ, — говорилъ студентъ. — Теперь вотъ тоже горничная жаловалась мнѣ, что онъ ей гадости говорить.

— Прохвостъ выйдетъ, — безъ видимаго огорченія опредѣлилъ Николай будущее брата.

— Бьешься, бьешься, нервы тратишь, а что толку! — чуть не плакалъ студентъ, вспоминая длинный рядъ униженій и стыда за себя, когда хотѣлось провалиться сквозь землю или избить ученика.

— Бросьте!

— А жрать-то надо! — въ отчаяніи воскликнулъ Алексѣй Егоровичъ.



— Ну, и жрите—что подносятъ.

Но въ споры со студентомъ, несмотря на старанія послѣдняго, Николай не вступалъ. И Ниночка, и Алексѣй Егоровичъ дѣлали частыя попытки рѣшить, что такое представляетъ собой братъ Николай, и доходили до такихъ фантастическихъ картинъ, что обоимъ становилось смѣшно. Но, расходясь, они удивлялись своему смѣху, и самыя фантастическія предположенія казались истинными, а на другой день оба со страхомъ и страстнымъ любопытствомъ ждали появленія Николая, думая, что именно сегодня и рѣшится томительный вопросъ. Но Николай появлялся, а вопросъ оставался все такимъ же далекимъ отъ рѣшенія.

Особенной яркости и неправдоподобности достигали тѣ предположенія, что дѣлались въ людской, и впереди всѣхъ рассказчиковъ стоялъ Феногенъ Ивановичъ. Когда онъ немного выпивалъ, фантазія его работала неудержимо и создавала такія картины, передъ которыми онъ самъ останавливался въ недоумѣніи и испугѣ.

— Онъ—разбойникъ! — сказалъ однажды Феногенъ Ивановичъ, и красное лицо его поблѣднѣло отъ страха.

— Ну вотъ, разбойникъ,—не повѣрилъ поваръ, по то же оглянулся на дверь.

— Который грабитъ только богатыхъ—ввелъ поправку Феногенъ Ивановичъ, слыхавшій когда-то отъ самаго Николая, тогда еще мальчика, о существованіи подобныхъ разбойниковъ.

— А зачѣмъ ему грабить, когда у отца денегъ не впроворотъ?—усумнился кучеръ, очень основательный человѣкъ.

— Три завода, четыре дома, акціи каждодневно обрѣзаютъ, прошептала Анна Ивановна, у которой находилось теперь въ кассѣ ровно 560 р., такъ какъ четыре рубля она внесла на-дняхъ.

Предположеніе Феногена Ивановича рухнуло. Анна Ивановна обыскала всѣ вещи Николая и ничего не

нашла, кромѣ бѣлья. И именно то, что она ничего не нашла, кромѣ бѣлья, всего болѣе пугало и тревожило. Если бы въ чемоданѣ нашлись ружья, пули и ножи, и Николай дѣйствительно оказался бы разбойникомъ, это было бы не такъ страшно, какъ не знать совершенно занятій человѣка, который такъ не похожъ на другихъ людей лицомъ и ухватками: слушаетъ, а самъ не говоритъ, и смотритъ на всѣхъ, какъ палачъ. Тревога росла и переходила въ суевѣрный страхъ, ледяной волной прокатывавшійся по дому.

Былъ подслушанъ одинъ короткій разговоръ Николая съ отцомъ и не разсѣялъ страха, но еще болѣе сгустилъ туманную атмосферу недоумѣнія и загадки.

— Ты сказалъ когда-то, что ненавидишь всю нашу жизнь,—раздѣльно выговаривая каждое слово, спрашивалъ отецъ.—Ты и теперь ненавидишь ее?

Такъ же размѣренно и медленно звучалъ серьезный отвѣтъ Николая.

— Да, я ненавижу ее отъ самаго дна до самаго верху. Ненавижу и не понимаю.

— Ты нашелъ лучше?

— Да, нашелъ. Да, нашелъ,—твердо повторилъ Николай.

— Останься съ нами.

— Это немыслимо, отецъ. И ты это знаешь.

— Николай!—прозвучалъ гнѣвный окрикъ Александра Антоновича. И черезъ минуту напряженного молчанія тихій и немного грустный отвѣтъ Николай:

— Ты все тотъ же, отецъ. Вспыльчивый и—добрый.

И Рождество въ этомъ богатомъ домѣ наступило смутное и безрадостное. Присутствіе человѣка, который ни въ чемъ не раздѣлялъ мыслей и чувствъ окружающихъ его людей, мрачнымъ кошмаромъ нависало надъ всѣми и отнимало у праздника не только его радостный характеръ, но и самый смыслъ. Казалось, что и самъ Николай замѣтилъ, какъ тягостенъ онъ для другихъ,

и почти не выходилъ изъ своей комнаты—но за глазами онъ казался еще страшнѣе, чѣмъ на глазахъ. За нѣсколько дней до Рождества у Барсуковыхъ случайно собрались гости; Николай не вышелъ къ нимъ, какъ, вообще, не выходилъ ни къ кому изъ постороннихъ, и одѣтый лежалъ на постели, прислушиваясь къ звукамъ музыки. Смягченные толщей стѣнъ, они казались мелодичными и нѣжными, какъ далекое пѣніе чистыхъ и безгрѣшныхъ голосовъ, и такъ мягко входили въ ухо, словно пѣлъ самый воздухъ. Николай вслушивался и вспоминалъ то время, когда онъ былъ еще маленькій, и была жива его мать, и у нихъ собирались гости, а онъ также издалека прислушивался къ музыкѣ и грезилъ—не образами, а чѣмъ-то другимъ, въ чемъ и образы, и звуки сплетались въ одно яркое и мучительно красивое, и оно извивалось, какъ разноцвѣтная, поющая лента. И онъ понималъ тогда, что значить это яркое, но не могъ никому объяснить, даже себѣ, и только старался дольше не засыпать—и засыпалъ. Разъ онъ заснулъ такимъ образомъ, никѣмъ не замѣченный, въ прихожей, на шубахъ, и теперь ему ясно представился запахъ пушистаго, щекощущаго мѣха. И снова содроганіе непонятнаго ужаса пробѣжало холодными иглами по его тѣлу,—но и другое что-то, болѣе мягкое и теплое, озарило его лицо, и словно ласкающая нѣжная рука расправила насушенные брови. Лицо стало неподвижно, но спокойно, кротко и незлобиво, какъ у мертваго. Нельзя было догадаться, бодрствуетъ онъ, или спитъ, живъ онъ, или мертвъ, но можно было сказать одно: этотъ человѣкъ отдыхаетъ.

Наступилъ сочельникъ, и въ сумерки къ Николаю явился Феногентъ Иванычъ. Онъ былъ почти трезвъ, мраченъ и глядѣлъ въ сторону, а на глазахъ замѣчались слѣды какъ будто слезъ.

— Пожалуйте къ бабушкѣ,—сказалъ онъ изъ дверей.

— Что такое?—удивился Николай.

Феногенъ Ивановичъ вздохнулъ и повторилъ:

— Пожалуйте къ бабушкѣ.

Николай пошелъ наверхъ—и только-что переступилъ порогъ, какъ двѣ тонкія дѣвичьи руки охватили его шею; къ лицу приблизилось нѣжное личико съ широко раскрытыми влажными глазами, и голосъ, задыхающійся отъ рыланій, зашепталъ:

— Коля, Коля, какъ ты насъ измучилъ! Коля, Коля, братикъ милый, помирись съ папой. И со мной. И останься съ нами, Коля, Коля!

И маленькое, худенькое тѣло трепетно билось въ его рукахъ, и маленькое, никому ненужное сердечко стало такимъ огромнымъ, что въ него вошелъ бы весь безконечно страдающій міръ. Николай хмуро, исподлобья метнулъ взоръ по сторонамъ. Съ постели тянулись къ нему страшныя въ своей безкровной худобѣ руки бабушки, и голосъ, въ которомъ уже слышались отзвуки иной жизни, хриплымъ рыдающимъ звукомъ просилъ:

— Коля! Коля!..

А на порогѣ плакалъ Феногенъ Ивановичъ. Онъ потерялъ всю свою важность и клюпалъ носомъ, и двигалъ ртомъ и бровями, и слезъ было такъ много, онѣ такой рѣкой текли по его лицу, точно шли не изъ глазъ, какъ у всѣхъ людей, а сочились изъ всѣхъ поръ тѣла:

— Другъ мой! Николенька!—шепталъ онъ молитвенно, протягивая впередъ руки съ застывшимъ въ нихъ краснымъ платкомъ.

Николай безпомощно и жалко улыбался, не зная того, что изъ его орлиныхъ, теперь померкшихъ глазъ падаютъ рѣдкія скупыя слезинки. И тогда изъ темнаго угла выступила на свѣтъ трясущаяся старческой дрожью безсильная голова того, кто былъ его отцомъ, и всю жизнь котораго онъ ненавидѣлъ и не понималъ.

Но теперь онъ понималъ.

Съ тѣмъ же безуміемъ любви, какимъ была про-

никнута его ненависть, Николай рванулся къ отцу, увлекаемая собою Ниночку. И всѣ трое, сбившіеся въ одинъ живой плачущій комокъ, обнажившіе свои сердца, потрясенные—они на мигъ стали однимъ великимъ существомъ съ единымъ сердцемъ и единой душой.

— Остался! — хриплымъ торжествующимъ звукомъ кричала старуха. — Остался!

— Другъ мой! Николенька! — шепталъ молитвенно Феногенъ Иванычъ.

— Да! Да! — говорилъ Николай, не понимая, кому и на что онъ отвѣчалъ. — Да! Да! — повторялъ онъ, цѣлуя дрожащую старую руку, которая съ безмолвной нѣжностью гладила его по головѣ и лицу...

— ...Да! Да! — все еще твердилъ онъ, уже чувствуя, какъ въ душѣ его вырастаетъ грозное и неумолимое, короткое и тупое „нѣтъ!“

Уже надвигалась ночь, и весь большой домъ, начиная съ людской и кончая барскими комнатами, сверкалъ веселыми огнями. Люди весело болтали и шумно перекликались, и маленькія, дорогія, хрупкія и ненужныя вещи уже не боялись за себя. Онъ гордо смотрѣлъ съ своихъ возвышенныхъ мѣстъ на суетившихся людей и безбоязненно выставляли свою красоту, и все, казалось, въ этомъ домѣ служило имъ и преклонялось передъ ихъ дорого стоящимъ существованіемъ.

Александръ Антоновичъ, Ниночка и даже студентъ сидѣли все еще въ комнатѣ у бабушки и то говорили о своемъ счастьѣ, то, молча, прислушивались къ нему. Феногенъ Иванычъ, еще немного выпившій отъ радости, вышелъ на воздухъ съ цѣлью слегка прохладить свою голову и въ то время, когда онъ поглаживалъ руками красную лысину, на которой снѣжинки таяли, какъ на раскаленной плитѣ, онъ съ удивленіемъ увидѣлъ Николая. Держа въ рукахъ небольшой сачекъ, Николай шелъ изъ-за угла, гдѣ находился черный ходъ, и былъ также непріятно удивленъ, увидѣвъ Феногена Иваныча.

— А, Феногешка! — тихо сказалъ онъ. — Ну-ка, проводи меня до воротъ.

— Другъ... — растерянно бормоталъ Феногенъ Ивановичъ.

— Молчи. Тамъ поговоримъ.

Улица въ этотъ часъ была безлюдна, и оба конца ея терялись въ блѣсаватой дымкѣ медленно и безшумно падающаго снѣга. Остановившись передъ Феногеномъ Ивановичемъ и прямо въ глаза смотря ему своими выпуклыми блестящими глазами, Николай положилъ руку ему на плечо и сказалъ медленно, точно обучая ребенка:

— Скажи отцу, что Николай, молъ, Александровичъ велѣли кланяться и сказать, что они — ушли.

— Куда!

— Просто — ушли. Прощай. — Николай похлопалъ ладонью по плечу и тронулся отъ него. Но Феногенъ Ивановичъ и безъ словъ зналъ, куда идетъ Николай, и со всей силой, какая была у него въ рукахъ, схватилъ его:

— Не пущу! Богъ святъ, не пущу!

Николай оттолкнулъ его и удивленно посмотрѣлъ. Но Феногенъ Ивановичъ сложилъ молитвенно руки и хнычущимъ голосомъ просилъ:

— Николенька! Другъ единственный! Плюньте, не ходите. Ну, что тамъ? Деньги есть. Три завода. Дома. Акціи каждадневно обрѣзають, — бессмысленно повторялъ онъ слова экономки.

— Что ты городишь? — нахмурился Николай и быстро зашагалъ. Но Феногенъ Ивановичъ, весь праздничный въ своемъ новомъ фракѣ и весь развинченный и словно помятый, бѣжалъ за нимъ, хваталъ его за руки и молилъ:

— Ну и я! И меня возьмите. Что же, ей-Богу! Голубчикъ. Въ разбойники, такъ въ разбойники! — и Феногенъ Ивановичъ отчаянно махнулъ рукой, прощаясь съ міромъ честныхъ людей.

Николай остановился и молча взглянул на слугу, и въ этомъ взглядѣ блеснуло что-то до того страшное, холодно-свирѣпое и отчаянное, что языкъ Феногена Иваныча опѣшилъ, и ноги приросли къ землѣ.

Высокая фигура Николая сѣрѣла и уменьшалась, словно тая въ сѣрой мглѣ. Еще минута—и онъ навсегда скрылся въ той темной зловѣщей дали, откуда неожиданно пришелъ. И уже ничего живого не видѣлось въ безлюдномъ пространствѣ, а Феногенъ Иванычъ все еще стоялъ и смотрѣлъ. Крахмальный воротникъ рубашки обмякъ и прилипъ къ шеѣ; снѣжинки медленно таяли на красной похолодѣвшей лысинѣ и вмѣстѣ со слезами катились по широкому бритому лицу.

Декабрь 1900 г.



# СОДЕРЖАНІЕ.

---

	СТР.
Большой племя . . . . .	I
Набатъ . . . . .	13
Ангелочекъ . . . . .	21
Молчаніе . . . . .	38
Смѣхъ . . . . .	54
Валя . . . . .	61
Разсказъ о Сергѣѣ Петровичѣ . . . . .	77
На рѣкѣ . . . . .	114
Бездна . . . . .	133
Въ подвалѣ . . . . .	150
Ложь . . . . .	163
Петька на дачѣ . . . . .	175
У окна . . . . .	178
Жили-были . . . . .	215
Стѣна . . . . .	241
Въ темную даль . . . . .	251

---









Stanford University Libraries

3 6105 124 438 503



PG3452

A15

1903

V.1

Stanford University Libraries  
Stanford, California

Return this book on or before date due.

JUL 1 1975

JAN 20



Stanford University Libraries

3 6105 124 438 503



PG3452  
A15  
1903  
v.1

**Stanford University Libraries**  
**Stanford, California**

**Return this book on or before date due.**

JUL 1 1975

JAN 20 1976

